

индекс : 84471

**ВЕСТНИК**

ISSN 0130-1616

6/2012  
ИЮНЬ





ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

В Ы Х О Д И Т   с   я н в а р я   1 9 3 1   г о д а

**с о д е р ж а н и е**

**6/2012 июнь**

- 3    Алексей Цветков. *санитарная миссия. Стихи*
- 9    Роман Сенчин. *Зима. Повесть*
- 32  Сергей Гандлевский. *«Обычно мне хватает...». Стихи*
- 33  Алексей Макушинский. *Город в долине. Роман. Окончание*
- 104 Геннадий Русаков. *Секретный Зорге. Стихи*
- 110 Афанасий Мамедов. *Мы не любили Брамса. Рассказ*
- 117 Владимир Навроцкий. *Линзы и литеры. Стихи*
- 122 Владимир Тучков. *Там жили поэты. Инсинуации*
- 141 Владимир Жбанков. *Памяти лета 2010. Стихи*

### **к а р т - б л а н ш   Л е о н и д а   З о р и н а**

- 143 Виктория Козлова. *Воробьи-слова. Рассказ*

### **n o n   f i c t i o n**

- 156 Константин Ваншенкин. *В мое время*

### **с в и д е т е л ь с т в а**

- 170 Елена Скульская. *«Изе Мессерер», или «Стихотворения чудный театр»*

### **Р о с с и я   б е з   г р а н и ц**

- 179 Светлана Шишкова-Шипунова. *Смотритель кладбища*

### **т е х н о л о г и и**

- 189 Константин Фрумкин. *Цивилизации нужен другой человек?*

## **а р т - к р и т и к а**

- 199 Семен Файбисович. *Пейзаж после постмодерна*

## **н а б л ю д а т е л ь**

### *р е ц е н з и и*

- 208 Александр Мелихов. — Даниил Гранин. *Мой лейтенант*
- 210 Андрей Пермьяков. — Сергей Королев. *Повторите небо*
- 213 Елена Сафронова. — Александр Котюсов. *Дегустация любви*
- 215 Сергей Кормилов. — Валентин Хализев. *В кругу филологов. Воспоминания и портреты*
- 218 Сергей Боровиков. — Антонина Пирожкова. *Воспоминания. Публикация Андрея Малаева-Бабеля*
- 221 Лидия Ким. — Константин Коровин. «То было давно... там... в России...» *Воспоминания, рассказы, письма: В двух книгах. Составление, вступительная статья: Т.С. Ермолаева. Примечания: Т.С. Ермолаева и Т.В. Есина.*
- 222 Марианна Ионова. — Татьяна Смолярова. *Державин. Зримая лирика*
- 225 Лев Усыскин. — В.И. Шубинский. *Ученые собратья: рассказы из жизни профессора и советника Михайлы Васильевича Ломоносова и его по Российской Императорской Академии Наук товарищей.*

### *с п е к т а к л ь*

- 227 Татьяна Ратькина. *Брат Иван Федорович. Режиссер Сергей Женовач. Студия театрального искусства*

### *о д н а ж д ы в «Знамени»*

- 229 Денис Драгунский. *Веселое фарфоровое снятие, или Мир понарошку (О выставке Льва Симкина и Анатолия Степаненко «Дума о советском фарфоре»).*

### *н е з н а к о м ы й ж у р н а л*

- 231 Юлия Рахаева. *Околоколомна (Коломна).*

### *н и д н я б е з к н и г и*

- 232 Анна Кузнецова

Алексей Цветков

## **санитарная миссия**

\* \* \*

всей тишины в обрез в ней движешься стремглав  
грунт отрывается вот панорама сверху  
крылатую свою пришпоришь оседлав  
секундную в карьер на циферблате стрелку

нашарим в тумбочке утащим в койку том  
монтеня или кто нам сетовал на старость  
как обессилел свет или проблема в том  
что пожил бы ещё но больше не осталось

следить как фолиант струится с простыней  
взметая ил со дна где мысли водолазы  
спросить который час но быстрый страх сильней  
чем свет что смеркнется до истечения фразы

не впору циферблат для книг такой длины  
а помнишь на заре душа была машиной  
но воздух обречён в нём на просвет видны  
все перфорации стеклянный след мышиный

не сам ли саженцем без страха и вреда  
ещё не как монтень а с дерзостью кортеса  
в ненужном мужестве заглядывал туда  
где навсегда обрыв где линия отреза

### **климатологическое**

буревестник дыша перегаром  
объяснит неразумным гагарам  
что в погоде грядет перелом  
хоть на коврикe шишкиным вышит  
он предвидит грозу и предслышит  
в подтвержденье махая крылом

безразличны прогнозы погоды  
домоседам бескрылой породы

в каждом телеке нынче своя  
пироги в животах и окрошка  
а из черепа как из окошка  
в мятом чепчике смотрит змея

было время невидимый атом  
всем гагарским своим каганатом  
доводили они до ума  
агрессивным ужам угрожая  
побивали рекорд урожая  
и марксизма зубрили тома

доедая кровавую пищу  
ложкой ёрзает коршун по днищу  
каннибал этой родины всей  
кто навёл на отечество немочь  
александр нам поведай сергеич  
и максимыч открой алексей

спой нам снова о вещем олеге  
чтоб он вовремя пал на колени  
и змею обезвредил на бис  
но вопрос не закрыт философский  
и девятый увы айвазовский  
над родным каганатом навис

### **покой**

кто же ты говорит такой  
тишина говорю покой

там где финишные флажки  
я для каждого наступлю  
потому что мне все нужны  
потому что я всех люблю  
приравняй кончину к врачу  
исцелю без ножа и шва

я совсем туда не хочу  
я не в эту сторону шла

но тогда ты была живой  
а отсюда пути равны  
в этом мире который твой  
больше нет другой стороны  
усомнишься так верь не мне  
а покою и тишине

мне без бога твой мир немил  
наважденье в уме одно

если бог у тебя и был  
он забыл о тебе давно  
душам доступа нет к нему  
это я на себя приму

всю вину твою и грехи  
ну давай говорит гребни

### **экспликация**

и правда ну как он ходил по воде  
которой мы в мире не видим нигде  
загадка глухих незапамятных дней  
вода что мы помним сегодня о ней  
она состояла сама из стекла  
но если сосуд разбивали текла  
с ненастьем с извилистым устьем  
она была ртутью допустим

а как он спустился в пространство с креста  
которое просто пустые места  
какому зиянию выпала честь  
пустое порожнему чем предпочесть  
наверное плоскость свисавшая вниз  
в надежде на горизонтальность абсцисс  
и на ординат постоянство  
я так себе мыслю пространство

но вот что уж точно уму невдомёк  
он в небо вознёсся как серный дымок  
я кажется понял какая вода  
но что за нелепое небо тогда  
считали что купол висел голубой  
но здесь я сынок солидарен с тобой  
хоть гвоздь волокно пробивает  
но неба потом не бывает

так камень-дитя перед самым концом  
беседовал с камнем-отцом

### **про кота**

мы сбились вокруг полевого котла  
его опрокинутой бездны  
где чёрное небо сгорело дотла  
и звёзды ему неизвестны

нам было вдомёк что отныне одни  
что порознь дороги опасны  
и если горели на трассе огни  
то слабо и скоро погасли

и каждый задумавшись кто он такой  
себе наваждением казался  
в попытке проверки трусливой рукой  
обугленной ночи касался

один размечтался что видел кота  
хвостатую выдумку божью

но будучи спрошенным где и когда  
заплакал над собственной ложью

мы спели бы вместе но все голоса  
снесло изнурительным кашлем  
такая случилась у нас полоса  
ни слова ни голоса в каждом

и кто-то напомнил в припадке стыда  
соседям по угольной луже  
что так оно с нами случалось всегда  
и впредь повторится не хуже

сначала в потёмках дурак о своём  
коте заведёт ахинею  
а после мы общую песню споём  
и снова не справимся с нею

### **санитарная миссия**

i  
на ваше исх четырнадцать дробь три  
вскрывали двух с оглядкой и опрятно  
какой там кварц всё та же слизь внутри  
зашили и пыхтят себе обратно

наружный отчуждается покров  
он форму придаёт разумной луже  
как топливо используют коров  
хотя неясно чем коровы хуже

все состоят из щупалец и глаз  
как из асбеста если бы связали  
сюрприз никто из них не видит нас  
своими пресловутыми глазами

и ничего кроме себя одних  
мы камни бессловесные для них

ii  
на ваше исходящее дробь шесть  
ответу с опозданием и приватно  
бесспорно способ размноженья есть  
но нам о нём услышать неприятно

а перед тем как приступить к труду  
на углеродном волокне постелей  
они друг другу в дар несут еду  
и половые органы растений

а почему приватно я само  
сочувствую их липкости неловкой  
вдруг снизошло покуда я спало  
над дутовой простой боеголовкой



побудут и исчезнут без вреда  
оставьте их кому от них беда

iii

на ваше впрочем номер не найду  
пока я здесь лежу одно на свете  
мне всё мерещится что я в аду  
тягучее и мягкое как эти

пока пульсар на рейде не угас  
мы властелины всей фотонной пыли  
неужто милости не хватит в нас  
эксперимент провален и забыли

как жутко ими быть вообрази  
когда по горло в лаве и снегу ты  
возникшими в помоях и в грязи  
живущими от силы полсекунды

в краю где мы уран аргон и ртуть  
и всем до фени мелкий млечный путь

iv

один похоже понял и погиб  
передовой из штаммов всей заразы  
проведал планы мыслящий полип  
пришлось таки задействовать заряды

они воображали мир иной  
где лопнувшие пузыри блаженны  
но мы ведь сами были им виной  
поставщики гнилых дрожжей в брожение

вина не гибель вспыхнет и прошла  
но ужас участь липкая такая  
затеянная в луже без гроша  
всесилием кичась и помыкая

исчадьями из шупалец и глаз  
я к ним пришёл спасителем и спас

### ***встреча в пути***

однажды в бобруйск улетаю  
в париж я ждал багажа  
и белая лось молодая  
ко мне в аэропорту подошла

познакомиться видно хотела  
так плавно прошла через зал  
как будто сам альма-тадема  
с натуры её написал

в ответ же на кучу вопросов  
легко объяснила сама

что она аналитический философ  
а не то что я думал сперва

и в северном дальнем бобруйске  
под сенью научных палат  
намерена сделать по-русски  
по эпистемологии доклад

там зимы метельны и мглисты  
но база науки тверда  
в связи с чем все специалисты  
съезжаются срочно туда

она шевелила ушами  
и так мне была дорога  
вот только ужасно мешали  
ветвистые эти рога

я твёрдое дал обещанье  
хранить её образ везде  
я даже купил на прощанье  
то ли хеннеси то ли курвуазье

пропала и нету в помине  
однажды всего удалось  
боюсь что не встречу отныне  
другую похожую лось

я всяким совался под окна  
у самого бегемоты в роду  
но лоси что этой подобна  
уже никогда не найду

пусть жизни маршрут моей долог  
пусть мчатся как мухи года  
прекрасная эпистемолог  
не забуду тебя никогда

*Нью-Йорк*

Роман Сенчин

## Зима

повесть

Почти каждый день я совершаю традиционный и традиционно бесплодный обход города. Что хочу найти, я и сам не понимаю, но хожу и хожу, и уже в сумерках, продрогший, злой, возвращаюсь к себе.

Наш дом называют Серой кривой пятиэтажкой. Есть еще Голубая кривая — ее панели покрыты голубоватой облицовочной крошкой. Нашу строили на несколько месяцев позже Голубой, и, видимо, на нее крошки не хватило — стены светло-серые. Наш дом сдали весной девяносто четвертого, с тех пор пятнадцать лет ничего в городе не строили, кроме разве что частных коттеджей, да и из них мало какие довели — в основном торчат до сих пор этикие полуразвалины, заросшие травой и кустами: место для пацаньих игр.

Дом стоит удобно — по соседству супермаркет, через дорогу парк, до моря два квартала, минут десять неторопливым шагом. Квартира на четвертом этаже, двухкомнатная, комнаты отдельные, не проходные... Правда, родителям пожить здесь довелось недолго. Отец, которому и давали квартиру (он двадцать лет проработал на прядильной фабрике), умер через год после переезда, а мать — через полтора. Рак обоих сожрал... От него многие в городе умирают, но об этом не принято распространяться — мы считаемся курортной зоной, летом здесь битком отдыхающих, а начни про рак трезвонить, наверняка перестанут ездить, и тогда нам всем быстрый и реальный каюк...

Родители умерли, и я остался единственным владельцем этих квадратных метров. Есть еще бабушкина хибара на Горе. Это далеко от моря, но Гора считается самым старым районом города. Там было одно из двух поселений, которые потом разрослись... Хибара ветхая и страшная, с мая по октябрь я в ней обитаю. Газ есть, главное, на улице колонка с водой.

В этой хибаре мы с родителями жили до переезда в Серую кривую пятиэтажку. Получив ордер, звали и бабушку — «задавит тебя здесь потолком», но она отказалась: «Пускай лучше задавит, чем море смоет». Я долго не верил, что она всерьез боится моря, да и не она одна, а большинство старух и стариков на Горе. Посмеивался над полуполюгендой, согласно которой с тысячу лет назад случился страшный шторм, а может, и цунами какое-нибудь, и поселение рыбаков смыло вместе со всеми жителями. А люди, жившие выше, — виноградари и пастухи — уцелели, но гибель соседей произвела на них такое сильное впечатление, что и через сотни поколений море продолжало казаться людям с Горы опасным и враждебным...

**Об авторе** | Роман Сенчин — многолетний автор «Знамени». Выступает как прозаик, публицист, критик. Первая публикация — рассказы «День без числа» (1997, № 5). Последняя — рецензия на роман З. Прилепина «Черная обезьяна» (2011, № 11).

Бабушка в центре города — то есть в низине — почти не бывала; моя мама, ее дочь, тоже никогда не рвалась туда, и если отец, уроженец дальней степной области, тащил нас на пляж, выскивала разные причины, чтоб не пойти.

Да, эта боязнь моря до недавних пор была мне дика и смешна, но почему-то теперь я все чаще думаю о том, что это тупое накатывание волн и редкие почти игрушечные штормы должны в конце концов смениться серьезным. Взбунтоваться, встать на дыбы... Наверное, множество людей ожидают и ожидали нечто подобное, но я ожидаю с чем-то вроде радости. Как какого-то избавления. От чего? Я и сам не могу себе объяснить. Все, вроде, нормально. Свобода, куча времени, денег в сезон заработать можно столько, что хватит на жизнь в оставшиеся пять месяцев холодов... Только вот... Только вот пустота и тоска, такая тоска, что хочется, чтобы случилось что-нибудь, пусть страшное, гибельное, но способное разбить пустоту и тоску.

Сейчас зима, февраль, и можно спать хоть круглые сутки. Но я просыпаюсь часов в пять. Долго пытаюсь забыться снова, устраиваюсь удобнее... Нет, подушка становится твердой, одеяло давит и душит. Во рту гниловатая сухость, глаза чешутся... Потом в голову начинают лезть мысли. Как провести этот день, чтобы не получился один в один, как прошлый и позапрошлый, и недельной давности, месячной... Февраль, как январь, как декабрь, ноябрь... На несколько минут фантазирование чего-нибудь необычного увлекает и одновременно усыпляет, но тут приходят воспоминания о родителях, я начинаю представлять, что чувствовала бабка, пережившая свою дочь на три года, как она мучилась в одиночестве (я тогда навещал ее редко); я пытаюсь представить себя через десять лет, через двадцать. А в основном колют и царапают мысли, не оформленные во что-то конкретное, — просто заливают мозг неприятным, гадким, развешивающим. Кислотой тоски. Именно тоски. Самое правильное слово — тоска, хоть и заболтанное, обесцененное. Но, бывает, услышишь от кого-нибудь вздох: «Тоска-а», — и ледяной судорогой сводит грудь, и тянет зареветь, как в детстве, когда тебя несправедливо обидели. Взяли и просто так, ни с того ни с сего, для забавы или, хм, с тоски ущипнули, обозвали, ткнули...

Когда лежать уже невмочь, я сажусь на кровати, включаю телевизор, больше не для того, чтоб смотреть, а из-за мягкого света, который он излучает, и нахожу сигареты.

Курю, таращусь в экран, прочесываю дистанционкой программы... Повторы вышедших из моды сериалов, черно-белые советские фильмы, клипы малопопулярных певцов... Смотреть нечего, да и вообще как-то нечего смотреть — в какое бы время ни включал телевизор, какую бы программу, всегда тянет переключить на другое или вообще щелкнуть красной кнопкой.

Но щелкну, и что останется? Неживая полутьма, тишина, рождающая мысли, от которых становится жутко. Пусть лучше это...

Давлю в пепельнице докуренную до фильтра сигарету, поднимаюсь.

Довольно тепло. Значит, на улице без ветра, — при ветре, как бы ни грели батареи, в квартире зябко. Правда, рамы я не заклеиваю — лень возиться. Да и не помогает — от этих ветров только стеклопакеты спасают...

Тащусь в туалет. Позевывая, покашливая от горькой слизи в горле, мочусь. Спускаю воду. Белый маленький счетчик над бачком закрутил свою крыльчатку, красный валик справа стал менять цифры, отсчитывая потраченные литры... Черт, опять забыл плеснуть в унитаз воды из ведра! Вот же оно, рядом, и пластмассовый ковшик плавает... Изо всех сил стараюсь экономить и постоянно срываюсь.

Но так как-то уютно, приятно становится, когда слышишь, как наполняется бачок, что-то там шипит и посвистывает...

Зажигаю на кухне колонку. Потом — плиту. Ставлю чайник... Электрочайники у нас не прижились — слишком много жрут электричества, а газ пока относительно дешевый. Да и вредны, говорят, эти электрочайники. Пластмасса. Пользуются ими в основном на работе...

Мысли, хоть и такие мелкие, ничтожные, как сейчас, разгоняют бесполезную, не перерастающую в сон дремоту; я двигаюсь быстрее, словно у меня впереди масса важных и срочных дел.

Пару раз обжегшись (отрегулировать воду невозможно), умываюсь надеваю трусики, стеганую рубашку. Делаю чашку кофе, пью перед телевизором. Мировые новости сегодня пресные, никаких катастроф. Фильмов интересных нет (кто их будет смотреть в половине шестого утра?), по MTV какое-то реалити-шоу вроде «Дома-2», — тоже молодняк делает вид, что пытается полюбить друг друга. То обнимаются, то матерятся и бесятся. Смотреть скучно... Сейчас я кажусь себе, в свои тридцать шесть, всё знающим, всё испытавшим стариком. Хотя что я знаю, что испытал?.. Несколько секунд поисков в своем прошлом хватается, чтобы меня скрутил новый приступ тоски. Ведь ничего, совершенно ничего особенного, ничего, за что бы зацепиться, посмаковать приятное или ужаснуться, когда я был на волосок от гибели...

Ровная жизнь. И даже смерть родителей мне иногда представляется не бедой, а благом. Сейчас бы давились здесь, в этой двухкомнатке, отец бы с матерью раз в неделю ругались из-за какой-нибудь мелочи (а точнее, из-за утомления друг другом, собой, собственным бездельем), и я бы наверняка ввязывался в их грызню... Полно таких семеек...

Но родители умерли, почти не мучаясь (обоих рак сожрал за несколько месяцев), и оставили меня одного. Одного в этой квартире-кормилице. Я сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, ни от кого не завишу, ни под кого не подстраиваюсь.

Только вот... Только невыносимо... Слабенькая бодрость, возникающая во время умывания, приготовления кофе, улетучивается, и я бессильно разваливаюсь в кресле, как переваренная рулька.

Нет, не надо! Вскрываю, встряхиваюсь, хватаю сигарету, зажигалку. С пепельницей в руке хожу по комнатам, заворачиваю на кухню, оглядываюсь, будто ищу что-то важное. Сам не знаю, что, но важное, способное помочь и спасти.

Остановился перед книжными полками... Я по нескольку раз утром и вечером перед ними останавливаюсь. Внимательно смотрю на корешки... На самом деле все читано-перечитано. Джек Лондон, Купер, Пикуль, Лермонтов, Скотт, трехтомник Александра Грина... Романтика, необыкновенные приключения, страсти и путешествия, сбывшиеся надежды... От воспоминаний о том, как жадно я поглощал все это, становится еще хуже, и я отбегаю обратно к телевизору...

Покупать другие книги или брать в библиотеке не хочется, точнее, страшновато — неизвестно, что там найдешь, под обложкой. Да и что нужно искать в моем положении? В моем непонятном положении...

Иногда я прошу дать что-нибудь почитать Наташу, но не потому, что жажду именно читать, а чтобы поддерживать отношения с ней. Брать и отдавать книги — хороший повод встречаться, разговаривать, рассчитывать на нечто большее... Хотя с этого большего у нас отношения и начались — секс в первый же вечер знакомства, — а потом пошли по нисходящей. Или, наоборот, теперь они настоящие, а тот секс был приступом животности и отчаяния. Не знаю... Не знаю, не хочу анализировать, просто раза два-три в неделю прихожу в музей, где Наташа работает, и отдаю ей очередную книгу, беру другую.

Она пичкает меня Серебряным веком. В основном, конечно, стихами. Позавчера, например, дала толстенный том Марины Цветаевой. Я полистал, наткнулся на строки (уголок страницы с ними был загнут):

Захлебываясь от тоски,  
Иду одна, без всякой мысли,  
И опустились и повисли  
Две тоненьких мои руки, —

и захлопнул. Дальше читать желания не возникает. Распалить в себе эту мерзкую тоску, тем более при помощи стихов, — последнее дело. А она ведь там повсюду, тоска, в Серебряном веке. Везде про умирание, распад, тревогу какую-то неосознанную... Мы с Наташей несколько раз спорили, — ей, наоборот, такие стихи уверенность в будущем почему-то дают, — следующий спор может закончиться ссорой. Ссориться не хочу, боюсь. И так не с кем общаться... А до лета еще далеко.

Занимая голову подобными размышлениями, мучаясь и слегка как-то играя с этой мукой, я убиваю часа полтора. За окном светает, становится немного легче... Иду на кухню, чтоб приготовить завтрак. Точнее, найти, что там есть пожевать в холодильнике.

В кастрюле остатки сваренного дня два назад риса. Кусок вареной колбасы, кефир...

Ставлю на плиту сковородку, наливаю немного масла. Поджариваю колбасу, разогреваю рис. Посимпатичней выкладываю на тарелку, в рисе делаю углубление, лью туда кетчуп. Отрезаю кусок хлеба. Возвращаюсь в комнату.

По телевизору как раз региональные новости. Проблемы с отоплением, сложности на дорогах — гололед; а вот и наш город: какая-то пожилая рыхлая женщина плачет. Ей вручили бумагу, что нужно в течение десяти дней освободить комнату в рабочем общежитии. Комната аварийная. «И куда я?.. Куда я?» — задыхаясь, спрашивает она, потрясая листом... Потом журналистка берет интервью у пресс-секретаря администрации. «Никто на улице не останется!» — заверяет он.

Наверное, не останется. Но я начинаю представлять, что вот такая же бумажка приходит мне. Да я с ума сойду, соображая, как упаковать вещи, что вообще делать. Хотя... Я знаю ту общагу недалеко от нефтебазы — кирпичная пятиэтажка, похожая на руины. Может, у этой женщины появился шанс изменить жизнь, получить хоть однушку, но в нормальном доме.

Да нет, какой шанс... Переселят в другую нору, потом, лет через пять, снова велят собирать в баул трусы и кастрюли и куда-то идти. И так до конца... Мне хочется, чтобы на ее месте сейчас была девочка лет двадцати пяти. Плачет и спрашивает в камеру: «И куда я? Куда?!». Не очень симпатичная, простоватая, глуповатая; но это даже хорошо... И я мчусь к ней, предлагаю: «Переезжай ко мне». Конечно, никаких прописок — пусть живет на правах домработницы. Отведу ей комнату, буду раза три в неделю с ней спать, изредка выводить в кино или в кафе...

Усмехаюсь этим фантазиям, отношу пустую тарелку на кухню. Мою. Когда открываю горячую воду, колонка начинает выть, как немецкий самолет в фильмах про войну.

Закончив, выключаю газ, поворачиваю вентиль на трубе.

Смотрю в окно. Серовато, пусто, деревья неподвижны... Да, ветра нет, и это редкость. Прогулка сегодня должна получиться приятной... Прогулка... Скорее, панический поиск непонятно чего. Неизвестно чего.

Шляюсь по знакомым, с детства изученным улицам и ищу, ищу. Вот сейчас возьмет и блеснет это нечто. Озарит, согреет, спасет. Как в книгах... В каждой из нескольких десятков прочитанных мной за жизнь книг что-то случается хо-

рошее. Конечно, герой преодолевает массу преград, проходит кучу испытаний, но в итоге обретает счастье.

Я тоже готов преодолевать преграды, согласен даже погибнуть. Но где эти испытания, где враги, с которыми нужно сражаться? У меня — вереница бесцветных дней, вроде бы вполне благополучных, но они складываются в пустой год, и этот год уходит в небытие. Растворяется, будто и не было. Ни какого-нибудь десятого февраля, ни двадцать третьего января, ни семнадцатого января, ни даже четвертого декабря — дня моего рождения.

Летом еще более-менее — летом тепло, многолюдно, суетливо и празднично в нашем городе, и ощущение, что найдешь нечто спасительное, сильнее. Хотя ближе к холодам становится ясно: это обман. Глазение на девушек в купальниках, танцы и катанье на аттракционах, два-три-четыре совокупления с подпившими лохушками, пачечка полученных за съём квартиры, за таскание шезлонгов и разные мелкие подработки денег, вот и все. И дальше пять месяцев почти полного одиночества, почти полной тишины и беспрерывной тоски. Но в эти холодные месяцы я начинаю искать еще активнее — кажется, что меня, одинокого, на пустынной улице, это спасительное нечто заметит скорее, чем в летней суете... Или я его замечу и обрету?.. Какая разница...

Да, от такой жизни немудрено и заговариваться, впасть в какую-нибудь веру. У нас зимой в городе и людей почти нет, но кто остается — поголовно верующие. Разнообразные христиане, свидетели Иеговы, мусульмане, караимы, даже сатанист один есть — живет в доме напротив. На закате у него обострения наступают, и он проповедует с балкона. Ни для кого угрозы не представляет, не пристаёт со своей верой, и его не трогают... Наташа верит в поэзию, моя одноклассница Ира — в принца. Да, все во что-то или в кого-то верят.

Медленно, как бы тайком от себя самого, я собираюсь на улицу. Вот сменил треники на джинсы. Побродил, подобрал свитер со спинки дивана... Потаскал по щекам лезвия электробритвы... Еще побродил по комнатам. Выключил телевизор.

Ну что, пора идти. Пора искать.

Посмеиваясь над собой, обзывая шизоидом, романтиком, открываю дверь, выхожу на площадку. Запираю оба замка. Что ж...

Спускаюсь по лестнице. На щитках — навесные замки, части счетчиков нет, — жильцы переставили их внутрь квартир вскоре после заселения. От греха подалее. Воровали тогда всё подряд — белье с веревок во дворе, колеса у машин или целиком машины, провода срезали, оставленные на минуту тазы и ведра возле подъезда... Может, даже не из-за нужды воровали, просто время было такое, когда не воровать было труднее, чем тащить все, что плохо лежит.

Сегодня воруют меньше и вообще как-то бережнее друг к другу относятся. Словно оставленная на утонувшей подводной лодке команда. Знают, что уже не спастись и убивать друг друга бессмысленно. Так вот бродят по кварталам-отсекам, чего-то ищут, на что-то надеются. Очередное лето дает очередную надежду, пусть слабую и иллюзорную, а очередная зима добивает...

Мусоропроводы заварены. Уже лет десять мусор выносим в контейнеры, стоящие во дворе. Сделано это в целях экономии — сгружать в машину содержимое трех металлических коробов дешевле, чем подгонять ее к каждому подъезду. Да и для нищих (настоящих бомжей у нас, кажется, нет, а нищих немало) — возможность покопаться в отходах, найти что-нибудь для себя нужное.

Поначалу многие ленились нести ведра и пакеты от квартиры до контейнеров — валили мусор или возле бесполезной теперь трубы, или у дверей камер приемников; некоторые, живущие на верхних этажах, выбрасывали его из окон.

Но постепенно приучились. Постепенно ко многому приучаются. У некоторых, знаю, экономить на всем — цель жизни. Даже не из-за нужды, а просто. Это у них типа спорта. Встречаются и хвалятся друг перед другом: «А я в прошлом месяце на три десятых кубика воды меньше потратила!» — «А я света нажег на сорок семь киловатт всего. Учись!» И когда слышу такое, представляется, как на ощупь передвигаются по темной квартире и делают глоток воды, когда хочется выпить всю чашку, как недокипяченной водой чай заваривают, пасту на щетке оставляют, чтоб ею же вечером зубы почистить, сталкивают говляшик палочкой в сухую дыру унитаза. «Экономия!»

Стоило во двор выйти, со всех сторон — из кустов, из-под жестяных гаражей, из подвальных отдушин — ко мне бросаются кошки. С десяток, а может, и больше. Но увидели, что в руках нет ни кастрюли, ни пакета с объедками, тут же потеряли интерес и потрусили в свои укрытия. Две-три недовольно мявкнули, словно я обязан был их угостить.

Кошек в нашем городе полно. Думаю, что сейчас их больше, чем людей. Они не то чтобы бездомные, а какие-то общие. Пожилые женщины и дети их подкармливают, играют, гладят. У нас любят кошек. Даже собаки не трогают.

Мне часто кажется, что кошки и есть хозяева города, что им одним здесь понастоящему хорошо. Я не вижу богачей, действительно дорогих автомобилей; у нас нет шикарных отелей, закрытых клубов и тому подобного; элитных собак я тоже не встречал. А вот кошки разные, немало, видимо, и породистых. Но, главное, они ведут себя, как короли жизни. Даже в ненастные дни находят удобные и уютные пятки, лежат и поглядывают на торопящихся с презрением и недоумением. Дескать, зачем бегать? Бегай, не бегай — ничего не набегаешь.

Город я обхожу то по большому кругу, то по малому. Малый — это, в общем-то, центр, а большой... Сегодня погода позволяет совершить этот большой круг... Сначала на восток, по улице Сиверса до забора пустующей военной базы (она вообще-то охраняется, но солдат там нет уже лет пятнадцать). Потом по Геологической, Таманской — на север. Мимо нефтебазы, элеватора, ТЭЦ, руин прядильной фабрики, на которой работали мои родители... Таманская улица постепенно поворачивает на запад; я перехожу на Вторую Профсоюзную, прохожу мимо школы-интерната, стадиона «Кристалл», детского дома. Справа начинаются поросшие деревцами холмы, затем холмы сменяются оврагами и карьерами. Вторая Профсоюзная, уперевшись в очередной овраг, кончается, но немного южнее начинается улица Володарского.

Какие-то склады, ангары, ржавые ворота, запертые на такие же ржавые навесные замки. Дальше — довольно крутой подъем. На более-менее ровных участках склона — хибары. Это и есть поселение виноградарей. Домишки покрыты черепицей, тяжелой и крепкой, надежной. Из-за этой черепицы хибары напоминают присевших и умерших ящеров. Пришли сюда миллионы лет назад попасться, присели, спрятали головы и ноги, оставив на виду шершавые, покрытые панцирем спины, и так вот остались. И в их скелетах поселились люди. И живут...

Я открываю хлипкую, из жердей, калитку. Вхожу в свою хибарку. Проверяю, все ли нормально. Осторожно поталкиваю держащие центральную потолочную балку подпорки. Иногда топлю собранным вокруг ограды мусором печку, чтоб дать понять хибарке, что о ней заботятся и разваливаться пока рано.

Слушая, как щелкают щепки и сучки, шипит пластик бутылок, я вспоминаю родителей, бабушку, представляю деда... Он серьезно отремонтировал этот домик в начале шестидесятых и вскоре умер. Снова ремонтировать бесполезно — надо перестраивать. Хибарке лет сто, а может, двести... Если верить бабушке,



наша родова жила здесь всегда. У нас и на Старом кладбище есть свой участок. Она водила меня в детстве, показывала, кто где лежит, перечисляла имена покойников... Мои прадеды и прапрадеды, их племянники, племянницы, братья, свекрови, золовки...

Теперь я редко бываю на кладбище. Тяжело не то чтобы видеть могилы мамы и отца, а думать, что я вполне могу оказаться последним на этом фамильном прямоугольнике. Да и наверняка меня здесь не похоронят, напиши я хоть сто завещаний с просьбой об этом. Закопают на Новом в степи. Мне стоило больших усилий похоронить маму здесь, рядом с ее мужем, а ей, до того, пришлось долго хлопотать о захоронении там своего мужа. «Ну как он один среди чужих будет лежать? — помню, плакала, сама уже больная, полумертвая. — Там, тем более, место есть... Все санитарные нормы... Пожа-алуйста!» Ей пошли навстречу, потом навстречу пошли мне, — я тоже очень просил. А кому пойти навстречу в моем случае? Если умру дома, меня и не хватятся, пока не запахну...

Весной, перед Пасхой, я подновляю надписи на памятниках родных, убираю мусор. Года три назад поправил металлическую витую ограду, которой кто-то когда-то обозначил наш участок, но она снова покривилась — ржавчина съедает столбики. Необходимо менять хотя бы их, но на это понадобятся деньги. Прилично денег. Вообще-то я могу скопить, но есть ли смысл продлевать жизнь этой ограде? Через тридцать, или пятьдесят, или семьдесят лет она все равно упадет, через сто лет повалятся памятники, участок зарастет кустами, деревьями...

В хибарке почти все так же, как и при бабушке. Темная тяжелая мебель, в основном самодельная (мастерила потомственно одна семья до начала восьмидесятых, потом на их комоды, столы, буфеты спроса не стало, и семья как-то распалась и вымерла), обесцветившиеся от пыли занавески, репродукции картин Шишкина. Телевизор «Рубин» на комод, и сам напоминающий комод. Я бы давно сменил его на современный (цены сейчас на телики, да и вообще на аппаратуру смешные), но показывает хорошо, хотя нагревается долго, и иногда что-то в нем начинает гудеть, и тогда кажется, что вот сейчас «Рубин» вспыхнет, взорвется. Нет, не взрывается, гудение смолкает... Просто так брать и тащить на свалку — жалко. Пускай живет пока. Тем более, в квартире у меня «Самсунг», но летом его смотрят квартиранты-туристы. Без телевизоров, как и без стиральных машинок, утюгов, кондиционеров или вентиляторов в крайнем случае квартиры котируются слабо. Некоторые отпускники уже и без Интернета вселяться не хотят: «А как мне с миром общаться?! Нет уж, спасибо».

Попроведав домик, спускаюсь по улице Овражной до школы номер три, в которой учился. Если встречаются люди, здороваюсь. Правда, знакомых почти не бывает... Когда живу здесь летом, то ни с кем не общаюсь. Соседи сменились, теперь это какие-то то ли переселенцы из сел, то ли бедные дачники, которым не хватило средств на нормальные участки. Они копают сухую каменистую землю, пытаются здесь что-нибудь вырастить, но ничего не растет. Хорошая земля дальше, на противоположном склоне холма. Там виноград. Наверное, и поселение основали именно здесь, чтобы не занимать плодородную почву. Впрочем, вид неплохой: далеко внизу море, отсюда безопасное, игрушечное, город, живописно лежащий серпом вдоль залива. Зелень парков, купола цервей, минарет мечети, башни остатков крепости...

Да, население этого района за последние двадцать лет сменилось чуть ли не полностью (кому-то дали квартиры, как нам, другие уехали, кто-то умер). Кой-какие хибарки совсем покосились, даже стекла полопались из-за покривившихся рам, но в них живут... В народе район называют теперь Бичёвка. Хм, а когда-то Виноградным... Ладно, хоть не воруют.

Школа все такая же. Двухэтажное беленое здание с выцветшей надписью над входом «Добро пожаловать!». Рядом спортивная площадка — турники, шведская стенка, баскетбольные кольца без сеток... Спортивные сооружения каждую весну красят, но краска отколупывается, шелушится, и наружу лезет колючая ржавчина. Когда-нибудь очередной школьник станет подтягиваться, и турник рухнет; метнут мяч в кольцо, а оно рассыплется в пыль...

От школы поворачиваю на запад, на Подгорную. Миную пенсионный фонд, центр занятости — трехэтажный, с большими зеркальными окнами. Я оформлялся как безработный еще в другом месте — в кабинетике при себе. Потом — в начале двухтысячных — наплыв граждан стал таким мощным, что пришлось возводить отдельное здание. Но вскоре обращаться в центр почти перестали. То ли ищущие работу закончились, то ли своими силами проблемы решают, то ли просто плюнули... Раз в месяц мне приходят на книжку несколько сотен, в определенный срок я переоформляю документы; иногда меня вызывают, чтоб предложить устроиться то дворником, то грузчиком, то курьером. Я отказываюсь. Отказываюсь не нагло, конечно, чтоб не злить тетенек, ссылаюсь на боли в спине (они действительно бывают, пару раз даже «скорую» вызывал, просил укол поставить), на предрасположенность к простуде. «Нет, дворником никак... Я не брезгую, но... Зимой постоянно на бюллетене буду... Летом... У меня солнечный удар в детстве был... Не могу долго на солнце... Курьером?.. Извините, но ведь это для студентов... Может быть, подождем, когда что-то серьезное появится. Я ведь все-таки техникум закончил...»

Тетеньки соглашаются. Они явно не горят желанием устроить меня на работу во что бы то ни стало. Да им, кажется, самим неловко предлагать мне, тридцатилетнему, имеющему диплом со специальностью «Монолитное строительство» работу, которую может выполнить и дрессированная обезьяна.

Да и появишься подходящая вакансия, я вряд ли ее займу. Я нигде никогда не работал — только подрабатывал, — не могу представить себя, месяц за месяцем, год за годом идущим одним маршрутом в определенное место, пребывающим там по восемь часов... Помню, как после довольно долгого перерыва столкнулся в ресторане «Прибой» со своей одноклассницей Ириной. Я зашел туда однажды, решив вкусно поесть, выпить хорошей водки. И увидел ее в фартучке, с этой белой официантской наколкой на волосах. «Ты что здесь делаешь?» — изумился. И услышал спокойно-усталое: «Я здесь старею». Я не хочу попадать в ситуацию, когда и мне подвернется на язык подобный ответ.

Лучше уж стареть в одиноком кружении по городу.

От центра занятости на юг ведет улица Победы. Очень тянет свернуть на нее и через десять минут оказаться у моря. Поговорить с Ириной, Наташей... Но я иду на запад по Октябрьской, убеждая себя, что мне очень нужно увидеть то-то и то-то, и внутри крепнет уверенность, что там-то, или там-то, или там-то вдруг произойдет неожиданное и в то же время давно ожидаемое. То, что изменит вялое и бесцветное течение жизни. Моей маленькой, но родной и единственной жизни... Я не верю в реинкарнацию и тому подобное. Это придумали для того, чтобы не слишком сильно страдать от пустоты и преснатины. «Если в этой жизни не повезло, значит, в следующей повезет чуть больше», — саркастически поется в одной песне. Да, многие только на это и надеются.

Октябрьская выводит меня к храму Всех Святых. За ним — Старое кладбище, напротив храма — автовокзал. Я вижу таблички на лобовых стеклах автобусов с названиями ближних и дальних городов. Даже «Волгоград» есть. Но почему-то не верится, что автобусы окажутся в этих городах, что они вообще сдвинутся с места. К тому же и пассажиров в них нет, и водительские места пусты.

Пуста и привокзальная площадь. Совершенно пуста. Ни одного человека, ни собак, даже ветер не гоняет бумагу и целлофановые пакеты. Застывший, умерший мир.

Становится жутко. Я закуриваю, но тут же сбиваю уголек с сигареты и торопливо вхожу в церковь.

Уютная полутьма, иконы, лампадки; женщина в платке отковыривает столовым ножом воск с желтого подсвечника... Стою и радуюсь, глядя на ее движения. Энергичный, немеханический скрежеток металла о металл — как музыка... Мысленно объясняю себе, что все нормально, люди есть, просто греются внутри автовокзала, что в положенное время водители сядут за руль, заведут моторы, в салонах наберутся по десять, пятнадцать, тридцать пассажиров. Может, поругаются слегка из-за каких-нибудь пустяков, из-за мешка в проходе, и покатыят в Ростов, Краснодар, Волгоград...

— Свечку хотите купить? — громким шепотом спрашивает женщина.

Я мотаю головой:

— Нет-нет.

И вижу в ее взгляде вопрос: «А зачем пришел тогда?».

Может, да наверняка, она так не думает, но в глазах читается именно это.

Мне становится неловко, и через несколько секунд я выхожу на улицу. Снова закуриваю сигарету. Быстрым шагом двигаюсь в Старый город.

В школе нас приучали любить и уважать историю родного края. Нам рассказывали, что город наш был основан в четвертом веке до нашей эры, входил в Боспорское царство, а до этого здесь жили какие-то меоты, синды... В тринадцатом веке городом владели гетуэцы, построили огромную, кажется, крепость (следы ее встречаются на территории почти всего Старого города, часть стены с двумя башнями уцелела). В середине четырнадцатого века город завоевали золотоордынцы, потом он принадлежал Османской империи. В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков русские несколько раз брали город, но их выбивали. Говорят, потери с обеих сторон были огромны. В конце концов русские победили... В тысяча восемьсот пятьдесят пятом году город заняли англичане. Правда, через три месяца убрались... Во время Гражданской войны власть менялась раз десять. После каждой смены происходили казни и чистки. Красные, белые, казаки, анархисты... В сорок втором году город в очередной раз был почти стерт с лица земли, население уничтожено или бежало. Кто на восток, кто на запад...

Да, история бурная и богатая, даже и не совсем верится, что из-за этого кусочка земли погибло столько людей, столько крови в нее впиталось. Тем более что в краеведческом музее (двухэтажный домишко из нескольких комнат) практически нет доказательств того, что написано в исторических книгах. Несколько изъеденных ржавчиной сабель, пяток стеклянных осколков, которые являются (как утверждает подпись) фрагментами итальянских бокалов; изразцы, бусинки, камни, в которых скорее угадываются, чем видятся человеческие фигурки...

Я не очень-то верю в историю. Точнее — в грандиозность происходивших в прошлом событий. Например, что наш город восемьсот лет был крупным торговым центром, портом, в котором стояли под погрузкой и разгрузкой десятки кораблей... Но что-то, конечно, было и кануло в небытие почти бесследно. Миллионы людей прожили на этих квадратных километрах свои жизни. Некоторые умерли своей смертью, многих убили. Кто-то погиб героически, кто-то наверняка был потенциальным гением, кто-то был божественно красив... Только кого запомнило человечество? Да никого. И нечего выставлять в музее... А что оста-

нется от нашего времени через тысячу лет, после парочки катастроф? Да наверняка тоже какие-нибудь обломки, осколки, мелочи...

Но вот, правда, единственная оставшаяся от прошлого немелочь: кусок стены и две башни возле самого моря. Конечно, полуразрушенные, осыпавшиеся, но все равно внушительные. И невольно представляется, как тащили сюда отесанные камни, клали один на другой при помощи разных приспособлений, рычагов. Или пленники изнуренные строили, или сами генуэзцы — крепкие, активные, весело подбадривающие друг друга, уверенные, что за этими стенами будут жить их потомки до скончания веков... В заливе на волнах покачиваются корабли со спущенными парусами, на берегу — шатры, бочки с вином и порохом.

Пять, десять, сто лет строились пояса стен и башен, дома и церкви внутри них. Росло население, богатело... И вот к стенам подходят чужие, желающие город завоевать. Происходит штурм, но он неудачен. Осада. Летят в город камни и горящие стрелы, долбят укрепления стенобитные орудия... В книгах написано, что генуэзцы держались до последнего. Наконец в стане осаждающих началась эпидемия чумы. И хан приказал метать тела умерших за стены. Лишь несколько генуэзцев уплыли на одном корабле. Завоеватели ворвались в опустевший город, набрали добра, но почти все поумирали.

Через какое-то время жизнь вернулась, и возвращалась еще не раз. Что ж, место удобное. Но крепостей уже не строили, видимо, зная, что в один прекрасный момент найдутся те, кого стены не остановят. И дома стали не такие крепкие (уцелели у нас несколько древних зданий — из каменных блоков, с узкими окнами, плоскими крышами, напоминающими могильные плиты).

И вот сейчас рядом с генуэзскими башнями налеплены хилые домишки, сараюшки, сортиры, окруженные символическими заборами. На два-три поколения рассчитаны эти постройки, не больше. Не дольше.

Здесь, рядом с башнями, мне и хорошо, и тоскливо. Будто нахожусь в нужном месте, но я опоздал, и нечто важное уже случилось. Не исключено, что оно произойдет снова, но когда — неизвестно. А ждать — тяжело.

Да и как ждать? Это только литературные герои могут сидеть годами и глядеть вдаль с надеждой, а живые... Вот потоптался минут десять под одной из башен, и уже стал коченеть, и в туалет захотелось, и голод почувствовал. Надо идти дальше, туда, где и зимой теплится хоть какая-то жизнь, где кафешки с туалетами, ресторан «Прибой» с Ириной, музей с Наташей. Где есть шанс встретить тех, с кем можно словом перекинуться.

И по Портовой улице я шагаю на восток, к центру города. Небольшого приморского городка, в котором живу.

Слева четырехэтажные дома. Раньше в них жили семьи моряков и портовых рабочих, а теперь непонятно кто. Справа — здание порта, железобетонные заборы, стальные ворота, большинство из которых не открывали уже много лет (даже деревца кое-где перед ними выросли). Вот показались краны. Неподвижные, с повисшими стрелами. Напоминают дремлющих жирафов. Или больных...

Порт пуст, причал — тоже.

Нет, вот перед широкими решетчатыми воротами, к которым ведут рельсы, медленно проходит человек с ружьем за спиной. Часовой... Смешно. Что он охраняет?... Да наверняка есть, что. Страшно сознавать, что ничего не осталось...

Дохожу до железнодорожного вокзала. Симпатичное здание салатного цвета; несколько путей, разъезды, стрелки, тупики... Наш город — конечная станция. Южнее на побережье — курортные поселки, санатории, профилактории, заповедник. Часть пассажиров поездов летом сразу пересаживается на автобусы и едет туда. Там, конечно, лучше отдых, но и цены раза в три выше на все, поэтому не особо имущие, тем более с детьми, предпочитают проводить свои

отпуска здесь. А что? Пляжи есть, в том числе и песчаный, загазованность невысокая, кафешек, ресторанов, аптек, магазинов полно. Квартиры дешевые, комнаты копеечные. А то, что по онкологии наш городок первый в регионе, не афишируется. Да и кто знает наверняка, что на первом? И, может, случайно так получается. Подобрались люди, предрасположенные к раку. И никакие ракеты ни при чем.

Поговаривают (тихо, между собой), что это из-за военной базы на восточной окраине. Дескать, там в шахтах хранятся ракеты. Межконтинентальные, крылатые... Потом базу закрыли, а оружие осталось ржаветь, испускать радиацию.

Никто своими глазами ракет не видел, в шахты не пробирался, но упорно винят в раке базу. Скорее, чтоб найти для себя причину, — непонятность ведь хуже всего. Да и наверняка обида мучает — вот сколько лет жили рядом со стратегическим объектом, в опасности, но и с сознанием, что являются щитом Родины, и вдруг часть этого щита откололи и бросили, и люди стали не нужны. Да добавок должны глотать радиацию...

Не знаю, не знаю. Может, и правы они. По большому счету, правы — обидно быть ненужными. Тошно от нынешней свободы.

Зимой к нам прибывает один пассажирский поезд в сутки. Зато в сезон бывает до пяти дополнительных. Площадь тогда забита палатками и лотками, везде жарят мясо, пекут пиццу, осетинские и караимские пироги. Шумно, суетливо, празднично, дни и ночи мелькают с бешеной скоростью, но кажется, что лето не кончится, всегда будет вот так — жарко, ярко, многолюдно. А потом, в середине октября, резко холодает, и город пустеет. Большая часть кафе и ресторанов закрывается, палатки, лотки, тенты убирают на склады. И создается впечатление, что часть города исчезает. Действительно, в прямом смысле. Пусть не главная часть, но все-таки именно та, ради которой к нам сюда едут туристы, поддерживают своими деньгами наше существование. Без этой части горожане впадают в спячку. Тяжелую, не прибавляющую сил.

Но вот есть пятачок, где жизнь теплится и сейчас: Земская площадь. Метров двести от набережной; окружена краеведческим музеем, городской картинной галереей (с полтысячи пейзажей города и его окрестностей), центральным офисом банка, гостиницей «Прибой», рядом с которой одноименный ресторан. На площади несколько сувенирных киосков (вдруг кто из зимних гостей захочет купить раковину, или залакированного крабика, или брелок, магнитик); абхаз Насибей упорно поддерживает тлеющие угольки в своем мангале в надежде, что появятся голодные гости и скажут: «Пять!.. Нет, десять шампуров давай-ка, друг! Да вина, да помидоров, да сыра!».

Завидев местных, Насибей зазывает и их на всякий случай.

— О, дорогой! — улыбается мне. — Кушать хочешь?

— Хочу, — тоже улыбаюсь, принимая игру; этими словами мы обмениваемся каждый раз.

— Барашка, свинку, курочку?

— Угощаешь?

Насибей страдальчески ломает брови:

— Ох, да я бы с радостью. Не могу, знаешь. Но совсем мало возьму! Сто пятьдесят целый шампур. От и до! Давай?

Иногда, но редко, я соглашаюсь. Сажусь за пластиковый стол под брезентовым зонтом, надежно закрепленным веревками и камнями, и жду, наблюдая, как Насибей с любовью готовит шашлык. Курю, смотрю в сторону моря, и мне кажется, что я где-то в другой стране. На побережье Бискайского залива или

Балтийского моря; я приехал сюда зимой, чтобы отдохнуть от суеты родного города... Потом ем мясо, запиваю вином или проглатываю рюмку-другую домашней Насибеевой чачи.

Сегодня я поблагодарил и отказался.

Во-первых, не стоит столоваться у Насибей слишком часто, тем самым демонстрируя, что я как-то завишу от его вкусных шашлыков (вполне может из-за этого цену поднять, да и просто свое превосходство надо мной почувствовать); во-вторых, в «Прибой» теплее, чем здесь; в-третьих, денег просто жалко, — сто пятьдесят хоть и мелочь, но если выкладывать по сто пятьдесят три раза в неделю, то в месяц получается около трех тысяч. Плюс чача, плюс помидоры, хлеб. Жирновато... А главное, с Ириной просто так не общаешься — надо что-нибудь заказать.

— Спасибо, Насибей, может, завтра, — говорю шашлычнику и скорей отворачиваюсь, но успеваю заметить, как оползает его улыбка; потеря потенциального покупателя, ясно, не сахар...

Ресторан «Прибой» — вот он, напротив. Расположен в старинном двухэтажном доме. Залы на обоих этажах; в сезон есть открытая веранда, столики устанавливаются и на балконах. Сейчас работает лишь один зальчик — ближайший к кухне.

Открываю дверь — звенькает колокольчик, — вхожу, опускаю воротник, разминаю замерзшие пальцы. Взглядом ищу Ирину. По моим подсчетам, сегодня ее дежурство...

Появляется, на ходу поправляя старомодную белую наколку на волосах (руководство ресторана почему-то считает эту деталь обязательной для официантки), отвернув лицо и потому не видя меня. Увидела, и на лице мелькнуло разочарование. Конечно, в эти секунды, когда услышала звяк колокольчика и пошла встречать посетителей, успела нафантазировать... А тут я, пресный завсегда-тай. Закажу от силы на пару сотен, и главное — надоел я ей до предела, известен каждым жестом и словом. Я уверен, что она с радостью бы меня сюда не пустила, но принимать любого, обслуживать — это ее работа. За это платят деньги.

— Привет, — говорю изо всех сил душевно.

— Добрый день, проходи... — Она направляется к барной стойке за меню. — Гардероб, извини, закрыт.

— Да я на стул...

Смотрю ей вслед. Сочная нерожавшая женщина. Нельзя сказать, что до сих пор юная, хотя что-то сохранилось в ней девичье, то, что и отличает женщину от тетки... Но... Но у такой больше нет запредельных запросов, несбыточных целей — такой подойдет тихое благополучие, сносный достаток, который обеспечивает муж. Жаль только, что она не верит, что я могу ей это дать. Поженись мы, и Ирина так же будет изнывать по три-четыре дня в неделю в этом пустом пять месяцев в году ресторане, а в остальные семь месяцев метаться с подносом от кухни до столиков, сходить с ума от обилия заказов, бояться как бы не обсчитаться, не ошибиться в блюдах.

Ей хочется сменить работу или стать не испытывающей нужды домохозяйкой, если уж невозможно оказаться светской львицей, но никаких признаков перемены участи не ощущается. Нет, нечто витает, призрачно дразнит, намекает (как и мне), что надежда остается, и это самое обидное. Лучше бы уж полная безнадега.

Иногда из «Прибоя» Ирина идет ко мне. Очень редко. Мы занимаемся сексом. Жарко, грубовато, но молча, без поцелуев и ласковых слов... Мне кажется в эти минуты, что Ирина не со мной, а с кем-то другим, и, что самое неприятное, я сам себе представляю не собой. Представляюсь богатым, крепко вцепившим-

ся в жизнь мэном, которому по праву досталась такая женщина. С отличной фигурой, мягкая, гладкая, приятно пахнущая.

Потом Ирина быстро одевается. Я прошу остаться, мне хочется уснуть, обнявшись с ней, чувствовать ее во сне, но она уходит. С каким-то таким видом, словно пытается понять, как она сюда попала, что это с ней... И через месяц-два-три снова оказывается у меня, снова бьется на мне и подо мной, а потом торопливо натягивает колготки, цепляет крючки лифчика, размыто оглядывая комнату...

Прошлый такой вечер был у нас около месяца назад. Скорее всего, в ближайшее время мне рассчитывать не на что.

— Пожалуйста, — Ирина подает папочку меню. — К сожалению, не всё в наличии.

Это не сюрприз — готовят зимой один какой-нибудь суп, два-три блюда на второе, троечку салатов. Посетителей-то, мягко скажем, не густо, и если уж кто приходит, не станет кочевряжиться — съест что дадут, утолит голод и пойдет дальше по своим делам.

— А что есть? — спрашиваю, глядя на Ирину. Она стоит надо мной в белой кофточке, в черной юбке, прикрытой спереди кружевным передником. На лице аккуратная косметика, запястья голые, розоватые, даже на вид мягкие и нежные. Вообще вся она аккуратная — во-первых, работа такая, а во-вторых, всегда готова понравиться подходящему человеку. Человеку, который выдернет отсюда в лучшее.

После школы Ирина уехала, училась где-то, работала, даже вроде замужем была (подробно о прошлом я ее расспрашивать опасаясь, догадываясь, что счастья там особого не случилось), а года три назад вернулась сюда. Домой. На родину.

— Салаты «Витамин» и «Столичный». На первое — солянка, — без раздражения перечисляет она. — На второе есть котлеты «Домашние», куриные грудки под сыром, пельмени... Сок, кофе, чай в ассортименте.

— Отлично! — улыбаюсь. — Значит, солянку, пельмени и сто граммов водки... попроще.

Ирина не записывает — такой набор нетрудно запомнить. Уточняет:

— «Медофф» подойдет?

— Само то.

— Пельмени с чем? Майонез? Масло? Сметана?

— Сметана.

— Хлеб?

— Пару кусочков черного.

— Хорошо. — Она идет на кухню.

Достаю из кармана пальто сигареты. Некоторое время кручу пачку пальцами. Потом вынимаю сигарету, вставляю в рот. Вспоминаю, что зажигалку не достал. Нахожу. Закуриваю. Замечаю, что волнуясь, и назло волнению разваливаюсь на стуле, с силой пускаю дым вверх, к потолку. С ленцой (надеюсь, со стороны это выглядит именно так) оглядываю зал.

Громоздкая мебель, тяжелые портьеры, шторы. Кондиционеры спрятать, плазму со стены снять — и можно снимать фильм про советское время. Но туристам нравится, — летом здесь вечно битком. Как-то солидно по сравнению с фаст-фудом и пиццериями, цены терпимые, вентиляция... А сейчас пусто, холодновато, уныло, даже едой не пахнет, хотя кухня за дверью. Впрочем, если себе внушить, именно сейчас можно ощутить себя королем жизни. В кармане пять тысяч (на всякий случай всегда держу при себе часть сбережений). Наказывать всего самого дорогого, наобещать Ирине золотые горы — наврать, что

наследство, например, получил и готов уехать с ней в Питер, где, дескать, умершая тетка мне квартиру оставила. Оторваться по полной, гульнуть с Ириной (она сразу, услышав, что я стал другим, в меня влюбляется) не в этом осточертевшем обоим «Прибое», а в другом каком-нибудь месте. Потом страстная ночь в снятом номере гостиницы, завтрак в постели... А дальше? К сожалению, жизнь продолжится, и впереди — много-много дней. Тысячи дней, каждый из которых нужно переживать.

— Пожалуйста. — Ирина ставит передо мной большую тарелку с солянкой, хлеб, графинчик и рюмку. — Пельмени варятся.

— Спасибо. — Тушу окурков в стеклянной пепельнице с надписью «Marlboro». — Посидишь со мной?

Посетителей, кроме меня, никого, и Ирина присаживается напротив. Поднос кладет на соседний стол.

— Все ходишь? — спрашивает с сочувствующей, но и, кажется, снисходительной полуулыбкой.

— Да, хожу... А что еще делать... Вариантов немного...

Вообще-то говорить не о чем. О прошлом, что нужно, мы сказали и рассказали друг другу уже давно, что не нужно — не скажем никогда. Канва нынешней жизни нам тоже известна подробно. Конечно, какие-то детали мы друг от друга утаиваем (Ирина, скорее всего, ничего не знает о Наташе, точнее, о моих визитах к ней, а я не знаю, есть ли у нее секс с кем-то помимо меня), но если я прихожу в «Прибой» и меня встречает Ирина в своей форме официантки, значит, никаких существенных событий ни с ней, ни со мной не произошло.

— А у тебя какие планы? — задаю ответный вопрос. — Свободна вечером?

Ирина пожимает круглыми, налитыми плечами:

— Сегодня футбол. Должен собраться кто-нибудь. У нас бокал пива бесплатно. А потом... — она делает паузу, словно бы определяя, необходима ли ей уже близость с мужчиной или можно еще потерпеть. — Закончится поздно, одна мысль будет, как до кровати дошлепать.

Я покачиваю головой. Вожу ложкой в тарелке. Есть сейчас как-то неловко. Пóшло, что ли... Не нахожу ничего лучше, чем ляпнуть:

— Что за футбол-то?

— «Арсенал» — «Барселона». Лига чемпионов.

— М-м! На это должны прийти. Команды знаменитые. Месси, Аршавин...

Губы Ирины снова потянулись в неопределенной полуулыбке. Она кивает на тарелку:

— Ешь. А то остынет. — Поднимается. — Сейчас пельмени принесу.

Я выпил рюмку водки. Похлебал солянку. Колбасы и мяса не в обиду. Сытная. Но, кажется, не совсем свежая. Или маслин слишком много... Искал, искал, что бы сказать Ирине новенького, такого, чтоб она засмеялась, оживилась хотя бы. Снова мелькнула мысль (ненавязчивая, честно признаться) наврать, что я разбогател... Хмыкнув, отогнал ее, еще закинул в себя несколько ложек.

Вернулась Ирина с пельменями. Поставила тарелку по левую руку от меня, но не рядом, чтоб не мешала.

— Ир, — сказал я, чувствуя, что она сейчас пойдет к барной стойке.

— Да? — бесцветный отклик.

«Я люблю тебя... Не могу без тебя жить... Давай поженимся... Давай я продам квартиру, и уедем», — прощелкали в мозгу фразы, и ни одну из них я не смог произнести вслух. Не потому, что не решался, а просто... Просто знал, какой будет реакция. Эта ее полуулыбка, но уже не странная, а однозначно-насмешливая. Которая вполне может стать знаком: та ниточка, что связывала нас, рвется навсегда... В какой-то песне есть слова: «Женщины, которых, как реки, не по-



вернуть вспять». Когда женщина по-настоящему начинает тебя презирать, ее расположение ничем уже не вернешь. Лучше уж пусть остается как есть. Несколько раз в неделю буду приходить сюда и обедать, раз в месяц-два Ирина будет оказываться на час-другой в моей квартире...

— Ир, — говорю вслух. — Я сегодня приду на футбол. Можно?

И она невесело, но без всяких полутонов улыбается. Это действительно улыбка.

— Да конечно! Буду рада.

Я наливаю еще водки и глотаю. Закусываю вываленными в сметане пельменями... Пельмени здесь хорошие, с натуральным фаршем.

— Буду болеть за «Арсенал», — говорю. — А ты?

— Мне «Барселона» всегда симпатичней.

— А в «Арсенале» Ван Перси. Он уж симпатичней всей «Барселоны». С точки зрения женщин, конечно. Ты не подумай, — стараюсь ее развеселить.

— Да ну, он слащавый какой-то. Месси — вот настоящий парень.

Шутливо соглашаюсь:

— Ну да. Месси вне конкуренции... Зато в «Арсенале» наш — Аршавин.

— Ай, — морщит нос Ирина, — да какой он наш? Наши дома играют.

— Ага, в «Кристалле»!

И мы с ней смеемся вполне искренне... Наш «Кристалл» всю жизнь пробиивается во вторую лигу. Играют за него сорокалетние мужики, больше похожие на бойцов без правил, чем на футболистов...

Расстаемся в приподнятом настроении. Я расплатился (положил в папочку две сотни, хотя счет был на сто семьдесят два), надел куртку и вышел.

Выпитые сто грамм под хорошую закуску почти не чувствовались. Точнее, опьянения нет, зато возродилась энергия для дальнейшего похода по городу... Даже не так... Утром меня выбросила из дому тоска, а теперь появилось желание просто гулять, разглядывать знакомые здания, деревья, вывески, ворота, окна. Я словно бы хозяин, проверяющий сохранность своих владений... Теперь я готов многословно, эмоционально говорить с Натальей хоть о поэзии, хоть о чем...

И я уверенно шагаю к тому музею, где она работает.

Раньше, помню по детству, у нас был один музей — краеведческий, да и тот со скудными экспонатами. Ценные находки увозили в столицу, что-то в Эрмитаж, а у нас оставалось ненужное... А с начала девяностых музеи стали появляться, как грибы (или что там появляется словно бы ниоткуда). Музей денег открылся, музей моря, музей камня, музей игрушки, музей вина... Правда, музеями эти заведения сложно назвать, — скорее уж магазины, замаскированные под музеи. В музее денег, например, есть стендик с несколькими старинными монетами и редкими банкнотами, а прочее — товар. Так же и с остальными.

Но года четыре назад открылся действительно музей, хотя тоже почти без экспонатов. Его открытия добивались долго и трудно, с митингами и обращениями к мэру, губернатору, министру культуры... Дело в том, что в нашем городе в конце позапрошлого — начале прошлого века жила одна художница. Наташа всегда уважительно, с благоговением называет ее по имени-отчеству — Мария Григорьевна.

В общем, жила в нашем городе художница Мария Григорьевна, была знакома с кучей известных людей, считала себя ученицей Айвазовского, навещала Льва Толстого, когда тот лечился в Крыму. Но в общем жила незаметно в своем одноэтажном каменном доме на улице Десантников (как раньше называлась, не знаю), писала картины. Весной двадцатого года, когда к городу подходила

Красная армия и уже никто не верил, что ее остановят и победят, собрала свои холстики и села на пароход. Жила в Болгарии, во Франции, умерла в США в глубокой старости.

Картины Марии Григорьевны есть во многих европейских и американских музеях (в основном в запасниках), а у нас почти ничего не осталось. Это и было одной из причин, почему музей долго не организовывали (вторая существенная — в ее доме находилось государственное учреждение). В конце концов городская интеллигенция убедила, что главное — не экспонаты, а знак, что человека помнят, сделанное ею — ценят.

И теперь в четырех комнатах (залах) несколько рисунков Марии Григорьевны и два этюда маслом. А остальное — копии фотографий, писем, предметы старины (швейная машинка, керосиновая лампа, бюро, веер), морская галька...

Наташа — младший научный сотрудник, проводит экскурсии. По сути, ее экскурсии и являются главным, без них мало что можно понять, почти ничего не увидишь... Наташа рассказывает подробно, увлеченно, с душой и заражает этим сонных, вялых туристов. Часто я присоединяюсь к маленьким группам (большие в музейчике попросту не поместятся) и слушаю.

«Мария Григорьевна в юности была очень привлекательна. Все, кто был знаком с ней в то время, сходятся в этом, — журчит в ушах Наташин голосок, словно я уже пришел в музей и занял место среди экскурсантов. — У нас есть копия фотографии, сделанной в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. — Наташа показывает указкой на мутно-серое пятно под стеклом, где практически ничего не разобрать. — На ней Марии Григорьевне восемнадцать лет. Фотография сделана в Ростове, во время учебы Марии Григорьевны в рисовальных классах...»

Когда Наташа с придыханием произносит «Ростов», «Москва», «Петербург», вспыхивают внутри неясные, но яркие картинки. И я пытаюсь что-то разглядеть. Но неизменно оказывается, что это просто яркость, как свет сварки, который лишь слепит... В Ростов я ездил, но не обнаружил там ничего интересного, а Москва и Петербург для меня такие же мифические места, как, к примеру, Рим, Нью-Йорк, Париж, Бильбао... Да и Наташа в Москве и Питере не бывала. Самое дальнее — в Волгограде.

«В девятнадцать лет Мария Григорьевна полюбила. — «Полюбила», Наташа всегда говорит так, что становится ясно, что полюбить — это чудо, и хочется одновременно и заскулить слезливо оттого, что сам до сих пор не полюбил, и как-нибудь поганно захохотать. — Она полюбила молодого корнета Петра Сергеевича Лопушинского. Они познакомились в Феодосии, в доме Айвазовского. Их обоих, как много позднее вспоминала сама Мария Григорьевна, одновременно пронзили стрелы Амура. С самой первой встречи они не расставались, а вскоре были помолвлены. Мечтали о свадьбе. Но Петра Сергеевича отправили в Туркестанский край, где он героически погиб в бою под Кушкой восемнадцатого марта тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. И всю оставшуюся жизнь, почти шестьдесят лет, Мария Григорьевна хранила светлую память о своем женихе».

И мне, да, судя по всему, и остальным слушающим в эти моменты кажется, что Мария Григорьевна необыкновенная, чуть ли не святая женщина, что у нее (вот именно у нее) — трагическая судьба. И нужно что-то сделать, как-то помочь, исправить или, по крайней мере, больше узнать о ней.

Мне нравятся Наташины экскурсии и свои чувства, которые возникают во время них; во время этих экскурсий я люблю маленькую костлявую Наташу, люблю, наверное, именно так, как неведомый (даже фотки не сохранилось) корнет Петр Сергеевич Лопушинский любил Марию Григорьевну... К сожалению, экскурсии заканчиваются, и нужно возвращаться в реальность, где любовь, ско-

рей всего, хоть и возможна, но придавлена горами проблем. Вряд ли сегодня можно побегать по мелким камушкам, держась за руки и действительно счастливо смеясь, ни о чем больше не думая, кроме любви, как, если верить Наташе, делали Мария Григорьевна с Петром Сергеевичем. Да нет, и они вряд ли были абсолютно счастливы, но, слушая Наташу, становишься уверенным, что да, были.

И вот сейчас, подзарядившись общением с Ириной, вкусным обедом и водкой, я спешу в музей. Надеюсь, что кто-нибудь придет посмотреть экспозицию и я пристроюсь, послушаю, наполнюсь сладостью, испытаю прилив возвышенности. Пусть даже очень быстро произойдет отлив, а сладость превратится в едкую горечь... А если посетителей не будет, то просто посижу рядом с Наташей. Это тоже помогает.

Поднимаюсь по ступеням крыльца, открываю тяжелую скрипучую дверь. Озябшее лицо сразу хватается мягкими лапками теплый воздух, и хочется жмуриться, улыбаться.

Из кабинетика справа выскакивает Ольга Борисовна. Директор. На лице — надежда и волнение. Но увидела, что это всего лишь я, и надежду с волнением стерла досада. Ну почти как с Ириной получается встреча.

— А, добрый день, — говорит Ольга Борисовна, делая лицо спокойно-приветливым.

— Здравствуйте, — отвечаю, тоже стараясь быть спокойным и приветливым. — Как ваши дела?

— Да как они могут быть, — привычно-автоматически вздыхает директриса, и тут же что-то вспоминает, и голос ее становится по-настоящему скорбным. — Да нет, еще хуже — Наташенька отравилась. Второй день лежит.

— Где лежит? — за мгновение я успеваю нафантазировать, что Наташа отравилась таблетками и сейчас в морге.

— Дома. Рвота, температура, — говорит Ольга Борисовна. — Мама ее заходила утром, сообщила вот... Спрашивала, надо ли бюллетень оформлять. Да ладно, говорю, сейчас такой период, что все равно, работает музей, не работает. За неделю — ни одного посетителя. Даже адресом никто не ошибся...

Чувствую некоторое вроде даже разочарование, что у Наташи отравление случайное, и с удивлением понимаю: для меня не стало бы неожиданностью, если бы оно было намеренным.

— И не знает, говорит, на что грешить, — продолжается скорбный бормоток Ольги Борисовны, — все продукты такие стали, что... Контрафакт сплошной.

«А раньше никаких не было», — хочется ответить, но я лишь молча, сочувствующе киваю; спорить как-то глупо.

— Чайку попьете? — предлагает директриса. — У меня печенье есть. Посидим. Устала одна.

Соглашаюсь. Что ж, все равно делать нечего.

Сидим в маленькой комнате. Раньше это была, наверное, каморка швейцара (или сторожа), а теперь — дирекция. Шкаф с папками, два стола. Ольги Борисовны и Наташи. На директорском — компьютер. На экране застыли карты. Игра «Косынка» или что-нибудь типа...

В девяностые Ольга Борисовна была известнейшим (да и, по существу, единственным) искусствоведом нашего города. Писала статьи в местную газету, боролась за памятники старины, устраивала выставки и творческие вечера, добивалась открытия этого вот музея. Но, когда музей открыли, ее активность резко снизилась. Теперь она целыми днями сидит за столом, ждет посетителей, играет в безобидные компьютерные игры. Статей ее я давно не встречаю, выставок

и вечеров почти не бывает. Судя по всему, получила она то, что хотела, и успокоилась. Или устала.

Щелкнул, вскипев, чайник. Ольга Борисовна наполняет две чашки, закрашивает пакетиком «Липтона» воду сначала в моей, потом в своей. Отжимает пакетик при помощи ложки, бросает в урну.

— Кладите сахар. Печенье вот.

— Спасибо.

Я замечаю городскую газету. Свежий номер.

— Можно глянуть?

Ольга Борисовна удивляется:

— Конечно! Что вы спрашиваете, как чужой...

Приятные слова.

Попиваю чай, листаю газету. На первых страницах разная пустая информация, интервью с первым заместителем мэра под названием «Работаем в штатном режиме». Еще новости: где-то трубу прорвало, у какого-то долгожителя случился очередной юбилей, кто-то из наших на региональной олимпиаде по физике занял второе место... Страница здоровья, страница с кроссвордом и анекдотами, некрологи и поздравления... Разворот объявлений. «Продаю», «куплю», «обмен», «ищу работу», «вакансии»... Выхватываю взглядом: «Бармен, кассир, посудомойка, официанты с 1.04», «Официантки в летний ресторан. Отбор соискательниц с 15.03», «Семья досмотрит пожилого человека за жилплощадь, порядочность гарантируем», «Напишу поздравления, адреса к памятным датам, юбилеям в стихах, быстро, профессионально», «Требуются менеджеры по рекламе»...

Кладу обратно.

— Да, — тут же вздыхает Ольга Борисовна, — читать совсем нечего... Кстати, слышали, — переходит она на жаркий полусшепот, каким обычно делятся слухами, — в Ейске на стадионе изображение Богородицы обнаружили!

— В каком смысле изображение?

— Да в прямом. Мне фотографии показали... Может, конечно, монтаж опять, но... не знаю... В общем, летчики над городом пролетали и заметили. На стадионе, прямо на поле футбольном, — лицо, фигура... Как это сделано?.. Если правда, то... — Ольга Борисовна замаялась, кашлянула, всячески показывая, что не хочет верить, но факты сильнее веры — не веры. — Понимаете, если не монтаж никакой, то — чудо. Ведь бывает же... Иконы плачут, мироточат...

Поеживаюсь. Как-то действительно страшновато сидеть в тесной комнатке вместе с женщиной, которая начинает нести бред...

Кошусь на часы. Около четырех. Допиваю чай.

— Спасибо, — готовлюсь подняться, — очень вкусно.

— Да посидите, — просит Ольга Борисовна. — Куда спешить...

— Надо еще... — на ходу придумываю, — магнитофон надо из ремонта забрать. Что-то там... Кассета не крутится.

— Жалко-жалко. Поговорили бы.

— Я зайду завтра. Или послезавтра. — Встаю. — А сейчас надо...

Директриса просительно смотрит мне в глаза. Смотрит снизу, и от этого взгляд особенно беззащитный. Спрашивает:

— Как думаете, правда это?

— Что, изображение?

— Да.

Пожимаю плечами:

— Не знаю. Не видел же... Надо увидеть.

— Я попросила сделать копии. Принесу... Ведь если правда, то это к чему-то. Перед испытаниями, перед бедами всякими такое обычно... Много примеров.

— Ну, может, наоборот, — пытаюсь успокоить, кажется, действительно слетевшую с нарезки директоршу (никогда не замечал за ней тяги к мистике, и вдруг такое). — Может, хорошее что-то грядет.

— Правда?.. Хотя бы, хоть бы... Нет сил больше в этой пустоте находиться... У Виктора Пелевина книга вышла недавно... Глупая книга, пустая, но мысль точная есть: это эпоха, в которую ни мира, ни войны. Непонятность такая. Тревога и пустота. Лучше бы уж, думаю... Нет, не надо!

Она стала входить в спор с самой собой. На лице ежесекундно менялось выражение, изо рта вылетали междометия, бессвязные реплики. И я, бормотнув «до свидания», скорей вышел на улицу. Сбежал с крыльца.

Направляюсь к набережной. Нужно побыть рядом с морем...

Нет, на самом-то деле я понимаю Ольгу Борисовну. Очень хорошо понимаю. Поэтому и испугался. Зайтись в разговоре, начать безудержно выплескивать тоску и томление кажется мне опасным, губительным — можно в них захлебнуться.

Но отчего эти почти непереносимые, сводящие с ума тоска, томление, вечное ожидание худшего?.. Да, пусто в городе, да, скучно, да, зимой мы словно не на обочине даже, а где-то в кювете большой жизни, но вряд ли дело только в этом. Вряд ли...

По привычкедвигаюсь к морю кратчайшей дорогой и оказываюсь опять на площади, где торчит Насибей.

— Во! Решился?! — Он хватает картонку и машет ею, раздувая угли. — Давай, дорогой, я быстренько!..

Меня словно током шарахает бешенство, самое злое бешенство — смешанное с жалостью.

— Н... нет! — выкрикиваю. — Не хочу!

Поворачиваю налево, прыгаю по ступеням лестницы... Берег. По хрустящей гальке шагаю на север, к укромному месту, которое называют Камушки. Это участок у самого моря, шириной метров двести, заваленный валунами. То ли природные они, а скорей всего, привезенные когда-то для строительства набережной... Валуны разделяют галечный пляж и песчаный. Из щелей торчат ивы.

На Камушках я выпил свое первое вино, первый раз целовался. Там люблю посидеть в одиночестве, глядя вдаль, на горизонт, отключиться от ежеминутно теребящих мыслей.

На берегу холоднее, чем в городе. Под одежду лезет едкий не то чтобы ветер, а... Какое-то колебание воздуха, в общем. Море шевелится, но лениво, измученно. Вода темно-синяя, густая, как автомобильное масло. Кое-где плавают пористые, похожие на обломки грязного пенопласта льдины. Галька обледенелая, хруст ее противный, раздражающий. Пахнет холодной гнилью водорослей...

Летом здесь стоят надувные горки, работает прокат катамаранов, отдыхающих катают на водных мотоциклах, на бананах, тарелочках. Меж лежащими на ковриках и шезлонгах ходят продавцы пива, кукурузы, шашлыков из рапанов, мидий. Кричат: «Холодное пиво, горячая кукуруза!». Загорающие реагируют очень редко. Но однажды, видел, какой-то парень, в жару, стал выкрикивать: «Холодная кукуруза! Холодная кукуруза!» — и люди оживились, стали спрашивать, что стóит, покупали. Креатив.

М-да, кукуруза, кукуруза, ты тренируешь мышцы пуза...

На песчаном пляже я в сезон подрабатываю — протираю шезлонги. Нас шесть человек парней, дежури́м по двое по полдня. Руководит нами старуха Нина Викторовна. Сидит под зонтиком, у нее толстенная тетрадь с номерами лежа-

ков. Целая таблица там, какие сданы и насколько, какие свободны... Записывает, зачеркивает, отмечает...

Работа у нас с парнями несложная: к восьми утра приносим со склада и расставляем на отведенном пространстве шезлонги, а потом по приказу Нины Викторовны протираем тряпочкой тот или другой, смахиваем песочек. Конечно, наблюдаем, чтоб кто на халяву не разлегся, не начал ломать, банально не спёр... Но все-таки утомительно по пять-шесть часов в день вот так торчать. Да и как-то... как-то стыдно, что ли. Не семнадцать лет, не двадцать...

А что будет через пять лет, когда мне стукнет сорок, через десять — думать страшно. Противно точнее. Наверняка после сорока уже всерьез начнешь чувствовать, что старость недалеко. Пусть не старость, но уж точно молодость навсегда останется позади. Умрет... А каково женщинам... Ирине... «Я здесь старею»... Да, именно.

Вот и Камушки. Тот валун с плоским верхом, на котором я обычно сижу, прислонившись спиной к толстому стволу ивы... И кусок доски сохранился, который я подкладываю под зад.

Устраиваюсь, нахоливаюсь, стараясь не пускать холод под одежду. Закуриваю. Смотрю на линию горизонта.

Там пусто. Ни кораблей, ни тем более паруса. Оранжевые буйки, ограничивающие территорию купания, на зиму сняты. Тихо, даже чайки куда-то делись... А чего им летать над таким морем? Впечатление, что в нем ничего живого. Действительно, как миллионы тонн автомобильного масла. Залили в эту огромную чашу и оставили. А мы верим, что это море.

С усилием вспоминаю лето, когда вода прозрачна, мягка. В ней плавают рыбки, иногда попадают крошечные крабы, висят между поверхностью и дном беловатые сгустки — медузы. Обломки ракушек шторм приносит... Что еще?.. Что еще?.. Там, дальше от берега, говорят, много чего водится, даже дельфины и акулы, но я не видел.

На набережной в сезон появляется длиннющий, километра в три, ряд палаток, набитых морскими дарами. Звезды, засушенные колчужные рыбы, огромные розовые раковины... Туристыкупают все это на память. Но я знаю, что это дары не нашего моря, в лучшем случае не того, что находится рядом с городом. Рыб, раковины, звезды привозят из Турции и Египта. Да и почти все остальное — шкатулки в виде пиратских сундуков, сумки, чашки, майки — тоже оттуда. Где-то какие-то турки и египтяне их делают, делают, упаковывают в коробки и отправляют сюда. Наши девушки, парни, тетки, дядьки с апреля по октябрь стараются как можно больше продать, чтобы с ноября по март, забившись в квартиры и домишки, переждать зиму. А потом новый теплый отрезок года, который неизбежно сменится новой зимой. Пустой, долгой, лишней.

Да, нечего делать. Ни мне, ни Ирине, ни Ольге Борисовне. Ни Насибю. Ни еще нескольким десяткам тысяч людей в радиусе нескольких километров. Конечно, наверняка где-то сейчас проходят какие-то совещания и заседания по различным проблемам; у мэра, скорее всего, каждый день расписан, еще у сотенки тоже плотный график. А остальные?.. Да и у этих вряд ли. Может быть, дремлют в креслах. Тяжело, вынужденно дремлют, стараясь ускорить течение времени. Во сне время быстрее течет...

Я всячески, изо всех сил хочу настроить мысли на светлую волну. Я заставляю себя радоваться, что живу так, а не по-другому. Ведь раньше было хуже. Пршлым поколениям. Ни за что отправляли в ГУЛАГ, заставляли по шестнадцать часов лес валить, рыть каналы, камни перетаскивать с места на место. В войну работали на износ, после войны, когда Америку догоняли... А потом, в эти бреж-

невские времена, при Андропове, Черненко (смутно, но помню их), гонялись за тунеядцами, принуждали трудиться, платили зарплату вроде терпимую, но которую не на что было тратить, если ходить по государственным магазинам. Ковры, хрусталь по талонам каким-то, очереди на годы; на машины — тем более; еды в продуктовых было так жидко, что туда не особо и заглядывали. За рисом с макаронами разве что. Покупали всё на рынке втридорога, начиная с овощей и кончая осетриной. Плевались, называли продавцов хапугами, но покупали. Так же, плюясь, шли в столовые, потому что только там можно было гречку поесть... Хм, диетическое меню...

Вроде бы невесело было, унизительно. Радости воспоминания из детства у меня не рождают... Нет, было, конечно, много солнца, сладкая вата, молодые родители, бодрая музыка из громкоговорителей... Но у любого из детства можно выудить нечто хорошее. Даже самый забитый ребенок испытывал мгновения счастья... Но что там было, объективно? Теснота бабушкиной хибары, трясущийся холодильник, в котором редко когда были заполнены все полочки и ячейки; нудные уроки, неинтересные кружки, в которые мама заставляла меня ходить, а я не хотел... Но все же люди были живыми и какими-то... В общем, радовались жизни. Знали не то чтобы смысл ее, а свое в ней место. На работу родители шли, конечно, не с песнями, но уж точно с желанием. По вечерам обсуждали рабочий день, иногда расстраивались, что план под угрозой срыва, радовались грамотам, гордились каким-то Потылицыным (до сих пор торчит эта фамилия в мозгу), который получил однажды медальку «Победитель соцсоревнования» в восемьдесят каком-то году...

Папа очень переживал за свою фабрику, особенно когда по всей стране начались перемены. Боролся за что-то и против чего-то... Может, из-за нервов и заболел, и умер. Умерла и фабрика (железобетонные стены торчат на окраине до сих пор, все железо давно вывезли), и ничего — страна не рухнула. Наоборот, как я узнал из телевизора и газет, это пошло городу во благо, так как фабрика последние два десятилетия работала в убыток, высасывала бюджетные деньги. Вообще, дескать, промышленность в нашем регионе нецелесообразна и неуместна, и надо развивать санаторно-курортную инфраструктуру. Но что-то она не шибко развивается, — две гостиницы и три санатория и в сезон стоят полупустые. Приезжие предпочитают снимать квартиры и комнаты; для них самое важное — море. Те, кому важна инфраструктура, едут в Египты и Турции. Там, говорят, все давно почти идеально.

Пытаюсь думать о лете, представить, как здесь будет. Десятки девушек, стройных, гладких девушек в крошечных купальниках... Как я знакомлюсь с одной из них, или другой, или двадцать пятой, иду с ней вечером в парк, угощаю мороженым, вином, катаю на американских горках, а потом приглашаю к себе... Да, до ломоты в скулах хочу представить это, увидеть мысленным взглядом, а вместо этого в голову лезет липкая жуть... Позапрошлой зимой стал свидетелем такого...

Сидел так же, на этом же месте, и увидел — на песчаный пляж пришел человек. Потоптался у самой воды, стал раздеваться. Куртка, шапочка, свитер, ботинки, штаны, футболка... Я наблюдал за ним без любопытства, вполглаза — моржей у нас хоть и немного, но изредка купаются зимой... Мужчина забрел в воду по пояс, помахал руками и поплыл. Море было спокойным, я долго видел его все уменьшающуюся и уменьшающуюся голову. Потом перестал различать. Посидел еще минут десять, стал беспокоиться. Столько времени и суперморж в воде чуть за плюс пробыть бы не смог.

Помню, поднялся, смотрел туда, куда уплыл человек. Никого не увидел. Лишь вялое колыхание воды.

Покурил. Подошел к горке одежды. Постоял над ней, огляделся. Трогать опасался: вдруг разводка — трону, и тут же выскочат из-за веранды летней кафешки: «А, вор! Попался, сука!». И предложат: или плати, или потащим в отделение.

Так и ушел. Никуда не заявил. Заявлю, и начнут мурыжить допросами, пугать, к каждому пустяку придираяться. Менты тоже скучают и от скуки за любую мелочь цепляются. Часто устраивают облавы на автобусных зайцев, и не для того, чтоб какой-то свой план выполнить, а чтобы с тоски не чокнуться, друг друга не перестрелять...

В первое время я был уверен, что мужчина хотел искупаться, не рассчитал силы и утонул, а потом вспомнил, что он пришел без сумки или пакета, в котором бы лежало полотенце, да и вообще не был похож на моржа... Но и для самоубийства способ довольно экстравагантный. Хотя как знать, — я зимой не купался. Ни разу... Пока еще не купался ни разу...

Черт, на хрен такие мысли! Можно додуматься...

Вскакиваю, иду к лестнице. Надо домой. Темнеет... Разденусь, душ приму, упаду в кресло, включу телевизор. Нагулялся.

И сейчас я уверен, что действительно нагулялся. Надолго. По меньшей мере неделю не выйду из квартиры. Разве что в ближайший магазин за пельменями и хлебом. Буду сидеть и смотреть телевизор. Тупо наблюдать за движущимися картинками... Или видик снова подключу, пересмотрю кассеты с кровавыми боевиками и ужасами, которые любил в двадцать лет...

Почти бегу через парк. С ненавистью кошусь на замершие аттракционы. Важные части сняты до весны, остались лишь каркасы. Да и за ними присматривает охранник. Специальный вагончик у него. Сидит, пялится в окно, пьет чаек, иногда обходит территорию. При деле... Столько на эти аттракционы потрачено денег, а результат... Одна из двадцати девчонок, весело проводящих со мной вечера, не отказывающихся от предложений покататься, съесть вкусное, выпить, шла потом ко мне. Остальные девятнадцать предпочитали сваливать. Извинялись, обещали встретиться завтра, целовали в щеку и — топ-топ к себе на съемные хатки, в номера санаториев, к бабушкам, к родне...

А скоро и этой одной из двадцати не будет. Может, одна из пятидесяти или из ста... Пока я еще похож на парня (тридцать шесть мне не дать, разве что волосы над ушами слегка седоватые, но когда стригусь коротко — незаметно), но это не вечно же... Кому нужен стареющий самец? Сорокаклишнимлетний... В лучшем случае такой же стареющей, с обвалившейся грудью и рухнувшим задом. Секс полустариков. Щелканье суставов, хлюпанье морщинистого члена в разношенной дырке...

Всё, всё, всё — хватит об этом! Никто мне не нужен на самом-то деле. А с инстинктами вполне можно бороться, подавлять. Увлечешься чем-нибудь... Наталья борется; она наверняка не думает каждую минуту о мужиках, о том, что замуж пора. Читает стихи, плачет над ними очищающими душу слезами, рассматривает альбомы, и репродукции заменяют ей гулянье по Эрмитажу и Третьяковке... Я вот подумал, что она отравилась. Наглоталась таблеток, чтоб умереть. Нет, она неспособна. Она знает, что должна жить, дальше тянуть светлую ниточку, держась за которую другие могут выйти на свет из этой многолетней тьмы. Дотерпеть до настоящей весны. Поторопить приближение весны.

Да? И что ее ждет, Наташу, сегодня хрупкую, возвышенную девушку (совсем девочку на вид)? Что с ней будет через десять лет, через двадцать, если она так же будет тянуть эту нить, а весна все не наступит? Станет Ольгой Борисовной, а может, превратится в карикатуру на себя саму... Смешно быть востор-



женной и нежной душой в сорок пять лет... А весны для Наташи не наступит, никто за ее светлую ниточку не схватится. Так и будут заходить в ее музейчик вялые, изнывающие от жары и пота туристы в сезон, а в несезон она будет пить чай и сгорать со скуки... Потому и счастливо улыбается мне при встрече, возится со мной, дает книги, спорит о поэзии. Других нет, больше никого нет... И в «Прибой» на Лигу чемпионов сегодня никто не придет. Дома посмотрят. И бокал халявного пива не вытащит... Ирина будет стоять и ждать, а никто не придет... Будет ждать уже не принца, не капитана Грея, который увидит ее и увезет в большой мир; нет, будет ждать эту гопоту, которая, проглотив пол-литра халявного пива, захочет еще. И купит. И завтра хозяевам можно будет похвалиться: выручка за прошлый день — восемь тысяч!.. С учетом и моих двухсот... Нет, никто не придет, мои крохи будут единственным доходом... И я не приду на футбол. И во втором часу ночи Ирина посеменит на своих каблуках, со своими бритыми подмышками и лобком, эпилированными ногами домой. Упадет на кровать. Свернется калачиком, сожмется, заночует... Одна, одна...

Влетаю во двор, нащупываю в кармане ключи.

А по двору плывет красивый распев местного сатаниста.

— ...Утоли все горести наши да печали, вседержитель ты наш, спасите-ель...

Он стоит на балконе третьего этажа, голый по пояс. Руки раскинуты, голова задрана к темно-серому небу. Изо рта при каждом слове вылетает столбик пара.

— ...Дорогой черной идем, в церквах черных молитвы воздаем, души и плоть тебе отдаем...

Взял бы да прыгнул вниз. Но ведь не разобьется. Третий этаж всего. Газон. Но, может, ногу сломает. Заорет от боли, и боль сотрет все остальное.

— ...В почете да славе живет, всю благодать твою на себя собере-от...

Ко мне сбегаются кошки, а я, словно это крупные хищники, которые сейчас растерзают, растащат по куску в свои укрытия, бросаюсь от них. Тыкаю магнитиком в кружок возле двери. Писк. Открываю, врываюсь в подъезд, лезу по лестнице... Запереться, включить телевизор, влипнуть в кресло.

И отлипнуть, когда все кончится.

## Сергей Гандлевский

\* \* \*

О.Т.

Обычно мне хватает трёх ударов.  
Второй всегда по пальцу, бляха-муха,  
а первый и последний по гвоздю.

Я знаю жизнь. Теперь ему висеть  
на этой даче до скончания века,  
коробиться от сырости, желтеть  
от солнечных лучей и через год,  
просроченному, сделаться причиной  
неоднократных недоразумений,  
смешных или печальных, с водевильным  
оттенком.

Снять к чертям — и на растопку!  
Но у кого поднимется рука?

А старое приспособление для  
учёта дней себя ещё покажет  
и время уместит на острие  
мгновения.

Какой-то здешний внук,  
в летах, небритый, с сухостью во рту,  
в каком-нибудь две тысячи весёлом  
году придёт со спутницей в музей  
(для галочки, Европа, как-никак).

Я знаю жизнь: музей с похмелья — мука,  
осмотр шедевров через не могу.  
И вдруг он замечает, бляха-муха,  
охотников. Тех самых. На снегу.

Алексей Макушинский

## Город в долине

роман

### 36.

В Гейдельберге весной 1998 года проходила огромная, немецко-русско-американско-какая-угодно конференция о культах личности в 20-ом столетии, о разных культах разнообразнейшей личности, которой в этом злосчастном, как раз заканчивавшемся столетии было немало; одним из ее организаторов оказался, к немалому нашему удивлению, Петр Федоров, давний приятель Двигубского, к тому времени уже давно и, судя по всему, успешно профессорствовавший в Америке; Петр Федоров пригласил Двигубского; я же сам напросился, за свой счет, без доклада, просто чтобы повидаться с обоими, заодно и послушать собравшихся знаменитостей. Из которых всего более запомнился мне сумасшедший австралиец в спортивных штанах ядовито-зеленого цвета, замечательно интересно, хотя и с горячей кашей во рту, говоривший о стахановцах и челюскинцах, о сталинском новом человеке, насквозь стальном и с мотором вместо сердца, светоносном герое, увлекающем за собою воодушевленные массы. Была неизбежная в таких случаях умная еврейка из Риги, уехавшая в Америку в начале семидесятых, все читавшая, все знающая, напроць лишенная обаянья; был ее скромный муж, профессор из Йеля, весь в младенческих седых завитках, что-то бурчавший себе под нос на не понятном никому языке, ронявший то ручку, то программку конференции, то какую-нибудь бумажку на мраморный пол старинного гейдельбергского университета, где заседали мы «пленарно» и «секционно»; был обильно-бородатый соотечественник, филологическая легенда, в начале девяностых плавно переместившийся из города Тарту, Эстония, в город Финикс, штат Аризона, но не утративший ни пристрастия к «Беломору», ни любви к невинным советским анекдотам брежневской утробной эпохи. Была, как почти всегда бывает на конференциях, чудесная атмосфера всеобщего благодушия, свободы от житейских забот, хорошей, три раза в день, кормежки, кофейных пауз в одиннадцать утра и в пять пополудни, по мере возможности продлеваемых всеми участниками, с наслаждением уплетающими печенье и вафли, необязательных академических разговоров, игры университетского самолюбия, профессорского чванства, ассистентского подхалимства, наблюдать за которой, т.е. игрою, доставляет незаинтересованному созерцателю чистое эстетическое наслаждение. Мы все читали, в нашей туманной юности, Канта. А ведь, в сущности, это пляски на костях, шепнул мне Двигубский. «Гностические корни тоталитарных идеологий», «герой соцреалистического романа на пути от стихийности к сознательности», а каково, сказал он, засовывая программку обратно в карман, каково было моему дедушке на сорокадевятиградусном морозе дожи-

Окончание. Начало «Знамя» № 4.

даться шмона, об этом они подумали? А разве вся наша жизнь не пляска на костях? сказал я. Какое право, собственно, имеем мы тут резвиться?..

### 38.

Солнце заглядывало в окна и манило на улицу; да и как не погулять по Гейдельбергу, как не постоять на мосту через Неккар, где Гёльдерлин стоял некогда, двести? да, уже, наверное, лет двести назад, глядя в эту благословенную долину с мягкими ее очертаньями, и так же возвышались над ней и над ним гигантские, буро-красные развалины замка, и гремели так же не машины, конечно, но повозки и кареты у него за спиною, и вы, конечно, согласитесь со мною, что вот это стихотворение — Гёльдерлина о Гейдельберге — одно из прекраснейших в немецкой речи, которой мы столь многим бессрочно обязаны. Вынужден разочаровать вас, отвечал мне Двигубский, взмахивая бровями, мост этот поддельный, как почти все в вашей Германии, его взорвали в самом конце войны, затем построили заново, из новых камней, в прежнем виде, о чем вы, если еще не читали, можете прочитать на вон той табличке, вон там, а стихи прекрасные, в самом деле, мои любимые, может быть, у Гёльдерлина, которого, если уж хотите знать правду, я в общем и целом, безоговорочно и безоглядно, полюбить так и не смог, причем не только из-за его, уж простите, прощаю охотно, несносной, непрерывной серьезности, но также из-за омерзительного кровавого пафоса его патриотических стихов с этим их культом смерти за, будь оно неладно, отечество, которое призывает он, если помните, не считать погибших, ни один из них, мол, не лишний, и за которое они еще в двадцатом веке так радостно умирали, радостно убивали — кто они? — они все, поклонники очистительного огня и строители новой жизни, ну да Бог в конце концов с ними со всеми, а гейдельбергское стихотворение и в самом деле прекрасное, все восхитительно в нем, и этот мост, звенящий от людей и повозок, легко и мощно, *leicht und kräftig*, перелетающий через реку, и этот замок, конечно, нависающий над долиной, гигантский и судьбоносный, или как вы переведете это *schicksalskundige Burg*, судьбововедущий? исполненный знанья о судьбах? может быть, возвещающий судьбы? и вот эта река, уходящая в свою даль, этот поток-юноша, *Jüngling, der Strom*, грустно-радостно уходящий в свою даль, как сердце, когда оно, слишком прекрасное для самого себя, бросается в стремнины времени, чтобы любя погибнуть. Слишком все это, быть может, прекрасно для нас... *Traurigfroh wie das Herz*, сказал и повторил он, *wenn es, sich selbst zu schön, liebend unterzugehen, in die Fluten der Zeit sich wirft*. В стремнины времени, чтобы погибнуть в них... Он смотрел на этот замок, поток и долину, я смотрел, конечно же, на него. Что-то сгустилось и собралось вокруг нас, между нами, хорошо это помню. В таких случаях хочется разрядить напряжение. Вот оно, сказал я, то падение в историю, о котором когда-то давно мы говорили с вами... или не говорили... неважно. Как поживает, кстати, ваша история, ваша повесть? Еще надеется, еще дышит, сказал он. Как вы понимаете, я и тему своего доклада выбрал совсем не случайно. С докладов мы сбежали в тот день; я показал ему, у самого (не перейденного нами) моста, знаменитый ресторан «Золотая Щука», *Goldener Hecht*, где, как гласит надпись на закопченной табличке, «однажды чуть не переночевал Гёте»; известная способность Двигубского хохотать и сгибаться заставила на мгновение замереть завсегдатаев заведения вкупе с компанией очкастых японцев за дальним, деревянным столом. То есть Гёте хотел переночевать здесь, рассказывала закопченная надпись, но, увы, в гостинице не было мест; пришлось олимпийцу, как простому смертному, искать другого ночлега. Я обедал здесь с Ф.Е.Б., осенью 1994 года, когда он приезжал ко мне в гости; с Двигубским мы просто выпи-

ли кофе за одним из вынесенных на улицу, на косом тротуаре клонящихся столиков; я всякий раз захожу теперь в это место, когда оказываюсь в Гейдельберге, в память о них обоих. Небо было чистым, далеким; холмы на другом берегу Неккара лежали, омытые им, как отдыхающие какие-то чудища, зеленые и незлые. Город в долине... П.Д. заговорил, я помню, о мемуарах Федора Степуна («Бывшее и несбывшееся»), с их подробным описанием русской студенческой жизни в Гейдельберге начала века, жизни, центром которой была так называемая «читалка» в Мерцгассе (видимо — Märzgasse, «Мартовский переулок»), до которой нам следовало бы дойти, сказал он, чего мы тогда не сделали и я не сделал впоследствии, так что я даже не знаю теперь, где эта гассе, то есть этот переулок, находится, воспоминания же Степуна лежат, разумеется, у меня на столе, вот сейчас, так что мне ничего не стоит, конечно, перепечатать то, упомянутое Двигубским, место этих воспоминаний, где Степун говорит об устраиваемых читалкою благотворительных вечерах с танцами — «читалкинских балах», как он называет их, — собранные на которых деньги шли, понятное дело, «на революцию», поскольку и сама читалка овеяна была пафосом «освободительного движения». «Какая страшная мысль», пишет Степун, «что ... и мы, беспартийные организаторы благотворительных вечеров, во всем, что случилось с Россией, виноваты. Мы, конечно, хорошо знали, что выручаемые деньги поступают “в распоряжение революционных партий”, но над смыслом этих слов не задумывались. Не задумывались над ним, в конце концов, и сами партийцы; суетливо, но не без важности живя своей “идейной” жизнью — собраниями, прениями, рассылкой литературы, — они образа той революции, которую готовили, перед собою не видели. Если бы их глазам хотя бы на минуту представилась возможность того, что случилось с Россией, на наших благотворительных вечерах вряд ли могло господствовать то задушевно-обывательское веселье, которое по своему психологическому тембру мало чем отличалось от обычных провинциальных вечеринок. Так же, как в Калуге или Коломне, под жиденский оркестрик в пять человек кружились мечтательно вальсирующие пары. Под оглушительные французские возгласы так же путано выделывала свои фигуры лихая кадрили...». — А, вот вы где! сказал Петр Федоров, подсаживаясь к нашему столику. Прогуливаете? Ты сам разве не прогуливаешь? ответил Двигубский. Нет, сейчас перерыв, ответил Петр Федоров, извлекая программку конференции из-под светлого вязаного свитера с широким круглым воротом, как-то особенно ловко и лихо на нем сидевшего, на фоне наших с Двигубским европейских академических пиджаков. Еще были на нем тугие черные джинсы и тоже черные, с серыми полосами, спортивные тапочки, так называемые кроссовки. Была во всем этом некая, вполне оцененная мною и не замеченная, кажется, Двигубским, игра с университетскими нормами одежды, джинсы, но все же не голубые, кроссовки, но все-таки не вызывающе белые; щекочущее скольжение по самой грани приличного. Выглядел он, во всяком случае, в свои сорок лет замечательно; к мимошно-партийной гладкости прибавилось особенное американское спортивное радушие, светлая победительная благожелательность. Он уже был здесь сегодня утром, сообщил он, бегал по набережной. Он вообще бегаёт каждое утро, два раза в неделю ходит в спортивный зал заниматься на специальных снарядах, курить давно бросил, табачного дыма не переносит. Доклад Двигубского был замечательный, он очень доволен, вообще конференция удалась. Все материалы будут опубликованы, Павел, он надеется, пришлет ему свою статью, только, пожалуйста, поскорее, крайний срок через месяц. Не больше пятнадцати страниц, сноски в конце, транслитерация англо-американская. Нет, они ничего не будут переводить на английский, сборник будет трехязычный, русско-англо-немецкий, как теперь принято. Поговорим о дальнейших перспективах? Даль-

нейшие перспективы, как тут же выяснилось, были на тот момент у него одного, Петра Федорова. Дижонский контракт Двигубского заканчивался в июне; продолжение, на которое он рассчитывал, оказалось невозможным, хотя, рассказал он Федорову и мне, опираясь на валкий столик, его непосредственный начальник был бы рад оставить его еще на три года, но университетская администрация, ссылаясь на какие-то свои параграфы и пункты, не согласилась. Конторские крысы, сказал П.Д., везде одинаковы. Мне тоже пришлось впоследствии убедиться, как легко, без всяких последствий, имеют обыкновения заканчиваться, и во Франции, и в Германии, эти временные университетские контракты; заканчиваются — и все тут, поработал — и будет, пускай другие теперь поработают. Надо было вам, *mes amis*, с самого начала ехать в Америку, сказал Петр Федоров. Двигубский, меняя тему, заговорил снова о Степуне, которого Петр Федоров, как выяснилось, не только читал внимательнейшим образом, но даже им, как выразился он, *занимался* (университетский жаргон, к тому времени уже вызывавший у меня тошноту), разыскал даже в Гуверовском архиве какие-то его письма, впрочем — вполне бытовые, и собирался опубликовать их, или опубликовал уже, я не помню, то ли в «Вопросах философии», то ли в *Slavic Review*. А вот может ли он представить себе этих русских студентов в Гейдельберге в начале века? Конечно. Они так прекрасно описаны Степуном. Но может ли он увидеть все это, как все это выглядело, как выглядела вот эта набережная, какие были зонтики, барышни, картузы и крылатки? Петр Федоров то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял вопроса, пустился рассуждать о новом историческом журнале, им с двумя, как он выразился, коллегами недавно затеянном. Журнал выходить будет в Стэнфорде, Мюнхене и Казани; вот какие настали теперь времена. — Но, кажется, только на следующий день поднялись мы, опять вдвоем, в плотном окружении щелкающих своими фотоаппаратами японских туристов, по прорубленной в скале, крутой и короткой железной дороге (существовавшей, сообщил мне Двигубский, еще в те баснословные времена русского студенчества, которыми, сиречь временами, тоже неслучайно интересуется он) — к развалинам гейдельбергского замка, гигантского и судьбоносного, разрушенного (сообщил мне опять же Двигубский) во время так называемой войны за Пфальцское наследство, французами, в 1689, затем в 1693 году; заплатили за вход; осмотрели, со свойственной Двигубскому, иногда утомлявшей меня тщательностью, сохранившиеся, или отчасти сохранившиеся (сохранившиеся в виде руин и развалин), розово-бурые, потому что из местного красного песчаника в свое время построенные, башни, фасады и здания — дворец Рупрехта, дворец Фридриха, дворец Оттгенриха, Большую Бочку (чуть ли не самую большую винную бочку на свете), Королевский зал и Рыцарский зал, Толстую башню и Английский дворец, зиявший пустыми оконницами (все это, сказал, я помню, П.Д., восхищает нас именно потому, что лежит в развалинах; отстройте эти дворцы — и очарование исчезнет...); затем вышли снова из музейной части замка на внешнюю его террасу, постояли перед знаменитой Пороховой башней, от которой при взрыве 1693 года отломилась одна половина, оставив другую стоять как бы башней в разрезе, с обнаженными внутренностями, сводами, стенами; затем поднялись еще на одну, верхнюю террасу окружающего замок парка, где никого не было и где, сев на (совсем не русскую, из грубых и прямых досок) скамейку не вдалеке от роскошного, с синеватым отливом кедра, пересаженного сюда, конечно, из каких-нибудь экзотических стран, Двигубский вдруг объявил мне, что, если я готов его выслушать, он прочтет мне сейчас первую главу своей повести. Он так часто ее переделывал, что заучил, в конце концов, наизусть. Она, впрочем, коротенькая. Да и вся повесть будет недлинная. Как все-таки зовут героя? спросил я. Героя зовут Григорий, сказал он.

**39.**

В тихом, тонком утреннем свете увиделся ему город, весь целиком, маленький город, город в долине, его город, чужой город. «Григорий! Гриша! Ты что?» — «Сейчас. Еду». Он только накануне узнал, что они должны были занять его — город; неделю назад, может быть, начал думать он, что это возможно; и чем ближе подступала такая возможность, чем ближе сами они подступали к этой возможности, подходили и приближались к ней, наступая, тем чаще пытался он — и не мог — представить себе, как это будет и что будет там, в городе, и тем более там, в имении, где, как и в городе, он уже — сколько? — лет не бывал, где в последний раз был он — перед отправкой на фронт. Именья он не видел, не мог видеть — конечно; вон те холмы скрывали его: по ту сторону реки и долины. Он видел только город, совершенно пустынным казавшийся ему в этом тихом утреннем свете; видел станцию, рельсы, вокзал и площадь перед вокзалом, тень вокзала на площади, купола и крыши, кроны деревьев, изгиб реки и мост через реку, и дальше, на другом берегу, за и над последними крышами — поле, понемногу уходившее вверх, уже густо и жарко желтое, выступ леса, складку холмов, и огибавшую этот выступ, исчезающую в этой складке дорогу, с едва различимыми, но различимыми все-таки колеями, ту же самую дорогу, конечно, по которой, о чем так часто, пытаюсь, но не в силах представить себе, как это будет, думал он последние дни, так часто — или не так уж часто, быть может, ездил он из имения в город, в детстве и после детства, один или с кем-нибудь...; и еще дальше, и уже совсем далеко — уже призрачные, синевато-дымчатые и почти невозможные очертания тех других, над первыми плывущих холмов, которые только отсюда, наверное, и казались холмами, на самом же деле никакими холмами, разумеется, не были, но были, как он точно знал, лесом, по странному и давным-давно замеченному им свойству ландшафта не приближавшимся, но как будто все отдалявшимся, если идти к нему, например, через луг, через поле, — другим, дальним лесом, так в детстве, так и после детства манившим, всегда прохладным, еловым, сосновым, насквозь ни разу не пройденным, быть может — непроходимым. Уже спускались к городу передовые части отряда; уже промелькнули, вдруг, в просвете между кронами, первые, на Елизаветинскую, главную улицу выезжавшие, очевидным образом, всадники; он же, то приподнимаясь в стремянах, то снова опускаясь в седло, смотрел и смотрел по-прежнему на эти кроны, крыши и купола; дорогу, поле, холмы.

**40.**

Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу. Эта первая глава несостоявшейся повести лежит сейчас, действительно, предо мною, у меня на столе, переписанная его очень тонким, очень косым, с глубокими «д», глубокими «у», очень четким, затем вдруг сбивающимся в сумятицу быстрых букв, сутолоку спешащих слов, затем опять находящим свой разбег и ритм почерком, и причем переписанная им несколько раз, в разные, очевидно, эпохи жизни, и до, и после нашей гейдельбергской прогулки, как если бы он несколько (много!) раз начинал все сначала (а так оно и было, конечно), несколько раз переписывая, для разгона, с ничтожными изменениями и все более глубокими «з», летящими, улетающими от его отчаяния «в» и «б», эту первую, в конце концов наизусть заученную им главу — и каждый раз терпел поражение в попытке ее продолжить, о чем свидетельствуют, действительно, в разных рукописях, присланных им мне в 2004 году, следующие за этим неизменным началом страницы, и о чем он сам говорил мне тогда, уже тогда, в Гейдельберге, весной 1998 года. А между тем, говорил он, вставая со скамейки, он видит, так отчетливо видит ее, эту повесть,

с ее началом, финалом..., почти так же видит ее, как, он улыбнулся своей смущенной улыбкой, Григорий, герой ее, видит — город, остановившись над ним, на холме, перед спуском в долину и в действие, всю сразу и целиком, так что, казалось бы, ему надо лишь записать ее, вот и все, превратить виденье в слова, но сделать этого он, похоже, не в состоянии, сказал он, как если бы, спускаясь, вместе с героем, вниз, в долину и в действие, он всякий раз попадал не туда, куда надо, на какой-то неверный, в роковую другую сторону уводящий, в тупик заводящий путь. Любое движение оказывается движением ложным, так что, в конце концов, у него остается лишь это — даже не начало, но пред-начало, до-начало, это мгновенье, над городом, когда действие еще не началось, но уже готово начаться, еще медлит, не начинаясь, это краткое, говорил он, глядя на развалины гейдельбергского замка, который, по внешней террасе, мы обходили слева, и все-таки дрящущееся, в себе самом растянутое мгновение, с его тишиной, дорогой, высокими травами, колебанием этих трав, дальним лесом, неподвижным движением облаков. Мы дошли до конца террасы, конечно, до того места, где всегда толпятся туристы и откуда открывается замечательный, в самом деле, вид на город, лежащий внизу и кажущийся городком, совсем крошечным, на мост, где накануне стояли, воспетый Гельдерлином, на противоположные, зеленые, мягко-покатые, чистым небом омытые и охваченные холмы, долину Неккара, уходящую, расширяясь, к Мангейму. Среди туристов были русские, причем, что за границей вообще редкость, да и в самой России редкость, конечно, интеллигентные русские, лучшая, может быть, порода людей на земле, две пожилые пары, тихо переговаривавшиеся, заглядывая в путеводитель, о Людовике Четырнадцатом и войне за Пфальцское наследство. В известном смысле это была первая современная война, сказал мне Двигубский, когда они отошли. Дело было в том, видите ли, скажу вам как историк историку (каковой оборот оказался пророческим...), что, начавши борьбу за вот этот прирейнский регион, где мы с вами находимся, Людовик, красное наше солнышко, потребовал его себе под тем предлогом, что брат его, герцог Орлеанский, женат был на Лизелотте Пфальцской, дочери и сестре один вслед за другим скончавшихся пфальцских курфюрстов, здесь, в Гейдельберге, имевших свою, французами во время упомянутой войны как раз и сожженную резиденцию; Лизелотта же Пфальцская, следует вам сказать, была женщина замечательная, оставившая великолепные письма, благодаря которым мы можем теперь составить себе представление об обычаях и нравах французского двора в эпоху его расцвета, слишком, увы, напоминающего упадок. Конечно, и до этого были ужасные войны, например, совсем незадолго, Тридцатилетняя, страшнейшая из войн, как вам известно, уничтожившая просто-напросто треть всего населения Германии, и конечно, солдаты грабят, насилуют, и обычай отдавать занятые города на разграбление ландскнехтам восходит к незапамятной древности, а все-таки именно здесь впервые, может быть, применена была тактика сожженной земли, то есть сознательного, последовательного и беспощадного уничтожения всего, что можно было уничтожить, городов, крепостей, деревень, мельниц, замков, мостов. Что, в общем, довольно странно, если подумать, что французы хотели заполучить этот благословенный кусок земли; в каком виде он достался бы им? А что же, спросите вы, император? (Я и не думал этого спрашивать). Император был в Венгрии, воевал турка. Тогда как раз турок напал, в очередной раз. Вот император-то, значит, говорил Двигубский, впадая почему-то в сказовую, сказочную интонацию (из-за оборота «воевать турка», я думаю...), вот, значит, император-то, Леопольд, если память не изменяет мне, Первый, турка и воевал. А Людовик-то как раз и боялся, что император турка-то победит и ему, Людовику, покажет, где раки зимуют. И в самом деле, император-то турка энтото победил,



немецких князей собрал и пошел, значит, Людовику этих самых раков показывать. Я предложил ему написать в таком стиле «Повесть о гибели Пфальцской земли». Довольно с меня гибели земли Русской, сказал он на это. Вот вы смееетесь, сказал он, а ничего смешного тут нет. Потому как решил, значит, Людовик эту самую Пфальцскую землю пожечь и порушить, чтобы, значит, императору-то, когда он подойдет сюда со всем своим войском, неудобно было воевать с ним, Людовиком, войско-то надо кормить, а кормить его было нечем. Особенно генерал один отличился, граф де Мелак, его именем лет двести еще после этого пугали здешние матери беспокойных своих дитятей — утомонись, мол, шалун и проказник, а то граф де Мелак придет, небо в овчинку покажется. Вот бука, бука, де Мелак. Население, между прочим, вырезали целыми деревнями, городками и городишками, прямо как татары на Руси, как Едигей с Тохтамышем. А это ведь не татары, а просвещенная нация в свою классическую эпоху. А сам, между прочим, Буало, французских рифмачей суровый судья, запрещавший Расину употреблять прилагательное *misérable* вместо *infortuné* (негоже, видимо, классикам писать о жалких и убогих, годятся только несчастливые и неудачливые), предложил Французской Академии девиз дня: *Heidelberg deleta, Гейдельберг разрушен*, что и было выбито на торжественной медали, образчик которой, как и портрет кровавого графа с крошечными усиками под носом, достойными Гимmlера и Ягоды, вы можете лицезреть в местном музее, где он, Двигубский, еще, кстати, не был, но куда он намерен зайти сразу же по окончании конференции. Как вы ухитряетесь все это помнить? спросил я. Я подготовился к путешествию, ответил он, улыбаясь своей как будто внутрь обращенной улыбкой. Мы шли уже обратно по внешней террасе. Я попросил его все-таки, оставив Пфальцскую землю в покое, рассказать мне еще немного о другой повести, его повести, первую главу которой он только что мне прочитал. Теперь, когда я знаю даже имя героя... Какой он, этот Григорий? кто он и что он?

#### 41.

Двигубский, как если бы возвращение к прежней теме требовало и возвращения прежней кулисы, довольно решительно направился к той верхней террасе, к той самой скамейке, на которой только что, полчаса назад, мы сидели и где он прочитал мне на память приведенную выше первую главу своей повести. А между тем, возврата нет в прошлое, даже на полчаса назад невозможно вернуться. Что-то изменилось за эти полчаса, что-то как будто погасло. Таково, по крайней мере, было мое ощущение, помню его совершенно ясно. Он заговорил, тем не менее, еще раз, о своей повести, о Григории, герое оной, биографию которого он, по его словам, продумывал так много раз, что она, в конце концов, стала для него почти осязаемой. Григорий, по его замыслу, появился на этот не особенно белый свет в 1894, допустим, году, в имени своих родителей, которое он, П.Д., не знает как назвать, любое название (Покровское, Спасское и даже Воловьы Лужки) воняет, конечно, литературой, в скольких-то, немногих, верстах (от слова *версты* тоже хочется удавиться) от города в долине, тоже остающегося пока (так, во всех его записях, теперь я знаю это, и оставшегося) безмянным. Он был третьим, младшим ребенком в семье. Вот как? Да, был старший брат, Всеволод, была сестра, допустим — Вера, или допустим — Лиза, и был он, Григорий, герой. Как у вас, сказал я. Что? он осекся, потом засмеялся, потом, положив свою длинную руку на спинку скамейки, откинулся на эту спинку, болтая длинной ногой, перекинутой через колено. Надо же, он никогда не задумывался над этим. Да, как у нас. Впрочем, сказал он тотчас же, Григорий совсем не похож на моего младшего брата Сереженьку, великого гешефтсмахера. Вот

уж если кто на кого не похож... Зато, он опять помедлил, зато я сам похож, пожалуй, на его старшего брата, Всеволода, как... как я назвал его. Да, сказал он, этот Всеволод есть в каком-то смысле я сам, это мой заместитель... Родители? Родителей он пока не может представить себе. Отец — профессор... Как у вас, снова сказал я. Он опять засмеялся. Да, как у нас. Вообще же, будучи все-таки, с позволения сказать, историком, он, Двигубский, привык опираться на факты. Вот, возьмем, к примеру, биографию Романа Гуля, «Ледяной поход» которого я некогда дал ему почитать, за что он до сих пор мне, разумеется, благодарен. «Ледяной поход» и остается, конечно, одной из лучших книг о Гражданской войне, хотя и другие сочинения Гуля представляют немалый интерес, и сами по себе, и для его занятий в особенности, «Киевская эпопея», к примеру, не книга, собственно, но скорее статья, опубликованная во втором томе все того же «Архива русской революции», без которого, то есть «Архива», о чем он уже не раз говорил мне, занимаясь сей страшной эпохой, обойтись вообще невозможно, так что он очень мне советует, возвратившись в Регенсбург, взять в библиотеке или выписать, как говорили в России, по межбиблиотечному абонементу хотя бы несколько томов этого издания, если, конечно, эта эпоха хоть сколько-нибудь интересует меня. Я признался, что меня интересует его повесть, прежде всего. Гуль, сказал он на это, родился в 1896 году. Детство его прошло в Пензе и Пензенской губернии, в 1914 году он поступил на юридический факультет Московского университета, где правом занимался очень мало, а философией очень много; учителем его был, между прочим, Иван Ильин. Летом 1916 года был мобилизован, прошел четырехмесячную — всего четырехмесячную! — «школу прапорщиков», после чего был произведен в офицеры и зачислен в 140-й запасный пехотный полк, стоявший все в той же Пензе, почему он в него, конечно, как сам он пишет, и попросился. Весной 1917 года отправлен был на Юго-Западный фронт, каковой уже начал разваливаться, после октябрьского переворота развалился окончательно. Пробравшись с большими опасностями обратно в Пензу, получил письмо от бывшего своего командира с предложением присоединиться к Добровольческой армии, вместе с братом уехал в Новочеркасск, где в оную армию в январе 1918 года и записался, проделав с ней, в феврале и марте, знаменитый «Ледяной поход». Из армии он осенью 18-го года вышел; дальнейшее для нас неинтересно. А вот, например, биография Сергея Ивановича Мамонтова, однофамильца знаменитого генерала и автора тоже вполне замечательных воспоминаний о Гражданской войне «Походы и кони» (УМСА-Press, 1981), которые он, Двигубский, тоже весьма и весьма настоятельно советует мне почитать. Родившись в 1898 году, Мамонтов в феврале семнадцатого поступил в петербургское Училище конной артиллерии, успел еще побывать на все том же, разваливающемся, Юго-Западном фронте, бежал оттуда после октябрьского переворота в Москву, из Москвы — и тоже с братом, как это ни удивительно — пробрался с большими приключениями к добровольцам, записался в армию в Екатеринодаре, прошел всю войну, вплоть до врангелевской эвакуации из Крыма. Замечательно, что оба они, и Гуль, и Мамонтов, прожили очень долго, Гуль умер в 1986 году в Нью-Йорке, Мамонтов в 1987 году в Каннах, где, между прочим, он, Двигубский, в прошлом году, наконец, побывал, и нет, кажется ему теперь, ничего вообще прекраснее этого юга Франции, этого моря, этих пиний и пальм... Ну, это к слову. Они провели там со Светой и Олей две недели, в пансионе под Грассом. Разыскал ли он виллу Бунина? Разумеется. Она была заперта... Есть, короче, нечто типическое в биографиях, так скажем, молодых дворян, родившихся в конце века, предопределенное обстоятельствами. Впрочем, оба они, и Гуль, и Мамонтов, чуть-чуть молоды для меня. Григория, моего героя, я сделаю на пару лет старше — он должен еще успеть поучиться в Герма-

нии, попутешествовать по Европе. Предположим, следовательно, что родился он в 1894 году; в 1912-м, в восемнадцать, отправился учиться вот сюда, в Гейдельберг, или, допустим, во Фрейбург, где кафедре философии занимал тогда полузабытый теперь Генрих Риккерт и Мартин Хайдеггер (фамилия, которую он, Григорий, написал бы, конечно, как Гейдеггер) дописывал свою диссертацию; по окончании летнего семестра 1913 года совершил, вместе со своим старшим братом Всеволодом, приехавшим к нему из Парижа, большое путешествие по Франции и Италии; летом 1914-го вернулся, понятное дело, в Россию, продолжил образование в Петербургском университете; в 1916-м отправлен был в школу прапорщиков, в 1917 году на фронт; бежал оттуда; бежал на юг к добровольцам. Не совсем понятно, почему его не забрали в армию раньше, в 1915 году, например, но, в конце концов, большого значения это не имеет. К моменту действия и гибели ему, следовательно, двадцать пять лет. Лучше бы двадцать три, но пусть будет двадцать пять. Не в том дело. А дело... Тут он вдруг взмахнул рукою и вскрикнул. Что случилось? Он принялся рассматривать, то клонясь к нему, то отстраняясь, то, наоборот, поднося его к глазам, то отводя руку вдаль, безмянный палец правой руки; затем показал его мне; рассмеялся. Как-то так неудачно провел он, выяснилось, рукой по спинке скамейки, на которой мы с ним сидели, этой совсем, повторюсь, не русской, деревянной, грубо сколоченной и шершавой скамейки, так неудачно провел по ней, что длинная, черная, отчетливо видимая под кожей заноза не только, под кожу, вонзилась, но отломился и внешний кончик ее, за который можно было бы потянуть пинцетом или зубами, что он, конечно, и попытался сделать, без всякого результата. Какая глупость, сказал он смеясь. Пинцета у нас с собой, разумеется, не было, не было даже иголки. Был только швейцарский складной ножик (с красной рукояткой и крестом на ней) у меня в рюкзаке. Все-таки попробуйте, сказал он, протягивая мне палец. Я никогда не видел его рук так близко и ясно. Палец был, действительно, очень длинный, чуть-чуть сужавшийся к продолговатому ногтю, с черными волосками на самой дальней, у основания, фаланге, с такими же черными и густыми на средней, на внешней, разумеется, стороне; я чувствовал их своей левой рукой, сжимая пальцами первую, самую ближнюю, тут же, конечно, покрасневшую и налившуюся кровью фалангу, правой, соответственно, рукою, коротким лезвием швейцарского ножика ковыряя, не выковыривая неподатливую занозу. Подцепить ее у меня не получалось, а резать по живому я боялся. На высокой террасе, где по-прежнему мы сидели и где до сих пор никого не было, появились сначала две невнятные американки в кроссовках, тут же, конечно, уставившиеся на нас. Я спросил, нет ли у них иголки, а needle; иголки не было. Затем прошли молодой отец с маленьким сыном, одинаково белобрысые; вот, сказал отец, обращаясь по видимости к сыну, по сути к нам, только приедешь в Гейдельберг и сразу попадаешь на операцию, kaum kommt man nach Heidelberg und schon wird operiert; иголки у него тоже не нашлось, tut mir leid. Жить, думаю я теперь, можно только в том случае, если все когда-нибудь возвратится, восстановится и воскреснет, и этот весенний день в Гейдельберге, в 1998 году, и это высокое небо над взорванной башнею, и этот кусочек уже израненной кожи над чернеющей занозой, эта капля крови, вытекающая из ранки, эти руки, сожженные затем в крематории, эта улыбка боли на сожженном лице. Пойдемте в город, сказал я, раздобудем иголку. Какая глупость, снова сказал Двигубский. А ведь это, конечно, знак, сказал он, впрочем — смеясь. Это знак, это значит, что не надо мне было говорить с вами, что ничего у меня не получится. Я предложил ему не болтать чепухи. Чепуха и глупость, сказал он, конечно. Я сам смеюсь, как вы видите; что мне еще остается?

## 42.

Первой, как *de jure* все-таки женщина, принялась за его палец еврейка из Риги, затем ее муж в кудряшках, затем филологическая легенда, повсюду тыкавшаяся своей бородой, затем, когда палец уже начал синеть, нарывать, Петр Федоров; австралийцу в спортивном костюме Двигубский все-таки не позволил *тоже попробовать*. За ужином только и было разговоров, что о занозе Двигубского. Хозяин гостиницы, где все мы жили, симпатяга с фиолетовым носом, заявил, что скоро вернется его жена, что она когда-то работала в больнице и что уж она-то с занозой справится как пить дать, в мгновение ока. Жена не вернулась ни вечером, ни наутро. Утром палец Двигубского являл собою тугую толстую штуку, согнуть которую он был уже не способен; хозяин гостиницы дал нам адрес дежурного госпиталя. Я повез его туда на машине; выехав из долины Неккара, оказались мы в дальней, из двухэтажных домиков составленной части Гейдельберга, где я ни разу не был ни до того, ни с тех пор. Госпиталь был как госпиталь, весь стеклянный, новый и пластиковый; в приемном покое ждать пришлось около получаса, под недружелюбными взглядами медсестры-турчанки, полустеклянной-полупластиковой перегородкой отделенной от больных и увечных, в обществе грустного дядьки с перевязанною ногою и мучительно некрасивой мамы с белокурым хорошеньким мальчиком, вновь и вновь засыпавшим, падая курчавой головкой то на плечо, то на грудь ей, то, как заметил Двигубский, прямо уже на породившее его лоно, что, разумеется, ни в малейшей мере не мешало мамаше со звериной сосредоточенностью листать схваченный ею с низенького столика глянцевоый, со следами чужих пальцев и с фотографиями очередной свадьбы очередной принцессы на обложке, журнал. Нет, не в том дело, сказал Двигубский так неожиданно, что я не сразу и понял, о чем он. Дело не в этих деталях биографии, дело в их невозможности, сказал он, начиная, значит, с того места, с той мысли, на котором и на которой прервала его все еще и по-прежнему торчавшая у него в пальце заноза. Всю ночь, значит, весь вечер, всю ночь и все утро думал об одном и том же, одном и том же. Он спросил меня, поглядывая на свой раздувшийся палец, помню ли я мандельштамовскую статью 1922 года с характерным названием «Конец романа»; я помнил. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз», пишет в ней Мандельштам, «и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения». Выброшены из своих биографий, повторил он, цитируя, конечно, по памяти; а мой Григорий без биографии быть не может... Я спросил его, в свою очередь, читал ли он «На мраморных утесах» Эрнста Юнгера; он, как выяснилось, не читал. Я сказал ему, что я бы на его месте, а я ведь тоже был когда-то писателем, вообще отказался бы от истории... вы, Макушинский, всегда были против истории, вставил он, улыбнувшись... я ответил, что нет, ничего подобного, но что я, во всяком случае, отказался бы от исторической конкретики, от 19-го года и юга России, перенес бы действие в настоящее, или в вечное, смешал бы все места и эпохи. Тогда земские управы не были бы страшны мне, и поручиков бы я не боялся... Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья, сказал он, продолжая цитаты из О.М. Да возьмите хоть мой Эйхштетт, сказал я, чем не город в долине? Приезжайте и посмотрите... Есть несколько романов двадцатого века, сказал я еще, я помню, идущих этим путем, как бы взрывающих поверхность явлений, пытающихся приблизиться к их сущности, к их платоновской, если угодно, идее, сказал я. Я назвал, я помню, «Приглашение на казнь» Набокова, затем чудесный роман «Пустыня Тартари» Дино Буцатти, еще что-то, кажется, *Le Rivage des Syrtes*, Жюльена Гракса; все они, при всех различиях между ними,

рассказывают некую историю, отчасти похожую на вашу, сказал я, историю некоей гибели и некоего крушения, столкновения одинокого человека с бесчеловечными силами времени. Кафка тоже сюда относится, как бы мы сами ни отнеслись к нему, сказал я. Но прежде всего и в первую очередь я посоветовал ему прочесть, действительно, Эрнста Юнгера, автора, которым я довольно сильно увлекался в ту пору, который, странно подумать, умер всего за два или три месяца до нашего разговора, в связи с чем по немецкому телевидению вновь и вновь показывали интервью с ним и фильмы о нем, как показывали их и три года тому назад, когда ему, пережившему две мировые войны, исполнилось сто лет, целый век, — интервью, во время которых этот почти столетний, столетний, столдвухлетний старик с шапкой седых, совсем не поредевших волос над живым и ясным лицом, мирно покуривая, рассказывал о своих приключениях, о занятиях энтомологией, об опытах с ЛСД. «Какое было Ваше самое тяжелое впечатление от Первой мировой войны?» Предполагаемый ответ так ясно написан был на лице журналиста, что Юнгер не сдержал усмешки, мальчишеской усмешки, промелькнувшей, погасшей, на его собственном, сто-и-сколько-то-летнем лице. Нет, голубчик, говорила эта усмешка, никаких человеколюбивых трюизмов на тему о том, что убивать вообще нехорошо и война дело богопротивное, вы от меня не дождетесь. «Моим самым тяжелым впечатлением», заявил он, «было, конечно, то обстоятельство, что мы эту войну проиграли». «А что, собственно», продолжая усмехаться, «хотите вы услышать от старого солдата...». Смесь восхищения с возмущением охватила одного телезрителя. Война, на которой, по самым скромным подсчетам, погибло девять миллионов человек (каждый со своей судьбой и мечтой), эта самая страшная и уж, во всяком случае, самая бессмысленная война в истории, необъяснимо-бессмысленная, от скуки, собственно, от пресыщения миром и процветанием, от жажды приключений и возвышенных, черт бы побрал их, переживаний затеянная война — война эта, видите ли, тем нехороша была, что — «мы проиграли ее». Не проиграли бы — никаких бы и не было претензий к этой войне. А все же было в этом заявлении «старого солдата», этого неисправимого вояки и авантюриста, к тому времени давно, конечно, покончившего со своими авантюрами, да, собственно, уже Второй мировой войной излеченного, в общем, от всякой романтизации насилия, все-таки было в этом и нечто, вопреки моим же собственным убеждениям, меня восхитившее, некая суверенность, некая, если угодно, спортивно-аристократическая небрежность (так боксер мог сказать бы, что — отличный, знаете ли, был бой, все тридцать раундов — чистое наслаждение, жаль, противник мой оказался сильнее...), та непереводаемая французская *désinvolture*, испанская *desenvoltura*, о которой любил говорить он сам и в которой внешняя непринужденность есть, в конце концов, лишь знак и символ внутренней, чуть-чуть, но лишь совсем чуть-чуть, высокомерной свободы, все то, короче, что и делает столь привлекательными его тексты, в частности и прежде всего дневниковые, с их отстраненностью, с их вновь и вновь, самими фразами, самим ритмом достигаемой, занимаемой позицией созерцателя, наблюдателя, почти непричастного к той жизни, что разыгрывается перед ним, у него на глазах, внимательного, холодноватого, согреваемого, иногда, состраданием, почти никогда не позволяющего себе сострадание это показать, проявить. Короче, сказал я, почитайте, Двигубский, Эрнста Юнгера, почитайте, прежде всего, «На мраморных утесах», *Auf den Marmorklippen*, эту, сказал я, временами невыносимо-глубокомысленную, несносно-высокопарную, но все-таки потрясающую повесть, сказал я, в которой ужас надвигающейся, надвинувшейся на мир безудержной власти передан в странных, отрешенных и призрачных, от всего временного и случайного как будто освободившихся, и в то же время телесных, земных, звериных, змеиных,

кровавых, осязаемых образах, и в которой, помимо всего прочего, всегда восхищал меня, и, я уверен, восхитит вас, топонимический блеск, сверканье имен, перламутровая игра фантастических, но все же к чему-то действительно бывшему, в глубь истории отсылающих и уводящих названий — мест и стран, событий и войн — Альта Плана и Большая Марина, Бургундия и Кампанья, Прованс и Родос, Мавритания и Таврида... Женщина, отложив, наконец, журнал, сняв голову своего мальчика с породившего его лона, уставилась с изумлением на нас, как если бы отчасти знакомые ей слова и названия, невольно расслышанные ею в потоке нашего тарабарского разговора, пробудили ее от привычной бездумности; Двигубский, заметив это, приготовился захохотать, но сдержался. Слоны и тигры, шепнул он, тоже иногда говорят человеческими словами. Затем, переменяв интонацию, закинув, по своей привычке, ногу за ногу и обхватив узкими руками острое, как угол отраженья, колено, прикрывая левой рукой раздувшийся палец правой, сказал, что — подумает; и в самом деле, задумался; и думал уже до тех пор, покуда его не позвали в смотровую, куда, поскольку он не уверен был, что справится с бытовым и медицинским немецким, я прошел вместе с ним. Врач был молодой и очень важный. Уложенный на операционный стол Двигубский получил сперва два укола в основание пальца, отчего этот палец еще больше раздулся, занемел, затвердел. Когда доктор взялся за скальпель, я стал смотреть в окно, где над высокими, нежно-зелеными кронами окружавших больницу кленов проплывали, с дымчато-серым исподом, сияющие по краям облака. Почему-то я подумал, я помню, что молодость наша давно закончилась, ничего от нее не осталось. Знаменитая заноза была извлечена, наконец; ловкая маленькая сестричка, ассистировавшая надменному медику, с привычной быстротой наложила повязку, несколько раз обмотав бинт вокруг больного и безымянного, ухватив петлю большой палец, ни в чем не повинный, и закрепив всю конструкцию у основания ладони, так что правая рука П.Д. оказалась уже полностью выведенной из строя; врач между тем принялся за сочинение отчета, который, как он выразился, пациент, *der Patient*, должен был передать своему домашнему доктору, *dem Hausarzt*, даже если этот *Hausarzt* живет в Париже и по-немецки не понимает. Не получив отчета, мы, во всяком случае, покинуть больницу не можем. Что же, он нас силой удержит? спросил Двигубский, вставая с операционного стола. Мы все-таки дождались конца сочинительства и не пожалели об этом. Развернув в машине врученное Двигубскому послание, прочитали мы, первым делом, «Диагноз», каковой гласил: «Постороннее тело в 4-м пальце справа», затем «Анамнез», сообщавший, что «вышепоименованный пациент занозил палец вчера на деревянной скамейке; попытка удаления занозы собственными силами пациента успеха не имела», далее «Заключение»: «4-й палец справа, окончание, повреждение 2 мм, покраснение, опухоль, сухожилие не задето, прививка от столбняка отсутствует, болей в кости нет». Наконец, «Лечение»: «Обследование, консультация, дезинфекция, удаление постороннего тела, стерильная повязка. Рекомендации: щадящий режим вплоть до заживания раны, проверка состояния раны у домашнего врача, при необходимости — аналгезия (не знаю до сих пор, что это), при наличии жалоб или осложнений — повторное посещение больницы». Известная способность П.Д. сгибаться и хохотать была с такой наглядностью продемонстрирована им в машине, что я попросил его, наконец, умерить свой пыл, иначе мы не доедем, но он еще дохохатывал, когда мы подъезжали к гостинице. А вы говорите, плохой знак, сказал я. Все будет хорошо, Павел, повесть свою вы напишете, и новую работу найдете, и вообще мы еще молоды с вами, еще много будет и прекрасного, и веселого в жизни. Не ожидал от вас трюизмов, ответил он, кого-то как будто цитируя. Позвольте, сказал я, переписать документик. Дарю вам его, сказал он.

## 51.

Его работа в Дижоне закончилась; контракт продлен не был; попытки устроиться в другом университете не имели успеха; какие-то велись переговоры; какие-то были полу-обещания, полу-проекты; обещания, не сдерживаемые, проекты, на которые денег в конце концов все же не находилось; пока суть да дело, перебивался он в Париже уроками, даже, кажется, уроками русского языка, да еще почасовым, нищенским преподаванием на каких-то общеобразовательных курсах, где любознательным, хорошо завитым французским пенсионеркам рассказывал, как смеясь потом рассказывал мне, что Россия, знаете ли, это такая большая страна на востоке, в ней очень холодно и по улицам гуляют белые медведи, а русские женщины все, как одна, красавицы, а мужчины все пьяницы и шахматисты, причем одновременно, ход конем — стакан водки, а запивают квасом, к, в, а, с, диктую по буквам. Василий Яновский сообщает в своих, впрочем — сомнительных, мемуарах («Поля Елисейские»), что Лев Шестов, читая в Институте восточных языков лекции каким-то серым старушкам с постными лицами, никогда не подымал глаз от рукописи, а на вопрос почему, отвечал, что не хочет видеть лиц слушателей... Все это было не так уж страшно, в конце концов; вокруг был все же Париж, с его блаженным и мучительным напряжением жизни, ускорением мыслей, обострением чувств, яркостью, едва ли не яростью, впечатлений; в Париже были друзья, пусть не самые близкие; были родители, тогда еще живые, приезжавшие в гости; была любимая питерская тетка, тогда еще тоже живая, гостившая иногда подолгу; и зарабатывали они вдвоем со Светой, к тому времени сдавшей свой медицинский экзамен, что не сделало ее работу легче, но повысило жалование, достаточно, чтобы содержать и себя, и Олю, стремившуюся, понятное дело, не отставать от лицейских подруг, избалованных дочек благополучных буржуазных родителей, с ядовитым вниманием, по-французски поджимая губки, следивших за тем, кто во что одет, с каким ярлычком на кофточке и на джинсах; могли даже позволить себе поехать в скромный отпуск, в Италию, например, где мы были вместе в августе и сентябре 2001 года, или, еще раньше, весной 2000 года, в отпуск зимний, лыжный, горный, австрийский, куда, как я понял, особенно рвалась Оля, в подражание, опять-таки, лицейским подругам, по возвращении с каникул так радостно и ревниво щебетавшим о том, кто где был и что видел, и откуда Двигубский, совершенно равнодушный, конечно, к лыжам, спорту, зимнему загару, обжигающему глинтвейну на альпийском морозце и вечерним танцам в поддельном шале, сбежал на один день, чтобы встретиться со мной в Мюнхене, куда я сам так мечтал и все никак не мог переехать. Для меня 2000 год был годом дзен-буддизма, единственной за всю мою жизнь и, конечно, неудачной попыткой, распростившись с литературой, пойти совсем другим, религиозным путем, тем самым другим путем, о котором мы говорили когда-то, давным-давно, в прошлой жизни, с моим исчезнувшим из этой жизни приятелем Тихоном П., как о единственной, нам обоим понятной альтернативе. Двигубского я встретил на мюнхенском вокзале вместе с Элизабет, весьма решительно, я помню, потребовавшей, чтобы я взял ее с собой, я-де никогда не беру ее на встречи с моими русскими таинственными знакомыми; так продолжаться не может. Кубинский кризис, говорил Хрущев, разрешен был с помощью компромисса (с ударением на о). Компромисс сводился к тому, что встретив Двигубского на вокзале и вместе с ним пообедав, мы на несколько часов расстаемся, она встречается со своей школьной подругой, переехавшей из Регенсбурга в Мюнхен, а я могу оправляться с моим русско-французским другом куда нам будет угодно, хоть в музей, хоть гулять. Русско-французский друг, когда снял вязаную, довольно дурацкую, как бы горнолыжную, шапочку с оле-

нем на лбу, оказался безудержно полысевшим за те два года, что я его не видал; рудинская шевелюра исчезла, оставив на память две длинные русые пряди, которыми он пытался, безуспешно и трогательно, прикрыть матовую, с неожиданными родинками, лысину; голова его, странным образом, казалась теперь не меньше, но больше, чем прежде, череп явил миру свою Сократову крутизну; прежними, юношескими остались брови, взлетающие над его собственным, в глазах отраженным морем. Было, как всегда бывает после долгого перерыва, трудно найти верный тон, вернуть верный тон; была, к тому же, Элизабет, с которой ему, П.Д., говорить уж совсем было не о чем; а говорить приходилось по-немецки; всем было скучно. Он был печален, я злился и нервничал. Мы зашли, я помню, в тот, впрочем, как почти все немецкие рестораны, грубый, шумный, невкусный, пережаренным маслом воняющий ресторан, где Тютчев обедал, якобы, с Гейне; долго ждали измученную подавальщицу в баварском наряде; еще дольше ждали, пока нам принесут по венскому шницелю с отвратительной прогорклой картошкой и, якобы, салатом, состоящим, как не почти, но все без исключения немецкие салаты, из уксуса и замаринованной в уксусе же капусты; затем уныло говорили о достоинствах французской кухни; затем о кухне китайской; о входящей в моду японской; затем вышли, наконец, в сверкающий ранне-весенний день, оставив Гейне и Тютчева говорить о чем-нибудь более интересном. Тютчев, кажется, о немецкой еде не высказывался, зато задорный Языков утверждал в коротком стихотворении 1843 года, озаглавленном почему-то «Элегия» (а в самом деле, тема не радостная), что немцу все равно, что есть, лишь бы недорого, и что он даже рад есть всякую дрянь, поскольку «с нее же он еще и дрищет». На Мариенплац была, как обычно, толкающаяся туристическая толпа, у самой ратуши — робкий пикет в защиту то ли иранских диссидентов, то ли тибетских лам; по Театинерштрассе дошли мы до Одеонсплатц, до того места у Галереи Полководцев, где в 1923 году остановлен был гитлеровский «марш на Берлин», до бывшей резиденции баварских королей с ее четырьмя львами, каждый из которых держит в лапах щит с латинской надписью и еще одной львиной мордой внизу, своим собственным как бы портретом, каковы миниатюрные морды принято, проходя мимо, гладить рукой по тупым полированным носам — счастье, если верить местной легенде, можно обрести вот таким простым способом. Ясно ведь, что никакого другого способа нет. Двигубский честно провел рукой по всем четырем носам, справа и слева от арок, ведущих во внутренние дворы, после чего принялся перевязывать, перекручивать свой по-прежнему длинный, как в молодости, два, если не три раза вокруг шеи обмотанный шарф. Я был очень счастлив в Мюнхене те два с половиной, почти три года (с июня 2007 по апрель 2010), которые мне отпустила не очень щедрая, прямо скажем, судьба, весной этого 2010 года вновь забросившая меня в университетское захолустье (где я и сижу сейчас, думая, конечно, о том, что эта моя счастливая мюнхенская эпоха была уже без него, после него...). С Элизабет на Одеонсплатц, наконец, мы расстались; примерно через год я вообще с ней расстался. Мне хотелось, я помню, рассказать ему о моих дзенских опытах, о неделе, незадолго до нашей встречи проведенной мною в буддистском монастыре в Нижней Баварии, в глухой местности, на краю темного леса, о боли в ногах и чувстве присутствия в настоящем, вот здесь, вот сейчас, достигавшем такой остроты и отчетливости, какой своими, только своими силами я добиться никогда не мог и до сих пор не могу, о мгновенном выходе из мира стремлений и страхов в мир свободы, покоя и сострадания, о невозможности удержаться в этом мире, остаться в нем навсегда; мы уже вошли, я помню, в Хофгартен, дворцовый сад, с его несложным лабиринтом низких изгородей и заснеженных клумб; вдруг, не знаю уж, какому наитию повинуюсь, я предложил ему сперва выпить что-ни-



будь, забить мерзкий вкус шницеля, в известном всем мюнхенцам кафе Annast, одной стороной выходящем в Хофгартен, другой, под углом, на площадь, кафе, мне потому еще памятно, что я чуть не два часа просидел в нем, много лет назад, в мой первый приезд в Мюнхен в 1988 году, с Марией, говоря с ней, вернее, слушая ее, говорившую о Готфриде Бенне, мне в ту пору еще почти не известном. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage "Wozu?"... В кафе этом как всегда было тесно и душно; по узкой лестнице мы поднялись на второй этаж; тот столик у низенького окна, с двумя приставленными к нему глубокими креслами и с видом на голые ветки парка, где я сидел когда-то с Марией, был, по счастью, свободен. В 2000 году в Баварии еще можно было курить в кафе; я, впрочем, к тому времени курить уже бросил; Двигубский никогда настоящим курильщиком не был; курил, в другом темном углу, одну сигарету за другой, огромный, темный, неузнаваемый, в синем блейзере с золотыми пуговицами, нагло и пристально смотревший на нас господин. Из окна, на красном и влажном гравии парка, видны были уже вынесенные наружу мокрые белые столики, складные, хотя и не зеленые, Люксембургский парк напоминавшие стулья (слово «раскоряка» выплыло и выплывает вновь из забвения), на которых и за которыми никто еще не сидел, разумеется; ломаные голые ветки подрагивали в белесом неприязненном небе; и это тоже, думал я свои дзенские мысли, все это тоже, конечно, лишь какое-то мгновение моей жизни, сколько их было уже, сколько будет, но единственное мгновение, как все они, одно из единственных, вот именно и только это, с этими ветками в парке, этим грохотом посуды и погудкою голосов, справа, слева, этими пирогами, пронесенными кельнером на подносе, яблочным пирогом и творожным, малиновым тортом и еще каким-то, таким с виду кремовым, шоколадно-приторным, что, уже глядя на него, чувствуешь, как тошнота поднимается по пищеводу, и делаешь поскорее глоток принесенной тебе вместе с кофе воды, в пузатом стаканчике, и видишь этот стаканчик, и свою руку, свои пальцы, отпечатки их на стекле, оставшиеся с наружной стороны, но зримые с внутренней, и поднимаешь голову, видишь, наискось, через два столика от твоего, двух блондинок, одна сидит несоблазнительной спиной к тебе, другая, вполоборота и чуть-чуть похожая на Марию, отвечая на твой взгляд, отводя свой, краснеет, нет, розовеет, каким-то малиновым, нет, яблочным, творожным, пирожным, снизу вверх, от шеи к щекам поднимающимся румянцем, и только воробьи садятся на раскоряки, на мокрые столики за окном, подпрыгивают, склоняются, пьют воду из мелких луж на столешницах, подпрыгивают опять, улетают. «А не хочешь ли, Алексей Макушинский, пересесть за мой столик?» — сказал из своего угла, поверх других столиков, голосов, голов и блондинок, огромный, в синем блейзере, господин, оказавшийся совершенно забытым к тому времени Виком, товарищем моего юношеского разврата.

## 52.

Это было так неожиданно, что мы оба, Двигубский и я, покорно встав, со своими чашками и стаканчиками в руках, пошли в его сторону. Огромный, толстый, в пять раз толще себя самого, тогдашнего, бесследно пропавшего, раза в два, наверное, толще, чем был его нерукопожатный отец; толстенный, огромнейший, с беззастенчивым брюхом, нависшим, как грозовая туча нависает над садом и озером, над хрупким столиком, от ужаса сжавшимся, с двумя, нет, тремя подбородками. Что, не узнаешь? Вот подлец... От миндальных глаз осталось одно бесстыдство; ресницы, по дороге из прошлого, выпали. Густой брюнет, восточно-волосатого типа. Хотя и с залысинами. Золотой браслет на заросшем запястье. Золотой же перстень с печаткой, буква «В» с завитками. C'est le comble,

сà, сказал бы Флобер. Всюду золото: запонки, зажигалка. Пачка Dunhill'a с золотой каемкой, сигарета с золотым же ободком возле фильтра. Костюм от всех Armani одновременно. Да, брат, меняет нас жизнь, объявил Вик, оглядывая меня, в свою очередь. Закурил, запыхтел. Тут же, басом, расхохотался. Меняет, сволочь такая. А это кто? спросил он, тыкая волосатым пальцем в Двигубского. Двигубский, в свою очередь, во все глаза смотрел на него, с каким-то, показалось мне, затаенным весельем, изумленьем, почти, пожалуй, восторгом. Встречались? переспросил Вик. Когда это мы встречались? На улице Горького, в перестройку? Чепуха, все вы врете. Тебе как зовут? Двигубский? Павел? Не знаю такого. Ну что, он повернулся снова ко мне, кресло, в ужасе, закрипело под ним, пойдём в бордель сегодня? Вот так, без всякого перехода. Ты что, к блядям не ходишь? Не ври. Не стойт, что ли? снова расхохотался при этом, ухая голосом. Блондинки смотрели на него уже обе, и похожая на Марию, и другая, сперва оглянувшаяся, затем развернувшая стул. Чтобы лучше видеть. Еще бы. Что, не стойт? Я вспомнил, конечно, историю про *вашего лысого*; юношеские предания. Да, теперь уж не то, брат, что раньше. Стареем, толстеем... Что? Гондурас? С Гондурасом покончено, говно страна оказалась. Гондурас-пидарас. А ты что? В университете? Диссертацию написал? И роман написал? Издал? Хвалю. А что я? Что — я, вам, ребята, знать не положено. Тут он вдруг как будто задумался, выпуская дым из маленького, между его толстых щек, толстых губ потерявшегося рта, пустыми, стеклянными, остановившимися глазами глядя в пустоту, в пространство, видимо, таинственных своих комбинаций. снова очнулся. Закажи мне кофе, сказал он, коньяку, коньяк какой у них тут, арманьяк, и кусок вон того пирога, как вон у той тетки. Вон того шоколадного, с кремом. Себе, я помню, я спросил стакан грейпфрутового сока; Двигубский, кажется, не взял ничего. Грейпфрутового сока! закричал Вик. Ты что, на диете? Grapefruitsaft, \*б твою мать. Ты какой-то вообще скучный, какой-то хер профессор, честное слово. Я не профессор, не на диете, и я уже пил кофе, сказал я. Кроме того, я не интересуюсь борделями и, как ты изволишь выражаться, блядьми. Мой друг, смею думать, не интересуется ими тоже. Зато мне очень все-таки интересно узнать, что вообще из тебя стало. Чем ты вообще занимаешься, чем... Вик, глядя прямо на меня вполне вдруг осмысленными, даже, пожалуй, умными и совершенно безжалостными глазами, повторил, что лучше мне этого не знать. Нет, лучше не знать. Затем опять расплылся в шоколадно-кремовой, утонувшей в его подбородках улыбке. Затем опять задумался, опять остекленевшими глазами уставился в пустоту. У меня к тебе дело, сказал он, наконец, переходя на заговорщицкий шепот. У тебя — ко мне? К тебе, оборвал он, к тебе, мудаку. При этом можно говорить? он опять кивнул на Двигубского. Можно, можно... Ничего, сказал Вик, мы и его приспособим. Вы оба такие порядочные, добавил он, с презрением нас обоих оглядывая. А мне порядочных-то и надо. Порядочных людей нет, одни бандиты вокруг... Это мне вас Бог послал, сказал он, возводя очи горе. Двигубский, я видел, еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Коротче, переходя снова на шепот и обращаясь ко мне одному, говорил Вик, покупаешь завтра портфель, не перебивай, мать твою, сейчас все поймешь. Тебе на улице покажут какой портфель. Здесь мои люди, они покажут, такой простой, черный, продается на Мариенплатц в Кауфхофе, понятно? Понятно-то понятно, но что дальше? сказал я. Ты не лыбься, а слушай. С этим портфелем садишься в метро, тебе завтра скажут, во сколько и на какой станции. Портфель ставишь рядом с собой. После чего, сказал я, на соседнее место садится человек в плаще и шляпе, ставит рядом такой же портфель... Человек будет в джинсах и кожаной куртке, придурок. Куртка с серебряными застежками, такими вроде пояса. Портфелями вы меняетесь. Через два дня, не лыбься, мудила, портфель у тебя

заберут. Тыща баксов. Что? Тыща баксов. Сразу, в руки, наличными. Пройдет удачно, через месяц повторим. А что в портфеле? спросил Двигубский. Обогащенный уран? Вик опять уставился на него; в глазах его, как некогда, проскользнуло безумие. Что в портфеле, тебе знать не нужно. И тебе не нужно, сказал он, поворачиваясь ко мне. Откроешь — все, каюк тебе, дорогуша. Волосатыми пальцами показал этот каюк, сжимающий горло. Отхлебнул коньяку. Крошечной, в его пальцах прямо какой-то жалобной вилочкой подцепив огромный кусок шоколадно-кремовой гадости, отправил ее в рот, увеличивая число подбородков. Откинулся на взмолившемся кресле. Наступила пауза, довольно долго длившаяся, я помню. Что, не хочешь? страшным шепотом проговорил, наконец, Вик. Не хочешь?! тут же и закричал он, подаваясь снова вперед. Не кричи, на нас все уже смотрят. Е\*ал я их в селезенку. Возвращаясь к пыхтящему шепоту. Тыща баксов, сразу, наличными. Это же твой шанс. Твой шанс в жизни, олигофрен. Что ты заработаешь своими диссертациями? произнес он, намеренно шепелявя, растягивая это *дис-сер-та-циями*, с презрительным сожалением глядя на мой, я помню, тогдашний твидовый пиджак, академические вельветовые штаны. Ты же никто, сказал он, щелкая толстыми, какими-то гнутыми и темными пальцами. Я же пальцами щелкну, и нет вас обоих. А ты мне и нужен такой, сказал он как бы сам себе, безумными глазами глядя перед собою. Мне такой *никто* и нужен, мудила. Струсил, да? закричал он опять, без всякого перехода. Струсил, да, сдрейфил? Не бось, никто тебя не тронет. Кому ты нужен вообще? Ты что думаешь, ты нужен кому-нибудь? А до меня им не добраться, кишка тонка. Кому *им*, я решил не спрашивать, Двигубский не спросил тоже. Нет, не добраться, ублюдкам. Так что придется тебе, дружок, согласиться. согласишься, дружочек мой, на коленках будешь ползать. И ты согласишься, сказал он Двигубскому, я тебя в Париже найду, не волнуйся. Никуда вы, придурки, не денетесь, поздно, поезд ушел. Что это значит? спросил я. Что это значит, что это значит, загнусавил Вик, передразнивая, брызгая слюной, раскачиваясь на погибающем кресле, тряся подбородками. А то это значит, друг ситный, разь\*бай мудозвонович, что уже поздно отказываться. Ты меня видел? Видел. Со мной говорил? Говорил. Ты что думаешь, так вот можешь теперь взять и выйти отсюда? От моих предложений не отказываются, понял, в натуре. *В натуре* тоже было словечко нашей молодости; забытый школьный жаргон. Ты что же, нам угрожаешь? Я? закричал Вик; все головы снова к нам обернулись. Все блондинки, все головы. Все головы всех блондинок. Я? И не думаю. Со сладчайшей, прежней, кремово-шоколадной улыбкой. И не думаю, что ты? Мы же с тобой кореша, в натуре, ты что? Да я же, можно сказать, я ж тебя, мы ж с тобой, в наши лучшие годы. Да я ж тебя, можно сказать, люблю. Мерзавец ты этакий. Допивая коньяк. Хорошо, подумай до вечера. Так и быть, по старой дружбе. Вечером позвони, вот мой номер. Но хорошо подумай. Как следует подумай, это я тебе говорю. Снова с угрозой. Глядя прямо, темными, теми же, режущими глазами. Здесь думать не о чем, Вик. Я ни в каких таких делах никогда не участвовал и участвовать не собираюсь. Так что... Ну и х\*й с тобой, сказал Вик, вставая, извлекая из кармана брюк пухлый бумажник. Пока живите, хуй с вами. Х\*й-то с нами, сказал вдруг Двигубский, никогда на моей памяти не ругавшийся матом. Вик, кажется, ответа его не услышал. Сидите, пробасил он, я выйду первым, сидите. Он бросил на стол сто марок. Исчез. Опять окно, опять эти ветки в окне, раскоряки, блондинки, воробьи на столешницах. Это тот господин оставил? Изумление официантки, ее взлетевшие брови, крестьянское лицо, широкие скулы. Она была даже, я помню, не рада, просто удивлена.

И мы тоже, конечно, не сразу пришли в себя после этого приятного разговорчика. Мы просидели, я помню, минуты три в обалдении, даже не глядя друг на друга, с такими же, наверное, остекленевшими, остановившимися глазами, какие бывали у Вика, когда он всматривался в безумные свои комбинации. Двигубский очнулся первым; когда я посмотрел, наконец, в его сторону, в глазах его, в тени по-прежнему размашистых и летящих бровей, стоял хохот. Он старался все-таки не хохотать слишком громко; беззвучно, мучительно и блаженно сгибаясь, корча длинные ноги, переламывался он, почти пополам, в своем кресле, вновь и вновь поглядывая на опустевшее Виково, стоявшее с видом невиннейшим, обратив к нам свою потертую красную, в золотых лилиях, обивку, лоснящиеся от многих рук подлокотники, вольтеровские заушники. Блондинки исчезли; на Одеонплатц был влажный мартовский ветер; осевшие, черные и ноздреватые сугробы в Хофгартене. Он спросил меня, где же именно проходила та знаменитая выставка «Искусство вырождения», Entartete Kunst, устроенная нацистами в 1937 расчудесном году как иронический комментарий к первой выставке настоящих, истинно-германских, кроваво-почвенных картин и скульптур, проводившейся, в тот распрекрасный год впервые и затем из года в год, до самого апокалипсического финала, с истинно-германской настойчивостью, в специально для этих скульптур и картин возведенном «Доме немецкого искусства», Haus der deutschen Kunst, расположенном, насколько он знает, неподалеку. Последнее я подтвердил; ответить на первый вопрос не смог. Где-то здесь, вот в этих аркадах... С тех пор выяснил я, что местом проведения сей достопамятной выставки, долженствовавшей положить конец всякому авангарду и всяческому, пардон, модернизму, бросив, в последний раз, на посмешище рыгающей толпы создания современной развихренной музыки, представленной, впрочем, скорее второ- и третьесортными поделками, попавшими под горячую руку, других не нашлось, сойдут и эти, до того ли нам сегодня, товарищи?.. что позорным этим местом, короче, были те несколько залов и зальчиков, где располагается ныне баварский театральный музей, под аркадами Хофгартена почти незаметный, теряющийся среди каких-то других галерей, модных лавок. К немалому моему изумлению, Двигубский извлек из кармана фотоаппарат, еще, я помню, не цифровой, простую «мыльницу», какие были тогда в ходу, и принялся снимать эти аркады, эти лавки, затем, исподтишка, добродушных стариков, бросавших, изредка попадая в цель, серебряные шары, сначала быстро, затем все медленнее катившиеся по мокрому гравию. Старики эти всегда бросают на этом месте эти шары, в любое время года и суток. Сам по себе Мюнхен, барочный и ренессансный, единственный город, где мне всегда хотелось жить, где я мог быть счастлив, где и трех лет не прожил, Двигубского, показалось мне, не занимал ни в малейшей степени; чудный вид, поверх голых деревьев, на башни Theaterkirche и далекие круглые, зеленокупольные башни собора сфотографировал он, уступая моим восторгам, быстро и равнодушно. Зато, когда мы перешли, наконец, Принцрегентенштрассе и упомянутый «Дом немецкого искусства» (после войны превратившегося в искусство просто) восстал перед нами во всем своем вавилонском великолепии, П.Д., слегка даже крякнув, принялся снимать в разных ракурсах, издавека и вблизи, сей первый шедевр нацистской архитектуры, так настойчиво напоминающий те архитектурные шедевры, среди которых, заметил он как бы в скобках, мы имели несчастье родиться и вырасти, задуматься о жизни и прочесть свои первые книги... напоминающий, но, пожалуй, и превосходящий большинство из них убедительностью и простотой, отчетливостью выраженной в нем воли. Воля, сказал он, я помню, когда мы прошли по внешней, обращенной к Принцрегентенштрассе колоннаде, завернули за угол и за угол снова, оказавшись в колоннаде задней, повернутой к Английс-

кому саду и всегда производившей на меня еще более решительное, потому что не нарушаемое ничем посторонним (ни шумом улицы, ни голосами прохожих, ни современными крикливыми плакатами, заманивающими на глупые выставки) впечатление пустынной мощи, архаической силы, — воля, сказал он, в основании всего этого лежит воля, стальная воля, железная воля, культ и триумф воли, воля к власти, Wille zur Macht. Он вдруг начал вновь хохотать; эхо его хохота кружилось среди колонн. Просто вспомнил, сказал он извиняющимся тоном, как был однажды, после третьего, что ли, курса, с Петром, кстати, Федоровым, на Кубанском водохранилище, есть, знаете ли, такое, и там видел а-громадную, он раскинул руки, кумачовую надпись: «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики!» Куда велят, туда и течет. Всепобеждающая воля тоталитарных идеологий... Вот, сказал я, и люди были такие же. Он спросил меня, взмахнув бровями, поправляя лыжную шапку над ними, что, собственно, я имею в виду. Я ответил, что я очень хорошо знал таких людей воли и немало от них натерпелся, бывших комсомольцев, растерявших свои убеждения, но не утративших большевицкой закалки. Эта пресловутая сила воли кажется мне, помимо всего прочего, нестерпимую пошлостью... Вам кажется, ответил он, а вот вашему Ницше отнюдь не казалась. Вашему Ницше, сказал я. И вашему д'Аннунцио, и как их всех звали. Мне по-прежнему хотелось, я помню, но так и не удалось в тот день перейти на свою территорию; я подумал, конечно, но ничего не сказал ему, о даосском недеянии, о равнодушии к результату, о совпадении пути и цели, о спасительной свободе от угрюмых усилий, от злобной судороги судьбоносных решений. Мы пошли обратно по колоннаде. То, что сегодня не получается, завтра получится. Конечно, думал я в сотый и в тысячный раз в жизни, если не стараться и не стремиться, не получится ничего. А все же самое лучшее дается нам как бы само собой, по своей, а не нашей воле, беззаконным даром среди расчисленных и ничтожных наград. Мы вошли, наконец, внутрь, в вестибюль музея, столь же великолепный, как и внешняя его оболочка; зашли в музейную, книжно-сувенирную лавку, откуда можно было и, наверное, до сих пор можно, не покупая билетов, заглянуть в, собственно, выставочные залы, отданные после войны тому самому современному искусству, с которым подручные обоих усатых тиранов так яростно и в конечном счете так безуспешно боролись. Безуспешность их борьбы (ихнего, заметил Двигубский, кампфа...) была нам услужливо продемонстрирована устроителями очередного смотра достижений победившего авангарда. В первом зале выставлен был огромный, во всю стену, экран, на котором, под женский крик, скрежет шин и взвизги металлической музыки, один дядька догонял другого, бил его чем-то железным по кумполу, кровь брызгала — и все начиналось сначала, секунд через тридцать, дядька догонял, дядька бил, брызгала кровь, догонял, бил, кровь, догонял, бил, кровь, догонял. В другом зале, куда тоже заглянули мы, воспользовавшись отсутствием зрителя, как, впрочем, и публики, запомнилась мне освежавшая и тоже кровавая туша какого-то несчастного зверя, не знаю уж из какой дряни сделанная и выставленная в виде скульптуры. Не обошлось и без живописи. На одной, помню, картине толстогрудая баба в лакированных красных сапожках рассматривала, наклонив красногубую морду, свои ярко-красные, вверх торчащие, омерзительные соски — держа при этом в вытянутой руке те же самые, но вроде как синтетические, соски, привязанные за ниточку, с болтающимися под ними почему-то тремя парами смутно прорисованных, но с отчетливыми промежностями, кривых женских ножек. Гуляй, Вася, и ндраву моему не препятствуй. В сущности, это то же самое, сказал, я помню, П.Д., показывая своей по-прежнему плохо привинченной рукою на стены и потолок — и затем на выставленные «объекты». Плоды одного дерева, порождения одного духа... Я

ответил, я помню, показывая, в свою очередь, на бабу и тушу, что здесь господствует разрушение, а там была все же некая воля к созиданию, к построению вавилонской башни, прекрасного нового мира. Это две стороны одной медали, простейшая диалектика, которую не можете вы не понимать, сказал он. Соцреализм, или вот — национал-соцреализм, так же относится к авангарду, как сталинизм относится к революции. Как сталинизм одновременно продолжает и предает революцию, так соцреализм одновременно вырастает из авангарда и уничтожает его. А вот из этого что же, по-вашему, вырастет? спросил я, вновь показывая на тушу и бабу. А из этого уже ничего, конечно, не вырастет, это уже остатки, ошметки, подражания подражаниям, отрывка погибшего времени. Я знаю, что вы сейчас скажете! Вы скажете, что все сложнее... Скажу, сказал я, конечно. Что дело не сводится к этикеткам, что в каждом конкретном случае надо смотреть внимательней и судить осторожней, что переходы тонки и многообразны и что нельзя весь двадцатый век грести под одну гребенку, будь то даже гребень Лорелеи, достояние садовника и палача. Все это я и сам вам скажу, сказал он. А все-таки, поверьте мне, ничего уже никогда не вырастет из этих отбросов... Пойдемте, Макушинский, отсюда.

## 55.

Мои собственные обстоятельства снова переменялись. В январе 2001 года я вдруг получил предложение занять освободившееся место ассистента на кафедре Восточноевропейской истории все в том же Эйхштеттском католическом университете — предложение, поразительное прежде всего потому, что никаким историком я, конечно же, не был, историю, даже русскую, знал плохо, чувствовал себя авантюристом и самозванцем, не по праву вторгшимся в чуждое ему королевство, усевшимся на чужой трон, под чужим балдахинном. Вспоминая же мою детскую привычку отвечать на дурацкий вопрос взрослых, кем я хочу быть, что — историком, только дивился про себя тому, что судьба, в свою очередь, вот так, выходит, на это ответила... Задача моя, впрочем, заключалась в первую очередь в преподавании того, что в Германии называют «историей идей», а также историей, с позволения сказать, культуры (Kulturgeschichte, Ideengeschichte...); удивленным и белобрысым студентам рассказывал я, следовательно, о западниках и славянофилах, нигилистах и народниках, символистах и соцреалистах; лишь постепенно, осваиваясь в предмете, переходил и перешел, действительно, к истории как таковой, теперь уже рассказывая белобрысым и удивленным студентам, прилежным и слишком редко, увы, прелестным студенткам о призвании варягов, о византийском влиянии, о Московском царстве как продолжении Золотой орды, о вотчинном государстве, о стремлении России выйти в море, к Балтийскому, Черному, Чертову, о Лже-, конечно, Дмитрии, самозванце, как и я сам, моем, до сих пор, любимейшем персонаже отечественной истории. Историком я, конечно, так и не сделался; иногда, думая о Двигубском, чувствовал себя так, как будто занимаю его место, ему причитавшееся... К нему-то, как правило, и обращался я за советом, по телефону, чаще по электронной почте. Что бы такое, дорогой Павел, рассказать мне завтра местным не-красавицам о Гражданской войне? Павел, всякий раз, давал советы ценнейшие, очень точные и по делу, с безошибочным указанием страницы и тома, том такой, страница такая-то... Мне пришлось опять переехать в Эйхштетт, теперь уже не в студенческую комнатенку, а во вполне себе respectable преподавательскую квартиру, опять — над городом, на том отроге юрского плоскогорья, которое закачивается замком (он же — крепость); город виден был из моих окон весь целиком, с его, вновь упомянем их, черепичными красными кры-

шами, двуглавым собором, зелеными куполами церквей, зубчатой белой стеною, изгибом реки и даже, в солнечный день, блеском рельсов у того вокзала (вокзальчика), на который прибывала, с которого отбывала «кукушка», по-прежнему курсировавшая — девять минут в одну и девять в другую сторону — между этим городским и настоящим, затерявшимся среди холмов и каменоломен, вокзалом, где по-прежнему останавливались, удивляясь и скрипя тормозами, серьезные, взрослые поезда. Теперь уже думал я, глядя на город, вновь и вновь, о Двигубском и его повести; вновь и вновь приглашал его приехать ко мне; он всякий раз отвечал, что — да, непременно, что — как же иначе и что он уже давно собирается; всякий раз что-нибудь да мешало ему приехать. На меня же одиночество навалилось, как лавина на неосторожного лыжника в Альпах. Той полустуденческой жизни, которой я жил здесь шесть или семь лет тому назад, не было уже и в помине; были немногие друзья, от той жизни оставшиеся; было, временами мучительное, чувство, что судьба загнала меня в угол, дважды в тот же, медвежий, смеясь над моими попытками к бегству, стремленьем к свободе. Я все-таки опять убежал (в 2007 году, в Мюнхен); судьба в долгу не осталась, еще через два с половиною года загнав меня в новый угол, теперешний. Ничего этого я десять лет назад еще знать, конечно, не мог... Поначалу, как и в первый раз, было, впрочем, не так уж плохо; тоска началась потом. Были новые задачи, новые темы в жизни (его, двигубские, темы, варяги и вотчинники, подобранные ко мне окольным путем...); главное же — не только внешние, но и внутренние мои обстоятельства начали в ту пору меняться, смещаться; снова звезды встали иначе; снова тени легли по-другому. Эпоха молчания заканчивалась — молчания, которое я представлял себе иногда как некую страну, как ландшафт, дороги молчания, горы молчания, рассвет над лесом, закат над рекою молчания. Куда-то, было еще непонятно куда, но куда-то эти дороги уже меня выводили; до каких-то слов и строчек я уже *домолчался*; листья в лесу зашумели; река забормотала что-то на русалочьем своем языке. Еще я не верил этим словам, не доверял этим строчкам. Но уже не думал о том, чтобы расстаться с писательством, уйти в монахи, податься в отшельники. Земная жизнь вновь обретала смысл.

## 56.

Лукка, писал мне Двигубский летом 2001 года, есть один из прелестнейших городов, когда-либо виденных им, почему они, то есть он, Света и Оля, задумали провести две недели в конце августа, перед началом учебного года, в Тоскане, между Луккой и морем, в деревне, где у их знакомых, Светиных, точнее, коллег по работе, есть домик, который, за умеренную плату, сдают они друзьям, друзьям друзей и вообще (писал мне Двигубский) представителям рода человеческого (*de l'humanité, si l'on veut*). Конечно, в августе в Италии еще жарко, но если я хочу и если Элизабет хочет, то почему бы нам, собственно, не провести, так сказать, *вакансии* (*les vacances, vous comprenez*) вместе (*ensemble*)? С Элизабет я расставался в то время; она не поехала. Мы же, после долгих переговоров и обмена электронными письмами, пришли к выводу, что лучше всего было бы мне приехать на машине и присоединиться к Двигубским на вторую неделю их пребывания в тосканской идиллии, после чего, в начале сентября, Света и Оленька уедут в Париж, мы же вдвоем *проедемся*, как выразился, опять же, Двигубский, по итальянской и французской Ривьере, по Лазурному Берегу, Провансу и Лангедоку, где я никогда не бывал до тех пор и куда он, Двигубский, вообще, как вдруг выяснилось, больше всего любивший юг и солнце, стремился, по его словам, непрерывно, с тех самых пор, как впервые побывал в Каннах и Ницце. Я начал тогда, в 2001 году, впервые в жизни получать приличное жалованье и пото-

му мог позволить себе, наконец, это давно задуманное мною путешествие — которого он, Двигубский, позволить себе, в общем, не мог; дорожные расходы я взял почти полностью на себя. Недели за две до моего и за неделю до их отъезда вдруг выяснилось, что все всё перепутали, то ли Света все перепутала (что вообще-то было на нее не похоже), то ли Двигубский все перепутал, то ли я их понял неправильно, и что дом, куда мы должны были ехать, вовсе никакой не дом, но — квартира, и находится она не возле Лукки, но гораздо южнее, за Ливорно, чуть-чуть не доезжая до Гроссетто, в местности, называемой Маремма (название, сказал мне Двигубский, как будто из какого-то сна...), в местечке с не менее пленительным названием Кастильоне делла Пескайя, до которого я добирался, я помню, почти двое суток, заночевав в Вероне с ее знаменитым амфитеатром и пресловутым балконом Джульетты, добычей туристских толп, наседающих друг на друга в неизменном своем обладании.

## 57.

Оля в 2001 году была в примерно джуветтином возрасте; она красила губы, как трехрублевая девка с Казанского вокзала (шепнул мне обожавший ее П.Д.); ногти красила так же; родителей ни слушать, ни слушаться не желала; и все время что-то делала со своим мобильным телефоном, единственным ее другом, верным спасением от окружающей скуки; бесконечно переписывалась, а если не переписывалась, то хоть перечитывала сегодняшние и вчерашние письма, рассматривала присланные ей картинки, какие-то «смайлики», и затем опять начинала бешено переписываться, быстро-быстро щелкая ярко накрашенными ногтями по телефонным крошечным клавишам, с лицейскими своими подружками и, наверное, мальчиками, оставшимися в Париже или уехавшими на каникулы в другое, конечно — лучшее, более интересное и уж точно более шикарное место. Светины кошачьи глаза в сочетании с непонятно от кого унаследованными тяжелыми веками, двигубским крутым лбом, маленьким скошенным подбородком и подростковой еще неуклюжестью, как бы недоработанностью всего облика делали ее мучительно некрасивой, соответственно и несчастной; с тех пор она изменилась, кажется, к лучшему. Родителей откровенно она презирала за эмигрантскую скромность их жизни, изредка секретничала с матерью, раздражалась на отца-неудачника и бессознательно заигрывала со мною, не потому, что я, старый и толстый, тоже эмигрант, хотя и обладатель подержанного «Мерседеса», как раз тогда купленного, мог быть сколько-нибудь для нее интересен, а просто потому, что ей пришло время строить кому-нибудь глазки, а никого больше не было рядом. На пляже она сразу склонялась над своим телефончиком, сердито отмахиваясь от предложений хотя бы переодеться, затем, со вздохом отложив его, облачившись в наглый бикини, преувеличивавший зачаточный ее бюст, утыкалась глазами в очередной том «Гарри Поттера» во французском переводе, со страдальческим видом позволяла матери намазать ее кремом от солнца — и опять утыкалась в своего «Гарри Поттера», в телефон, в «Гарри Поттера», не слушая и не слыша, конечно, ни шума прибоя, набегавшего на песок, ни вечных криков чаек, ни тех волшебных голосов, которые, сквозь солнечную пляжную дрему, такими кажутся вдруг далекими, нездешними, тоже, по своему, вечными, откуда-то, Бог знает откуда, доносящимися до нас, врывающимися в здешнюю жизнь. Я поворачивался на спину и приподнимался на локте. Слева был мыс, далеко уходящий в море, слева же был и порт, до которого мы иногда доходили с Двигубским по пляжу, оставляя Свету и Олю загорать и шептаться друг с дружкой; возвращаясь к ним, всякий раз видели очертания кастильонского замка, нависавшие над берегом, еще дальше убегающие холмы, и дым-



чатые очертанья то ли еще какого-то мыса, то ли острова, Двигубский утверждал, что — Эльбы, в морской и мерцающей, уже совсем далекой дали. Я думал, конечно, о той, на этих страницах так и оставшейся безымянной, деревушке в Латвии, где прошли когда-то лучшие мои годы, о том, какие это были годы, какие блаженные и счастливые годы — молодости, писательства и удачи; и как с тех пор все затмилось, потускнело, померкло. Что было не совсем правдой, пожалуй. Как раз в 2001 году сумерки начали, наконец и как уже сказано, редеть в моей жизни, туман рассеиваться, хоть я этого еще и не сознавал, может быть; и вовсе не потому рассеиваться, еще раз, что внешние обстоятельства изменились и жизнь обрела вдруг некую, пусть временную, устойчивость, но потому и только потому, разумеется, что какие-то наметились, наконец, после семилетнего моего, с 1994 года, молчания, литературные, писательские возможности; стихи, иными словами, в которые я еще не совсем готов был поверить, не считал еще, в самом деле, своими и никому поэтому не показывал, не показал и Двигубскому, все-таки уже звучали и складывались, пробиваясь сквозь немоту; на пляже сидючи, редкие робкие строчки уже я, поймав их, записывал. Двигубский, сидя, лежа ли рядом со мною на деревянном раскладном лежаке, за небольшую плату сдаваемом напрокат наглоглазым и вертлявым пляжным прислужником, читал, в свою очередь делая какие-то записи, какие-то выписки, сначала Светония, затем Саллюстия, затем, уже во время нашего дальнейшего путешествия, Тацита, римских, короче, историков, которых, по его словам, любил с детства, много лет не перечитывал и вот собрался, наконец, перечесть; здесь, на юге, сказал он, в двухстах километрах от Рима, это как бы даже напрашивается. Знаете ли вы, что местность, где мы с вами находимся, эта восхитительная Маремма, упоминаемая, кстати, в, по-моему, довольно скучном романе Жюльена Гракха, который вы, Макушинский, советовали мне некогда прочитать, что эта местность, в античности называвшаяся *Maritima Regio*, считалась гиблой, гибельной, малярийной, считалась, впрочем, таковой и в Средние века, и даже в Новое время, чуть ли не до самого последнего времени, во всяком случае, до тридцатых годов двадцатого века, когда, между прочим — при Муссолини, закончено было строительство каналов и осушение болот, начатое еще в XVIII веке? Узнать это было нетрудно; в пляжном киоске купил я подробный немецкий путеводитель по округе, до сих пор у меня сохранившийся. Среди прочего приводилось в нем этрусское название Кастильоне — Салебро, рассказывалась история замка, который видели мы вновь и вновь и к которому поднялись, кажется, только однажды вечером, с недовольной Олей и молчаливой Светланой, замка, который герцог Козимо Первый ди Медичи (не путайте его, мой драгоценнейший, сказал Двигубский, впадая в чудный тон своей юности, со «старым» Козимо, основателем славного рода) подарил, как выяснилось, жене своей Элеоноре Толедской, а заодно цитировалось и единственное упоминание Мареммы у Данте, именно в 5-й песне «Чистилища», где некая Пия деи Толомеи, родом из Сьены, сообщает, что, как сказано в переводе Лозинского, с которым я, вот сейчас, сверяю цитату, она «в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла». *Siena mi fé; disfecemi Maremma...* А как вам нравится вот это описание Катилины, говорил Двигубский, переворачиваясь на другой бок и раскрывая заложенное им место в двуязычном латинско-французском издании Саллюстия, которое у него было с собою. Эта цитата несколько раз, причем по-латыни, повторяется в его записях и тетрадах, присланных мне, как сказано, в 2004 году, причем повторяется в связи с персонажем его так и не написанной повести, называемым, как правило, *товарищ Сергей*; вот она: *Animus impurus, diis hominibusque infestus, neque vigiliis neque quietibus sedari poterat: ita conscientia mentem excitam vastabat. Igitur colos ei exsanguis, foedi oculi, citus modo, modo tardus incessus; prorsus in facie voltuque*

vecordia inerat. Я нашел ее русский перевод, разумеется и опять-таки; вот он: «Грязная душа, враждовавшая и с богами, и с людьми, не могла обрести равновесия ни в трудах, ни в досугах: так взбудоражила и так терзала ее больная совесть. Отсюда мертвенный цвет кожи, застылый взгляд, поступь то быстрая, то медленная; в лице его и во всей внешности сквозило безумие». Кстати, не нахожу ли я, что в интонации Эрнста Юнгера в его, им, Двигубским, по моему совету, за который он бесконечно благодарен мне, несколько раз прочтенной и перечитанной повести «На мраморных утесах», не нахожу ли я, что в интонации этой повести есть что-то от интонации античных историков, Саллюстия в частности? Что и неудивительно, если вдуматься. В конце концов, и там, и там рассказывается история некоего упадка, некоего заката, у Юнгера в мире вымышленном, у Саллюстия в Риме, как он его понимает, и там, и там описываются силы и страсти, разрушающие когда-то существовавший порядок вещей... «Началось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза расплодилось, точно чума, народ переменялся в целом, и римская власть из самой справедливой и самой лучшей превратилась в жестокую и нестерпимую». Я напомнил ему статью Блока о Катилине; редкостная чепуха, сказал он с несвойственной ему решительностью оценок. К Блоку он всегда, впрочем, относился скептически. Это статья ни о каком не Катилине, конечно, сказал он, я помню, просто автору очень хочется верить, что революционными матросами, убийцами и грабителями предводительствует сам Христос, оттого и Катилина оказывается, что уж совсем глупо, предшественником и предвестием Иисуса. Что до него, Двигубского, то никто ему так не отвратителен, как любители хаоса, призыватели великого ветра, обличители старого, будто бы прогнившего и обывательского порядка. Мы слишком хорошо знаем, что приходит такому порядку на смену, какой беспорядок, какой — новый порядок... Ancien Régime при всех его очевидных грехах и пороках всегда все-таки лучше революционного нового мира. А как все ликуют, как радуются великой и бескровной, как целуются на улицах, обнимаются на площадях. Кровь и слезы приходят, как известно, потом. Ну да, все это слишком понятно... Поэтому защитники бывшего порядка, каким бы он ни был, милее ему всех прочих участников исторической драмы, даже если дело их безнадежно, обречено и по определению проиграно... Как поживает его повесть? Плохо. Очень плохо, сказал он. Но все-таки он надеется, как ни странно; надеется, отчаивается, надеется вновь и вновь. Если я хочу, он просто почитает мне что-нибудь; я хотел. Мы остались однажды утром вдвоем в той, признаться — не запомнившейся мне квартире, которую снимали у Светиных сослуживцев; на столе, вот это я почему-то запомнил, еще стоял не убранный после завтрака, типично итальянский кофейник (с тонкой талией, из двух половинок), пара чашек и плетеная корзинка с сухими булками (ни в какое сравнение не идущими, конечно, с восхитительным французским багетом). Дверь на балкон была открыта; видны были шапки пиний за дверью; мягкие очертанья какой-то соседней горы. Дело не в том, что мы можем быть счастливыми, думал я, дело в том, что мы должны, мы должны, это лучшее, на что мы способны. Двигубский принес откуда-то и, как мне показалось, не положил, а прямо-таки вывалил на стол целую стопку рукописей и тетрадей, которые все возил, значит, с собою, потом начал долго в них рыться, что-то выискивать, теревить их своими длинными пальцами. Пахло эвкалиптом и хвоей. Тень Олиной маленькой майки, повешенной Светой на балконе сушиться, колебалась и вытягивалась, стремясь сорваться, мечтая взлететь, на красном, в продолговатых плитках, поlyingщем балконном полу.

## 58.

Это чтение было мучительным. Чем дальше он читал, тем больше злился — и на себя, и на то, что читал. Ему явно не нравилось то, что читал он, ему было стыдно за свой же собственный текст... Ужасно, да? спрашивал он пару раз. Я (искренне) уверял, что нет, не ужасно. Что, наоборот, очень интересно, читайте дальше. Того, что он прочитал мне в тот день, я не нахожу теперь в его записях — вернее, нахожу в них так много вариантов прочитанного тогда, что уже не в состоянии определить, какой именно он читал. Он прочитал мне два отрывка, это я помню точно; соотнося их с той схемой действия, которую могу теперь восстановить по его бумагам и записям, вижу, что речь идет все еще о самом начале повести, событиях первого дня. А действие и занимает, собственно, лишь несколько дней, все прочее воскресает в воспоминаньях... Слово *раскоряки* рассмешило меня, это я тоже помню, Люксембургский сад и мюнхенский Хофгартен заслонили, на мгновение, пинии и гору в окне. Двигубский же поместил их, в своей повести, в том городском саду, куда герой, Григорий, заходит, в большинстве вариантов, теперь лежащих передо мною, сразу после посещения вокзала, как бы продолжая первый, в известном смысле — предварительный, обход этого маленького города, города в долине, по-прежнему и навсегда безымянного, города, который, когда я читаю теперь все это, кажется мне странно безлюдным, как если бы автор не сумел населить его людьми, не видел его жителей, или жителей в нем, но видел только пустые, как на архитектурных гравюрах, застывшие, замершие, словно в ожидании чего-то, улицы, площади, Соборную с ее булыжной гладью и бугром посредине, затем Вокзальную площадь, Елизаветинскую и те, всегда, впрочем тихие, всегдашнюю, неизменною тишиною, тенистые, к реке спускавшиеся улицы, которые, пишет Двигубский в самом подробном варианте своей повести, все назывались Садовыми и почти терялись, в самом деле, в сплошных, как будто переливавшихся через край, через ограды и заборы садах, с едва заметными, под ветвями яблонь, калитками; одна из этих калиток, заскрипев, приоткрылась; захолопнулась. Но был и городской сад, конечно; беседки, скамейки; дощатая сцена и деревянная раковина (в которой пожарный оркестр играл когда-то свои медные марши). И на площадке перед сценою те же, или такие же, смешившие его в детстве, низенькие, зеленые, с отстающими задними ножками, стулья (*раскоряки*: по выражению Всеволода). Он сел на один из них; внезапное, вообще не свойственное ему, отчаяние охватило его. *Da bist du nun, Gräflin...* Вот так вот сюда возвратиться... Вот и сиди здесь... А между тем, сидеть ему здесь, конечно, не следовало; но надо было разыскать поскорее Степанова (капитана Степанова, которому отдал он свою лошадь), и переговорить с полковником, и ехать, раз уж он собрался поехать туда, поскорее, чтобы до темноты возвратиться, в имение. Все-таки он сидел, довольно долго, на *раскоряке*, понимая, что представляет собою отличную мишень для какого-нибудь местного большевика, таящегося среди деревьев за сценой, или в кустах у него за спиною, но все же не в силах встать, оторваться от этой сцены и раковины, удивляясь своему, вот такому, сюда возвращению, удивляясь своему же отчаянию, и вместе с тем как будто ожидая чего-то, словно кто-нибудь мог, или должен был, выйти на эту сцену, что-то, какое-то действие, на этой сцене, начаться... Засим следует поездка в имение. Двигубский, я помню, за тем столом с остатками завтрака в Кастильоне, перебирая свои бумажки длинными пальцами, с мукою глядя на меня, на них и опять на меня, сообщил мне, что это место чуть ли не самое для него трудное, что он вязнет в нем и проваливается, проваливается и вязнет, сказал он, в этом болоте литературности. Сколько было уже в русской литературе этих имений... Герой, как выяснилось, должен был поехать туда не один. Упомянутый только что капитан Степанов, единствен-

ный, как в одной из рукописей сказано, с кем сошелся он за все время боев и походов, Степанов, которого обнаружил он, встав, наконец, с раскоряки, после недолгих поисков, недалеко от Соборной, у каких-то, пишет Двигубский, освобожденных обывателей, где тот стоял в огороде, до пояса голый и, по пояс же наклонившись, поливаемый из лейки губастым, корявым, ухмыляющимся денщиком, отдуваясь, конечно, и фыркая, являя миру, Грише, красную, как будто вся кровь его слилась в нее, шею, крепкие плечи, Степанов, разогнувшись, явив Грише и миру офицерские усы, простые, серые, смеющиеся глаза, заявил, что не отпустит его одного. Нет, нет, даже не думайте. Солнце палило здесь сильно, еще почти, пожалуй, по-летнему; резко-сладким, счастливым чем-то пахли, палимые солнцем, петрушко-луковые, укропно-сельдерейные грядки... Я спросил, я помню, у смущенного автора, что побудило его выбрать такую простую фамилию. А это простой человек, сказал он, Максим Максимович, если угодно. Тоже, конечно, добавил он со стыдом и злобой, ли-те-ра-тура. Я прекрасно понимал его сложности; мне самому было чуть-чуть стыдно за него, когда он читал мне про этого капитана Степанова, простого русского офицера, сероглазого и усатого, про этого денщика-губошлепа. Ужасно, да? Да? Ужасно? Я по-прежнему уверял, конечно, что нет. Да нет, ужасно, говорил он, перебирая свои тетрадки и рукописи. Перенести действие в воображаемый мир? Из-за него выглядывают все те же усы, все те же глаза... Мы оба рассмеялись, конечно; смех его на сей раз длился недолго. И он это все уже столько раз пробовал, так много думал об этом. Все то же самое, все то же самое... Помните сорвавшуюся резьбу, в «Войне и мире», у Пьера Безухова? Когда Пьер после дуэли с Долоховым и разрыва с Элен сидит в Торжке на почтовой станции и ничего не может понять, не знает, для чего жить и что есть жизнь, что смерть, как будто... (я, по всегдашней своей привычке, нашел, вот только что, это место; поэтому цитирую буквально) «как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его». Винт не входит и не выходит, сказал Двигубский, глядя на шапки пиний, и вытащить его не могу, и ввернуть не могу. Давно уже надо было все это бросить. Я брошу, вдруг сказал он. Если уж не сумел написать, то сумею хоть бросить, отказаться, признать свое поражение. А знаете ли вы, что это в каком-то смысле гораздо труднее, чем продолжать писать и отчаиваться, отчаиваться и все же упорствовать?

## 60.

Из бумаг его и тетрадей хорошо видно, как боролся он с этим описанием разграбленного имения, никак ему не дававшимся. Вновь и вновь переписывал он эту сцену, так тщательно и подробно, как, может быть, никакую другую, утопая в вариантах, погибая на ложных путях. А все ведь, казалось бы, ясно, замечает (воскликает!) он в одной из этих тетрадей (третьей по счету; всего их шесть; я скажу о них чуть позже...), все, казалось бы, ясно, пиши не хочу. Об этом же он говорил мне и в Кастильоне, я помню. Он видит все так отчетливо, говорил он, странное дело, все видит насквозь, всю поездку, всю сцену. Казалось бы, надо только записать увиденное. Но именно это-то и не получается у него. Ну да, они едут, Степанов, Григорий. Они выезжают из города. Они снова видят, с какого-то пригорка, тот дальний лес, который он видел утром, тот самый, за всеми другими холмами, перелесками, складками и неровностями ландшафта, дальний и совсем дальний лес, который так манил и влек его в детстве, за которым, как в детстве ему казалось, должно было начинаться что-то совсем иное, никому не ведомое, ни на что не похожее... Что усадьба еще два года назад была, по приме-

ру прочих (стольких, в последние месяцы виденных им...), разграблена, он, разумеется, знал (цитирую теперь уже, конечно, по рукописи); что за прошедшее с тех пор время ее *дограбляли* и, наверное, дограбили до окончательной пустоты, наготы, голых стен, предполагал он; была она, или нет, сожжена — вот вопрос, который обсуждал он сам с собой (не со Степановым, человеком, вообще, молчаливым) по огибавшей выступ леса дороге. Она не была сожжена; он увидел ее, зеленую крышу дома, с того холма и места, за тем изгибом обогнувшей выступ дороги, с которого, за которым всегда они открывались. Здесь появляется, почти во всех рукописях, мотив приближения. Уже видна была крыша, ярко-зеленая среди желтой зелени парка, но — медленно, медленно, долго они к ней ехали, к ней и к дому, бесконечно долго к ним приближаясь. И потому что мы всегда приближаемся; всегда и всю жизнь приближаемся мы к чему-то... Но еще долго, долго, среди сожженных солнцем полей, вилась, петляла дорога; петляла, пылила; и деревья, в свою очередь, приближались и приближались; приближаясь, приблизились; наконец, приблизившись, расступились. И теперь уже виден был — дом; еще не весь, но был виден; белые колонны, синие окна. Они проехали между невысокими, теми же, нет, не белыми, серыми, не колоннами — столбиками, с серою и каменною вазой на каждом; и дальше, ближе, под кровом крон, по нерасчищенной, ведущей к дому аллее, шурша листьями, медленно приближаясь. И потому что мы всегда приближаемся... И объехав вокруг засыхающей, затоптанной клумбы, у перрона остановились и спешили. Никто не вышел, не выбежал на перрон; никого, наверное, и не было в доме. Львы, пишет Двигубский. Львы, те же самые, всегда, сколько он себя помнил, лежавшие у входа, справа и слева, с тупыми, блестящими от многих касаний носами. Не львы, а лёвы, как в детстве он называл их. Левый лёва, любимый. Ничем, конечно, не отличавшийся от правого. Любимые лёвы, которых достаточно, кажется, погладить по носу, чтобы мир снова стал обитаемым, чтобы судьба смилостивилась, чтобы жизнь помирилась с судьбою. «Но все-таки осторожно», говорил Степанов, заглядывая в окна, с револьвером в руке. А Григорий знал, что в доме никого нет. Дверь была приоткрыта, он распахнул ее. И — что же? И дальше они обходят дом, пишет Двигубский; следует описание комнат, такой и другой гостиной, голубой какой-нибудь и зеленой, столовой, бильярдной, библиотеки, курительной, проклятье литературы. Те же, на лестнице, на площадке между первым и вторым этажом, всегда бывшие бюсты: Юпитер, Юнона; пощаженные, надо думать, за очевидной их ненужностью в новой жизни. Только их и пощадил; все остальное разграблено. Что не разграблено, то растерзано. Обои висели ключьями; стулья исчезли все; буфет и стол, слишком громоздкие, что ли, чтобы сразу их вынести — и как если бы грабившие грабили с *оглядкой*, торопились, боялись — были, *на худой конец* и с каким, должно быть, остервенением, порушены, порублены топорами; осколки, с узнаваемым узором, тарелок валялись, вперемешку с хрустальными брызгами упавшей, нет, конечно же, нарочно сорванной люстры, на мраморном, в белых и красных ромбах, былым, невозмутимым блеском блестящем, как ни странно, полу. Она уже падала, эта люстра; он помнил, как она вдруг упала: без всякого повода, на уже накрытый к обеду стол, не, как впоследствии охотно рассказывалось, *за секунду*, но и в самом деле незадолго до того, как *все* должны были за стол этот сесть; ему, Грише, было тогда лет семь. Он поднял с полу продолговатую градину, засверкавшую у него в руке; он подумал, что еще никогда в жизни не испытывал такого... «Черти! Даже грабить не умеют, как следует...» Капитан Степанов смотрел на него с тем чуть-чуть как бы удивленным выражением лица, с каким нередко смотрел на него, какое он, Григорий, в свою очередь удивляясь, вообще нередко замечал в людях, на него смотревших, с ним говоривших, и к которому, у Степанова,

примешивалось, почти всегда, выражение *осторожной заботы*, Гришу отчасти забавлявшее, иногда сердившее, в конце концов сделавшееся привычным ему; с этим удивленным и осторожно заботливым выражением, которое, в данном случае, включало в себя и что-то вроде *уважения* к тому, что, по мнению Степанова, как раз и выражавшемуся на лице его, Григорий должен был сейчас чувствовать, вот так вот, в свой *родной дом*, возвращаясь...; Григорий же как раз и не знал, что именно чувствует он. А между тем, он привык отдавать себе отчет в своих чувствах; *называть* свои чувства. Он сказал себе, что это не печаль, не отчаяние... Страшны были портреты в гостиной; портрет его прадеда: с неизбежным, конечно, окурком в глазу — отсутствие выдумки у вандалов! — и дыркой на груди, вместо ордена; по-прежнему строгий и какой-то темный портрет старшей дочери этого прадеда, сестры его деда: с вырезанными ушами и разорванным ртом; прелестный детский портрет его бабушки, в смешных бахромчатых панталонах, опирающейся рукою на овальный, очень простой, в ее, бабушкиной спальне стоявший впоследствии столик, с очертаниями парка и небесной далью на заднем плане, в полуотворенном окне (того же парка, на который и он смотрел теперь, поворачиваясь к окну): изрезанный вкривь и вкось, как попало, с бессмысленной яростью, но еще сохранявший, в лохмотьях, и эту даль, и детскую руку на столике, и ту совершенно восхитительную, в уголках губ, улыбку, которую он, Григорий, так хорошо помнил на совсем другом, уже старом бабушкином лице, в его, Григория, собственном детстве; парный к этому, всегда и по-прежнему висевший рядом с ним портрет бабушкина брата, опирающегося рукою на тот же столик, с тем же окном и тем же парком в окне: опаленный с краю, но тоже еще живой, еще дышащий. Решение принято было вдруг; вполне неожиданно для него самого; с вполне неожиданной для него самого невозможностью решения этого не принять; принять какое-нибудь, к примеру, другое... Он ничего не сказал Степанову, перебивавшему, в библиотеке, рассыпчатою горою сваленные на пол книги; Степанов, конечно, стал бы его отговаривать. В разбитом окне библиотеки, выходявшем в парк, было солнце; быстрый ветер, перебежавший через лужайку; в павильоне за нею блеск как будто сохранившихся стекол; поваленные статуи; перспектива аллеи.

## 61.

Как вы уже поняли, он решает остаться в городе, сказал мне Двигубский, глядя, в свою очередь, в окно, на шапки пиний и очертания соседней горы. Вы отдали ему те портреты, которые висели когда-то у вас в столовой, на Академической, сказал я. Они до сих пор висят там, сказал он. Я отдал ему вообще многое... Еще больше отдал я Всеволоду, его старшему брату... Они идут, конечно, наверх, Григорий, Степанов, в тех набросках и рукописях, которые я пытаюсь теперь разобрать, наверх, по не утратившей свою парадность лестнице, мимо не тронутых вандалами статуй (Юпитер, Юнона). В его собственной комнате, где всегда был — не *идеальный*, но *идеалистический* (шутка Всеволода), причем как бы сам собою складывавшийся порядок, вызывавший одновременно улыбку и зависть у беспорядочных прочих, у того же Всеволода, у хаотической Лизы..., было все перевернуто; из комода, из шкафа, из всех ящичков письменного стола — все вывалено, все брошено, одежда, книги, бумаги. Те книги, которые он чаще всего читал и потому держал у себя; полуразорванный первый том Шопенгауэровых «Парерг», привезенных им в свое время из Фрейбурга, лежал чуть поодаль от всей прочей кучи, раскрытый на столь занимавшей его когда-то (потому и раскрывшийся на ней, разумеется, что он так часто раскрывал его здесь) статье *о видимой целесообразности в судьбе отдельного человека*... Вон там, вон там, в аллее, вон у того дуба, Всеволод, когда это было? сказал

ему, что если и верит во что-нибудь, то, наверное, лишь в эту *anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen*, в эту тайную, ему самому лишь отчасти (и по частям) открывающуюся, смутно угадываемую, в конечном счете непостижимую, но отчетливо сознаваемую им *соразмерность*, в этот *замысел жизни*, проступающий за внешней ее оболочкой и как бы оправдывающий ее... Искали денег, конечно; искали повсюду, у Всеволода, у отца в кабинете; искали и на самом верху, куда вела уже отнюдь не парадная лестница и где, в конце коридора, было то окно, у которого, и тот, казавшийся в детстве таким широким, теперь не показавшийся таковым подоконник, на котором он любил когда-то сидеть, уже в сумерках, например, собиравшихся и густевших вокруг, быстрыми отблесками пробежавших по коридору: и потому, конечно, любил сидеть здесь, что отсюда, и только отсюда, виден был, и по-прежнему виден был, тонкой, синей, облачной и смутной чертою, поверх деревьев парка, тот дальний, дальний, самый далекий лес, дремучий лес, как все всегда говорили, до которого не так уж много раз и доезжал он, пожалуй (в другой рукописи сказано, что доехал только однажды...), который, всякий раз, когда он ехал к нему, например, в коляске с родителями или, после детства, верхом, оказывался еще более дальним, чем казался отсюда, и за которым, как в детстве представлялось ему, начиналось уже что-то совершенно иное, ни с чем из здешнего вообще не сравнимое...; сидя на этом подоконнике, в сумерках, почти в дрему впадал он — и вдруг стряхивая ее с себя, сбегал вниз, в парк, где тоже, конечно, и особенно в дальней части его, уже спускавшейся понемногу к реке, было, тем более в сумерках, что-то дремучее, дремное, темное, как будто приближавшее его к тому, дальнему, лесу. И потому что мы всегда, всегда, разумеется... До сумерек было еще далеко; был один из тех, насквозь прозрачных, но с тонкою поволокою дней, какие только осенью, наверное, и бывают; статуи, вокруг павильона, были все повалены, в самом деле; в густой траве (такой густой и высокой, какой он в этом месте никогда не видел ее) лежала, почти скрытая этой травой, лицом вверх, удивленная Мнемозина. Мнемозиною, впрочем, называла эту статую его — *grande-mère*, и только она, и никто не знал почему; никаких особенных, отличающих их друг от друга признаков не было у этих четырех, почти одинаковых, лишь по-разному повернутых неизвестным скульптором женских фигур; *grande-mère*, тем не менее, со свойственной ей решительностью, утверждала, что *она знает* и что эта статуя — Мнемозина, вон та — Муза (какая именно? неважно какая, вообще Муза и все тут, *je n'aime pas les rédants*), а вон та, третья, с обломанной в локте рукою, поваленная теперь набок, обломком кверху, та третья — Ночь. «А четвертая?» спросил Степанов. «Четвертая не называлась никак», сказал Гриша, склоняясь над этой четвертой, неназванной, и самой, конечно, любимой, лежавшей ничком, исчезавшей в траве. Муравей полз по травинке; он скинул его быстрым щелчком на мраморное, уже давно, конечно, не белое, в пятнах мха, плечо статуи; другой травинкой преградил ему путь; преградил еще раз; пересадил опять на травинку; смахнул снова на мрамор. Есть провалы во времени; лакуны времени; мгновения, уводящие как бы в сторону от его, времени, естественного течения; недолго длящиеся, но *внутри, в себе* долгие, даже очень долгие иногда... И конечно, он, Гриша, пересаживая на травинку и смахивая с нее этого рыжего, с широким, отстающим задком муравья, *муравьишку*, был не тем Григорием, каким был он вот только что, но пятилетним каким-нибудь Гришею, и все, что было с тех пор, и, тем более, все, что было недавно, и война, и все пережитые ужасы, ничего этого, на мгновение, не было больше, никогда не было, как не бывало. Но не то удивительно, думал он, спохватившись, вставая с корточек, не то удивительно, что он *проваливается*; удивительно, что это так волнует его; таким горестным и блаженным волнением, какого он сам не ожидал от себя. Он часто проваливался; всегда, в общем, чувствовал прошлое — не придавая, однако, ни этим провалам, ни этому прошлому никакого особенного значения. Оно просто

было в нем, здесь, где-то рядом; он скорее *помнил*, чем *вспоминал*; вспоминать ему не было свойственно — в отличие, к примеру, от Всеволода, плохо помнившего, или считавшего, что он плохо помнит, и потому вспоминавшего, боявшегося забыть, упустить, склоненного над уходящим, навсегда исчезающим... И об этом они тоже говорили когда-то, давным-давно, в Гейдельберге... Решение — остаться, было — в нем, жило — в нем, уже как будто само по себе, уже почти независимо от него, от его воли, от его еще других каких-нибудь, тоже ведь возможных решений.

### 63.

На пляже, однажды, заслышав немецкую речь, разговорился я с молодой, спортивного типа, парой — как вдруг выяснилось, из Ингольштадта, — тут же пустившейся нахваливать этот свой Ингольштадт, столь хорошо мне знакомый, на мой вкус — скучнейший, где, по их словам, все прекрасно, все замечательно, и люди, и пиво, и работа есть (на «Ауди», разумеется), и море недалеко. Какое море? А вот это, сказал мужской представитель пары, играя мускулами и тыкая пальцем в сторону мерцающих волн. Хохот Двигубского не смутил и не обидел его. А что такого, подумаешь, тысяча километров, сел на машину, через Альпы переехал и вечером уже здесь. Машина у них быстрая, это правда, нет, не «Ауди», «Порше». Они на два дня приехали, завтра обратно уже покатят... Вот бы так относиться к жизни, сказал я Двигубскому. Он только плечами пожал, дохотывая. В хмелю веселый был Назар, не знаю уж, по какой связи идей проговорил он, когда мы отошли от бодрых баварцев. *Siena mi fé; disfecemi Maremma...* Сам же он показался мне в то лето постаревшим и каким-то осунувшимся. Я, собственно, никогда прежде не видел его голым. Руки его, как выяснилось, были только в кистях волосатыми; по мере приближения к плечам волосатость свою утрачивали; в плечах появлялась узость, хрупкость, почти болезненная; ключицы выпирали; на длинном и бледном теле, с какими-то почти детскими, очень маленькими сосками грудей, волос не было вообще; волосы возникали вновь на ногах, усиливались и густели с приближением к ступням. Теперь, когда его нет, я думаю о том, как он чувствовал себя в этом нескладном теле. В конце концов, каждый из нас ощущает себя в своем теле по-разному; у каждого из нас свой вкус во рту, своя сухость в горле; наше самое тайное, самое ближнее. Он еще был здоров, и никакая печень у него не болела. А все-таки, кажется мне, он себя неуютно чувствовал в этом теле; что-то как будто мешало ему, раздражало его. Он честно выходил на пляж, каждый день, расстилал на деревянном лежаке всегда одно и то же, огромное, бледно-синее полотенце с идиотским изображением оскаленного в счастливой улыбке белого медведя, тянущегося лапой к бутылке русской водки, затерянной в арктических льдах, предмет моих ежедневных насмешек, аккуратно его разглаживал, презирая, как выражался он, злобную зависть зоилов, честно вытягивался на солнце и довольно быстро начинал, я помню, скучать, ерзать, брался за Светония и Саллюстия, за свои записи, снова откладывал их, нехотя, поддаваясь на Светины и мои уговоры, шел в воду, всякий раз выходил из воды раньше, чем выходила Света или выходил я, ложился снова на кретинское свое полотенце, лежал на нем, уже откровенно томясь и скучая, не наслаждаясь и явно не желая наслаждаться, ни солнцем, ни жаром, ни ощущением соленой воды на коже, ни, вообще, пляжной истомой, южным бездельем, наконец, вздохнув, опять принимался за чтение, не так уж сильно, думал я, отличаясь всем этим от своей дочери, утыкавшейся на соседнем лежаке в телефон, в «Гарри Поттера» и опять в телефон. Наслаждалась Света, лежавшая рядом со мною. Света, натершись кремом, блаженствовала — впрочем, не без вызова, казалось мне, как будто подчеркивая, что вот она-то, Света, умеет радо-



ваться жизни, довольствоваться малым, ценить простые прелести бытия, что приехала отдохнуть — и отдохнет, а вы как хотите. С Двигубским говорила она немного, заговаривать предпочитала со мною, на его, обращенные к ней, слова отвечала намеренно невпопад, посторонней присказкой, как в театре. Что бы такое приготовить нам на обед? спрашивал, отвлекаясь от римлян, П.Д. Маруся отравилась, в больницу повезли, отвечала Светлана. Готовь что хочешь, мне все равно... Эту таинственную Марусю поминала она в то лето чуть ли не каждый день; готовил же у них в семье, как выяснилось, и в самом деле Двигубский, в своем качестве безработного мужа работающей жены, уже отвыкшей заниматься хозяйством. Готовил он плохо. А между тем, снимать каникулярную квартиру, в Маремме или еще где, потому и выгодно, разумеется, что в такой квартире всегда есть плита, посуда и холодильник, и можно готовить самим, не тратя деньги на сомнительную ресторанный пищу, Бог знает на каком масле зажаренную. Готовить никому не хотелось, ни Двигубскому, ни Свете, ни мне. Денег, чтобы каждый день ходить в ресторан, даже недорогой и в смысле масла сомнительный, у них не было, или Света считала, что не было, и, кажется, все-таки не могла простить П.Д., хотя и старалась, что не было. Вновь и вновь всплывала эта тема денег, я помню, для них обоих мучительная. Светины кошачьи глаза делались темными, тусклыми. Я тоже не мог, конечно, платить каждый раз за нас за всех четверых, да они бы и не позволили мне. Сидеть к тому же за столиком в ожидании очередных спагетти, тольятелли и тортеллони в обществе Олиного телефончика и Светинового раздражения было невесело. Раздражение, казалось мне, и связывало их друг с другом... Ни эмиграция, ни годы жизни с Двигубским не излечили ее от советских словечек, всех этих «поезд ушел» и «занимайте места согласно купленным билетам»; Двигубский, казалось мне, уже не готов был больше пропускать все это мимо ушей; помню, как передернуло его и как он не смог или не захотел это скрыть, от чудовищного глагола «устаканиться», привезенного, похоже, Светланой из недавней поездки на родину. Глядя на них в очередной пиццерии, куда мы все-таки, в конце концов, отправлялись, вспоминал я ту Свету, того П.Д., с которыми ездил когда-то в Царское, тому назад пятнадцать, в небытие провалившихся, лет. Еще вспоминал, как в юности приходил, бывало, к Двигубским и, когда мрачный Сережа открывал мне дверь, оказывался как будто в самой гуще семейной ссоры, всех со всеми, но в первую очередь — родителей П.Д., с тех пор, по его словам, очень постаревших и, кажется, наконец помирившихся друг с другом. Сам П.Д., как бы то ни было, когда мы отправили, наконец, его жену и дочку в Париж, прояснился и посветлел; где-то в Провансе, в машине, не могу теперь вспомнить, признался мне, что отношения такие плохие, что он ушел бы, и еще уйдет, быть может, из дому, не знает только, куда и к кому. Уходить, в сущности, некуда, не к кому. Так вот мы и тянем эту безрадостную жизнь, сказал он. *On ne se couche plus d'ailleurs, depuis déjà quelques années.* Признание это было так на него не похоже, что я даже не сразу понял, я помню, эту французскую фразу, которую пробормотал он, на меня не глядя и не ко мне обращаясь. За ветровым стеклом проплывали изумленные кипарисы.

## 68.

Одиннадцатое же сентября застигло нас уже по дороге на хлопкий север, в Оранже. Я чувствовал себя счастливым в тот день, хотя мне и жаль было расставаться с возлюбленным югом. Мы пообедали, я помню, на очередной площади со статуей очередного крестоносца; пообедав, отправились, конечно, к знаменитому римскому амфитеатру, высокой внешней, мощноглыбистой стеною

выходящему на шумную, бульжную улицу. Мопеды тархтели во всю свою вонь, грузовики, пикапы и просто машины грохотали по неровной брусчатке. А все же эта внешняя стена, по ту сторону которой — сцена, и дальше — полукружие вырезанного в скале амфитеатра, каковой амфитеатр и каковую сцену можно увидеть, заплатив небольшую плату за вход, — все же не сам амфитеатр и не сама сцена, но именно эта задняя внешняя, с полукружиями навсегда, как кажется, закрытых дверей, стена, доступная любому прохожему, отделенная от противоположного тротуара, на котором мы и стояли, мопедной вонью и грохотом грузовиков, — именно эта задняя стена поразила нас обоих своей монументальной мощью, архаической непреложностью, своей почти какой-то вавилонской величественностью, какой-то извечностью и (сказал Двигубский) навечностью. На века строили, не просто так себе надолго, а так, чтобы до скончания мира, до конца Рима стояло. Он как-то весь, я помню, подтянулся и вытянулся перед этой стеною. Затем, перейдя через мопедную вонь, долго трогал своими длинными пальцами, узкими ладонями громадные ее глыбы, словно надеясь выщупать, выпросить у них тайну их неизбежности. Вот это могли только древние, сказал он, вот это вместе с Римом погибло. А спросите меня, что — вот это, я и сам не сумею ответить. Я и не думал спрашивать. Я предложил ему, когда мы осмотрели амфитеатр изнутри, подняться на холм над ним, где оказался просторный тенистый парк, по которому мы довольно долго бродили, затем сидели на какой-то скамейке, не помню уже о чем разговаривая, ни о чем не разговаривая, быть может. Вновь и вновь видна была гора Ванту (Ventoux) с ее сине-снежной вершиною, та самая гора Ванту, овеванная ветрами, которая в этой местности видна почти отовсюду и на которую Петрарка взбирался когда-то в странном качестве первого альпиниста... Мы шли, я помню, обратно к машине, чтобы отправиться, наконец, на поиски гостиницы; не дойдя до нее, увидели в каком-то очень затрапезном полубаре-полукафе — столпившихся, уже, похоже, подвыпивших — и, похоже, на мгновение протрезвевших завсегдатаев, остановившихся, как и мы сами, случайных прохожих, всех с почти одинаковым выражением растерянности и ужаса на лице, застывших, задрав голову, перед маленьким экраном повешенного на стену за стойкой бара хрипучего телевизора, где вновь и вновь, с перерывом в несколько минут, в роковой повторяемости, вечном возвращении кошмара сначала первый самолет влетал в первую, затем второй во вторую нью-йоркскую башню. Хорошо помню чувство нереальности, меня охватившее. Я видел то, что я видел. Видел падающие небоскребы, бегущих людей, шквал щебня в пространстве между домами..., но никак не мог соотнести то, что видел на экране, с тем, что видел вокруг, с этим Оранжем, этим днем, этим баром. То, что я видел на экране, было само по себе, а все остальное само по себе. Потрясенные комментаторы, французские и американские, рассказывали, перебивая друг друга, о чем-то, что никакого отношения не имело ни вообще к жизни, ни к моей жизни. Я знал, что это не фильм, не голливудская инсценировка, не science-fiction. Я знал это, но не чувствовал этого. Я сам как будто выпал из реальности на две или три минуты. Двигубский, в конце концов, даже слегка толкнул меня локтем. В глазах его были слезы. Ну вот антракт и закончился, проговорил он очень тихо, так, чтобы никто, кроме меня, не слышал, но почему-то по-французски. Добро пожаловать в новый век. *Bienvenu dans le nouveau siècle...* Мне показалось, он нарочно сказал это, чтобы я не увидел его слез, не заметил его ужаса. Я тоже думал, конечно, о людях, чьи телефонные голоса, молящие о спасении, мы еще слышали и которых, когда мы шли к машине, искали гостиницу, в живых уже не было. В гостинице, довольно, опять-таки, затрапезной, грязноватой и душной, где тоже было что-то вроде бара и стойки с телевизором на стене, мы провели почти весь вечер перед экраном; поужинали

и возвратились опять к телевизору. Двигубский, к алкоголю всегда равнодушный, заказал один «скотч» и сразу за ним другой; уже довольно поздно вечером постучал ко мне в номер; сказал, что не может спать и не сможет; мы снова вышли на улицу. Все мопеды и грузовики уехали и уснули; стучали только наши собственные шаги по бульжнику. Подсвеченная откуда-то сбоку, она вновь явилась нам в своем совершенном молчании, простоте и величии, эта внешняя стена римского амфитеатра, глыбистой гладью возносившаяся в темное небо, неотменно вот такая, какова она есть, чистое воплощение всеохватного замысла.

## 69.

После этой-то нашей поездки, если я правильно понимаю, он и предпринял последнюю большую, самую решительную попытку — все-таки, вопреки всему, несмотря ни на что, борясь и споря с судьбою — написать свою повесть, «Город в долине»; зима 2001—2002 года была для него зимою надежд и отчаяния, отчаяния и надежд. Я пытаюсь теперь, конечно, представить его себе — там, где-то сидящего, в их двухкомнатной *квартирешке*, по его выражению, в так называемом НЛМ'е, французском, если угодно, эквиваленте *хрущобы*, где я никогда не бывал и фотографии которой я пару дней назад попросил Свету прислать мне по электронной почте, что она сделала, как показалось мне по тону ее письма, без большой охоты, но все-таки сделала, так что я могу теперь увидеть, в разных ракурсах, эти две комнатки, впрочем, сильно изменившиеся после его смерти, поскольку Света, как она пишет мне, сразу же, через месяц после похорон, все переставила, не могла больше видеть этот пустующий письменный стол, теперь снесенный в подвал, эту вечную фотографию Ключевского на стене, которую в ту осень и зиму 2001 года окружали, по ее рассказам, довольно многочисленные фотографии начала двадцатого века, людей, лиц и зданий начала двадцатого века, со стены впоследствии снятые, сложенные в пакет и присланные мне вместе с рукописями осенью 2004-го, не могла больше видеть и эти две старинные большие гравюры с французскими и русскими надписями, на одной из коих изображен Большой фонтан в Петергофе, на другой — так называемый Пиль в Павловском парке, гравюры (я тут же их вспомнил), которые висели когда-то у Двигубских в столовой, в Москве (под углом к пресловутым портретам), которые она, Светлана, ухитрилась вывезти за границу в конце девяностых, бесстрашно обманывая и болтовней отвлекая таможенника, и которые она все-таки тоже снесла в подвал, не в силах смотреть на них, заменив их видами Сены и Нотр-Дам, написанными одним ее парижским приятелем-художником из старых русских эмигрантов, отчетливо видимыми на присланных ею мне фотографиях. Я просил ее, в особенности, сделать снимок, лучше пару снимков, из окна его комнаты; я вижу теперь, пусть в компьютере, то же, что видел он, поднимая глаза от рукописи; тот же невеселый вид на другой и соседний, двенадцатизэтажный, если я правильно считаю, НЛМ, закрывающий, хотя и не целиком закрывающий небо, еще один НЛМ, в отдалении и под углом к этому, просвет между ними, небо в этом просвете и, в этом же просвете, далекий, тоненький, только в ясную погоду, наверное, и видимый, но все-таки схваченный Светиной камерой, шпиль Эйфелевой башни, робкое напоминание о том, что действие все же происходит в Париже, а не в другом каком-нибудь, неважно каком европейском городе, посреди, как он бы, наверное, выразился, охватившего весь мир *вторичного упрощенья*. Вот на это-то небо, эту паутинку Эйфелевой башни и смотрел он, следовательно; вот на эти, если вставал от стола и подходил вплотную к окну, совершенно такие же, как везде, как в России, рядом с горками для съезжания на попке, песочницы и качели, где вечно играли, орали, вечно дрались друг с другом арабские, африканские дети. Света уходила в

больницу, Оля в лицей. Двигубский, если ему не надо было ехать на другой конец города рассказывать любознательным старушкам о том, что Россия — это большая страна на востоке, где по улицам гуляют медведи в обнимку с красавицами (Татьяна ах, медведь за ней...), оставался дома один, раскладывал свои рукописи, склонял лысеющую голову над исписанными его поспешным почерком тетрадами и страницами, городом и героем, очередным продолжением, очередным поражением. Какие-нибудь часы тикали, наверное, рядом с ним; звонил, изредка, телефон (телефон, впрочем, в эмиграции не звонит почти никогда); арабско-африканские крики доносились до него снизу; голоса его неудачи. Он написал, тем не менее, за зиму самый большой, самый связный фрагмент из всех, впоследствии присланных мне; довел действие, с большими пропусками, с едва намеченными ходами, до ареста героя, Григория; к весне понял, что ничего у него не получится. В 2002 году мы не виделись; весну и лето он провел, как впоследствии мне рассказывал, в оцепенении отчаяния, с чувством окончательного крушения, отсутствия большой задачи, способной дать жизни смысл, блеск и упругость...; осенью начал преподавать в университете в Монпелье, где неожиданно получил годовой контракт на полставки, что, в свою очередь, было довольно бессмысленно, поскольку деньги, им зарабатываемые, почти целиком уходили на дорогу и на ночлег; он надеялся, конечно, на какое-то, опять, продолжение; продолжения опять не последовало. С октября 2002 по июнь 2003 года, за вычетом рождественских, понятное дело, каникул, снова ездил он, как когда-то в Дижон, на два или на три дня в неделю, на сей раз — на юг, на тот благословенный, столь любимый им юг Франции, по которому мы с ним путешествовали, не заехав, как будто нарочно (говорил он мне по телефону), в Монпелье, чтобы (говорил он) не портить то путешествие отсветом скучного будущего; сам Монпелье, по его словам, был город скучнейший, пыльный, промышленный, очень арабский... Зимой пошла полоса потерь; Константин Павлович, вдруг задохнувшись на еще новогодней, в святящихся елочках, улице, умер в Москве, в самом начале января 2003 года; Павел, к тому времени выправивший себе паспорт, слетал в Россию, впервые за девять лет, на три дня — и затем говорил мне, в оцепенении отчаяния, что нечего было спешить обратно, можно было бы поспеть и на другие похороны, в Петербург. Любимая его тетка, мной никогда не виданная, старшая сестра Константина Павловича, столь же внезапно и без видимых причин умерла, через неделю после похорон брата возвратившись в свою пустую большую квартиру на Петроградской стороне — квартиру, оказавшуюся вдруг переписанной на имя, как запомнил я со слов Двигубского, некоей гражданки Кондыриной, Евгении Степановны, жительницы Лодейного Поля, каковая гражданка Кондырина, оставаясь, впрочем, невидимой и действуя через рычащего в телефон адвоката, тут же и предъявила, разумеется, свои права на *жилплощадь*, вкупе с имеющейся у нее *дарственной*. Вскрытие показало инфаркт; экспертиза подтвердила подлинность подписи. Бизнесмен Сережа, к тому времени уже владелец туристической фирмы, посылавшей счастливых представителей нового среднего класса отдохнуть на Канарах, Багамах, Бермудах, взял на себя, как единственный в их семье деловой человек, судебные вязкие хлопоты, не забыв, впрочем, предложить своим безденежным брату и сестре разделить с ним грядущие расходы, и в случае выигрыша, и в случае проигрыша их дела весьма, по-видимому, значительные... Полагаю, что необходимость каждую неделю ехать с сумкой на Лионский вокзал, спешить, в железнодорожной толчее, к нужной платформе, покупать газету, апельсиновый сок в пластмассовой баночке и пару длинных узких французских сэндвичей в ларьке и киоске, затем три с половиной часа сидеть в скоростном поезде (так называемом TGV) «Париж—Перпиньян» (с остановкою в Монпелье и следующей остановкой, до которой никогда не доезжал он, в незабываемом Сете),

глядя на пролетающий мимо, все более южный, все более пиниевый пейзаж, добираться на автобусе до той комнаты в общежитии, которую он снимал, готовить занятия, выслушивать студенческие рефераты и читать домашние работы все о той же революции и Гражданской войне в России, о великих реформах и реформах стольпинских, о Серебряном веке и религиозно-философском ренессансе, столь многое суливших, столь страшно закончившихся, затем, в конце недели, проделывать всю дорогу в обратном порядке, добираться на автобусе до вокзала, покупать круассан и газету, садиться в поезд, смотреть на пинии, реденющие за окнами, — полагаю, что все это если не помогало Двигубскому справиться с его горем, то хотя бы помогало ему отвлечься, забыть. Странное дело, но именно тогда, если я правильно помню и понимаю, он вдруг попытался возвратиться к своей давным-давно заброшенной докторской (в русских терминах) диссертации, к которой, и тоже — давным-давно, утратил всякий интерес, о которой вновь и вновь напоминала ему, разумеется, Света, надеявшаяся, и в общем не без оснований, что завершение и защита оной повысили бы его шансы получить постоянное место...; вновь и вновь, дома ли, в поезде, разложив свои тетрадки на столе или на откидном столике, приделанном к спинке переднего сиденья, возвращался (все-таки, вопреки всему, отбрасывая ученые книги, споря с судьбою) к своей безнадежной повести, Григорию, городу, гибели, вновь и вновь приходя в отчаяние от аргамаков и армяков, поручиков и управ, от литературности литературы, невозможности сюжета и фабулы, роковой вторичности зловещих тем двадцатого века, неуместности их в двадцать первом. Моя, если угодно, *проблема*, говорил он мне осенью 2003-го, когда я снова, в очередной раз, приехал в Париж, моя *проблема*, знаете ли, Макушинский, вовсе не в том, что я никак не могу написать эту проклятую повесть, Бог с ней и черт с ней, в конце концов, с этой повестью, но проблема моя в том, что я никак не могу перестать писать ее, отстать от нее, наконец. Это она не отстает от меня, разумеется. Я не схожу с ума и не впадаю в экзальтацию, уж поверьте. В лице его ничего экзальтированного, действительно, не было; была только печаль. Но кто-то словно поселился во мне, какой-то, вот, персонаж, да: Григорий, как в конце концов я его назвал, когда-то, когда мне самому было двадцать с чем-то лет, столько же, сколько было ему ко времени его гибели, поселился, и начал жить во мне, и прожил во мне все эти годы, со мной переехал в Париж, со мною ездил в Дижон, в Монпелье, со мной летал зимою в Москву. Я состарился, а он все такой же. А я сначала и не понимал, может быть, что это значит. Сначала, сказал Двигубский, глядя в сторону, в серое небо, я и не замечал ничего, все еще было просто, понятно, в той молодости, которую я почти уже и не способен представить себе, еще все можно было, наверное, переменить, перевернуть, переделать, еще моя жизнь была моей, или хоть казалось мне моей собственной, никому другому не подвластной, не принадлежащей. А между тем, уже очертания ее смещались, уже сдвигались контуры, уже чужие тени, чужие отблески по ней пробегали... Я понял это только здесь, в Париже, сказал он. Париж лежал в этот миг перед нами, под нами, весь целиком, как тот безымянный маленький город, город в долине, лежал перед гороем его повести, в осенней, как и тот город, сизо-серой, светящейся дымке.

### 73.

Мы проехали на метро те несколько остановок, которые отделяют одну арку от другой, титаническую от триумфальной...; а впрочем, сказал Двигубский, это наши масштабы, наверное, изменились, кто знает, девятнадцатый век и в этой арке видел, может быть, то сверхмерно-монументальное, что мы видим в той? Разве Эйфелева башня не кажется нам теперь почти уютной, а как относились к

ней современники, слишком известно. Я сказал ему, что наблюдать за сумасшедшим движением машин вокруг Триумфальной арки всегда доставляло мне некое садо-мазохистское удовольствие; минут пять, может быть, стояли мы, глядя на эти, даже воскресеньем не утихомирившиеся, потоки вырывающихся на площадь машин, замирающих, пропускающих соседний поток, вновь дергающихся, готовых столкнуться, не сталкивающихся с другими, шалеющих от собственной дерзости, шарахающихся от какой-нибудь одной, особенно наглой, поросячье-розовой, крутолобой машинки, вылетающей на площадь, как балерина из-за кулис на подмости, в чудесный мир опасностей и безумств, страсти, гибели и восторга...; затем пошли, наконец, по толкливым и шумным, как всегда, Елисейским Полям; шума не выдержав, свернули направо, на авеню Георга Пятого, и сразу налево, в улицу Франциска Первого, одну из прелестнейших улиц Парижа, одновременно тихую и парадную. Как я все-таки завидую вам, Двигубский, что вы живете в этом лучшем из городов. Он ответил, что завидовать нечего, зависть чувство неплодотворное, и вообще, как писал, если я помню, Бодлер, жизнь — это госпиталь, где все больные мечтают поменять койку. Один хотел бы страдать у печки, а другой надеется выздороветь у окна... Я подумал о Константине Павловиче, конечно; он тоже о нем подумал. Я не решался заговорить с ним об отце; он сам заговорил со мною о нем. Время уходит, Макушинский, сказал он, вот прошло уже девять месяцев, пошел десятый, уже скоро год, уже случились разные вещи, о которых отец его никогда не узнает, уже он, Двигубский, что-то пережил, понял, почувствовал и прочитал, о чем отцу не расскажет никогда, никогда... Он перекрутил шарф, провел длинными пальцами по остаткам рудинской шевелюры. Мы сели за наружный, с золотыми ножками, столик какого-то кафе, не могу теперь вспомнить, где именно, на углу, наверное, авеню де Монтень, если там есть кафе... впрочем, неважно. Прошла, вот это я помню, сухая дама, типично парижская, с холеной и злобной, состоявшей из жирных складок, набегавших на тупую мордочку с набок высунутым, каким-то омерзительно человеческим язычком, собачонкой той неопределенной породы, которая сделалась в последние годы модной, одной из тех, сделавшихся в последние годы модными собачьих пород, как будто соревнующихся друг с другом в приближении к некоему недостижимому идеалу уродства. Собачонка попыталась зарычать на нас, дама ее одернула. Он разбирает теперь бумаги отца, привезенные из России, говорил Двигубский; из бумаг этих выясняется многое; подтверждаются многие его подозрения. Он спросил у бойкого гарсона в красном фартуке кофе и сэндвич с сыром; я ждал, что он скажет. Выясняется, например, что отец его, о чем он никогда не говорил со своими детьми, все-таки вынужден был проделать тот путь разочарования в коммунистической идее, в великой утопии, который прошли столь многие в его поколении. Не может быть! сказал я. Константин Павлович! быть не может. И все же это так, как ни странно; его юношеские дневники полны рассуждений о непогрешимости марксистского учения, о том, что партия, при всех досадных ошибках и неприятных недоразумениях, вроде ареста его же собственного отца, моего дедушки, ведет весь мир к светлому будущему, и если не весь мир и не к совсем уж светлому будущему, то, во всяком случае, никак нельзя отрицать заслуги большевиков в деле ликвидации безграмотности и электрификации всей страны, и вообще великие идеи справедливости и социального равенства вдохновляли уже, как сказано в дневнике сорок седьмого, кажется, года, мудрецов древности и великих учителей человечества. Автору в это время семнадцать лет, отец его, то есть мой дедушка, уже год как в лагере, мама работает машинисткой в какой-то строительной конторе и тоже, кажется, еще верит, что Сталин кровавый негодяй, а вот Ленин был хороший, и вообще

революция была неизбежностью и величайшим событием всей мировой истории. Они оба поверили в это в юности, мои дед и бабушка väterlicherseits, говорил Двигубский, растирая ложечкой коричневую кофейную пену по бортикам керамической чашечки, дедушка, как я уже, наверное, рассказывал вам, был химик и учился во Фрейбурге. Брат его в двадцать третьем году ухитрился уехать в Берлин и оттуда во Францию. Дедушка мой тоже часто бывал в Германии в двадцатые годы, закупая, кажется, какое-то оборудование для первых советских лабораторий. Вот эти-то лаборатории, значит, и должны были вывести несчастную отсталую Россию из мрака невежества на чистый солнечный свет современной науки, а уж наука-то точно должна была устроить все по-новому, разумно и правильно... Нам теперь легко смеяться над этим, говорил Двигубский, а они платили за все свои иллюзии по самой полной цене. Другое дело — моя мама, говорил он. У мамы, мне кажется, никаких иллюзий не было никогда, даже в детстве. Это заслуга моей бабушки mütterlicherseits, так я думаю, единственной из моих grands-parents, кого я знал. Я вспомнил, конечно, как и теперь вспоминаю, фотографию, показанную мне Двигубским когда-то, чудесные портреты в их московской столовой, введенные им в его повесть, подаренные герою. Отец, когда они познакомились, продолжал он, по-прежнему размазывая кофейную пену по стенкам чашечки, как будто гадая по ней и спрашивая ответа, если не о будущем, то хотя бы о прошлом, отец, судя по его дневникам, был даже отчасти шокирован откровенной и намеренной старорежимностью своей будущей тещи, всего их уклада. Старорежимность, в самом деле, была вызывающая, это уже на моей памяти. А познакомились мои родители, между прочим, в дни двадцатого съезда, странно, да? говорил Двигубский, то есть не то странно, что именно в дни двадцатого съезда, а просто странно теперь, через столько лет, читать его дневниковую запись от 24 февраля 1956 года, за день, следовательно, до пресловутого закрытого доклада, о знакомстве с белокурой девушкой Леной, студенткой филологического факультета. Уже никаких иллюзий у него, наверное, не было, но слухи о закрытом докладе его потрясли, это видно. Наступает счастливое время, так у него и написано. А оно как наступило, так и закончилось. Брак их счастливым, во всяком случае, не был, говорил Двигубский. И потому, разумеется, не был, что отец его был ловелас... быть не может! снова сказал я... да, отец его был завятой и убежденный ловелас, о чем он, Павел, начал догадываться лет, пожалуй, в пятнадцать. То есть до самого, кажется, последнего времени, последних болезней были какие-то романы с аспирантками его кафедры, сотрудницами его института. Была одно время как бы официальная любовница, умопомрачительной, что называется, красоты... Он чувствовал себя брошенным в детстве, да, говорил Двигубский, вставая, после смерти бабушки, просто-напросто брошенным. Отец был весь в своей науке, своих романах, а мама всегда жила, и до сих пор живет какой-то совсем особенной, действительно — внутренней, то есть где-то внутри протекавшей и протекающей, наружу не проникающей жизнью. Мне всегда казалось, заметил я, что ваша мама постоянно думает о чем-то своем. Так оно и есть, разумеется, ответил Двигубский, только она сама, наверное, не смогла бы сказать, о чем именно. Это какой-то смещенный мир, в который никто никогда не заглядывал. При этом она все решала в доме; все мы ее боялись; боялись ее внезапного гнева, ее язвительных шуток; зависели от ее настроения. Мама сегодня встала добрая... А если встала недобрая, то лучше было ей на глаза не попадаться. Мы шли уже дальше, по рю Байар к Сене, через мост Инвалидов на левый берег. Отец еще любил приближать к себе кого-нибудь, вас, до вас Мороза, Сашу Морозова, помните, я рассказывал вам? как будто находя в этих, собственно, моих приятелях что-то, чего я не мог дать ему, или,

наоборот, находя в себе возможность, или способность, или силы, дать им что-то такое, чего он не мог дать мне, или Сереже, или Марине. Сережа вообще очень рано перестал с кем-нибудь разговаривать; Марина, сколько я помню ее, мечтала выйти замуж и зажечь своей жизнью; так и случилось. Муж ее — чужак на букву «м», как мы выражались в молодости, но не в этом дело. Теперь она, кажется, направо и налево ему изменяет. Это я оказался каким-то моногамным существом, прибавил Двигубский, с презрением к себе самому в глухом голосе. Уже смеркалось, я помню, по Сене шли, как всегда, разноцветные Bateaux Mouches, внизу, у булыжной набережной, покачивались черные лодки, валялись бутылки, бумаги, битое стекло под платанами. Все это ерунда, сказал, наконец, Двигубский; а вот хочу ли я знать, кого он на днях встретил в одной случайной компании? я, конечно, хотел. Ику, вот кого! художника Ику, помню ли я такого? Ика, оказывается, уехал в конце восьмидесятых сюда, в Париж, но здесь почему-то не задержался, перебрался в Америку, в Америке преуспел, пишет огромные, многометровые, почти безлюдные, не то что в прошлом, полотна, очень выразительные, судя по каталогам, которые Двигубскому довелось видеть, пустые призрачные пейзажи, охотно покупаемые разными музеями в разных странах, и в Токио, и в Торонто, — и теперь, похоже, собирается опять и надолго обосноваться в Париже. Сам он стал старый, совершенно седой, но старость ему идет; старость такая упругая, уверенная в себе; свободная и спокойная. Какая же старость? сказал я; ему сейчас может быть от силы лет пятьдесят... Ну, значит, старость, как некий обретенный им *ego* возраст, правильный для него возраст. Я подумал, конечно, о моих, застывших в соприродном им возрасте французских друзьях, в тот, очередной, раз пригласивших меня жить у них в пятнадцатом округе. Возраст, вдруг сказал Двигубский, до которого я сам не дожил, которого не нашел... Хотите, зайдем к нему? Он снимает мастерскую здесь где-то рядом, в шикарном месте, чуть ли не на Boulevard Saint-Germain. Мы не попали к Ике в тот день; Двигубский, обращаясь с извлеченным из холщевой сумки мобильным телефоном как с опасным зверьком, который может, чего доброго, оцарапать или укусить, несколько раз набирал Икин номер, всякий раз заново, не в силах справиться с кнопкой повтора, считывая его с визитной Икиной карточки, очень большой, как в Париже тогда было модно, с расплывчатым деревом и лазурными облаками на обороте; автоответчик всякий раз сообщал ему по-английски и по-французски, что Ика недосыгаем, так что я встретился с ним только через три года, без Двигубского, уже лежавшего в пригородной больнице для безнадежных, и побывал, в самом деле, в роскошной его мастерской, если и не совсем, как некогда, на чердаке, то, во всяком случае, над последним жилым этажом, где Ика снимал, впридачу к мастерской, небольшую квартиру, в одном из тех восхитительных, безумно и безудержно дорогих парижских домов, доставшихся нашему стеклянному и бетонному времени в наследство от Belle Époque, в каких ни, к примеру, Двигубский, ни я, ни кто другой из наших эмигрантских знакомых даже не мечтал никогда поселиться; сидя перед занимавшей всю высокую стену до, почти, потолка, действительно прелестной в своей пустоте и отрешенности, с едва намеченным в прозрачной голубизне неба далеким и сказочным ландшафтом, картиной, над которой седой и счастливый Ика тогда работал и которая теперь висит, если я ничего не путаю, в Аделаиде, подливая себе и другу другу терпкий, затем горький зеленый чай из чугунного черного японского чайника (Ика, к несказанному моему изумлению, оказался тоже отчасти буддистом), говорили мы, я помню, о том, что в жизни ничего не кончается, все, однажды наметившееся, получает какое-нибудь, но продолжение, все отзывается, все находит эхо и отклик. А вместе с тем, все исчезает бесследно, как будто ничего и не было, в лазурном небе, в дымке дальнего плана... Куда мы



еще пошли с Двигубским в то осеннее воскресенье 2003 года, после неудачной попытки повидаться с Икой, и где расстались, я не могу теперь вспомнить. Через день после моего возвращения в Эйхштетт я узнал о внезапной, невероятной, в пятьдесят шесть лет, в гостях у пациента, смерти Ф.Е.Б., моего дорогого друга, лучшего и умнейшего человека, мне встретившегося. Так полоса потерь началась и в моей жизни тоже; моя мама умерла еще через два года, в декабре 2005-го, после второго инсульта, в регенсбургской больнице.

#### 74.

Осенью 2004 года я получил по почте пухлый пакет из Парижа. Разрезав и размотав желтую клейкую ленту, которой он был перевязан, я обнаружил в нем три большие, толстые, синие, русские, с истрепавшимися тесемками, папки и шесть общих тетрадей, пронумерованных и с пронумерованными страницами, среди них одну, опять-таки, русскую, в пожелтевшей картонной обложке, с надписью «Общая тетрадь», сделанной тем косеньким почерком, каким в нашем детстве писали фильмовые титры («Фитиль») и уличные вывески («Кулинария»), почерком, не изменившимся годов, наверно, с сороковых, будто бы свойственным прилежным советским школьникам, со вздохом встающим из-за парты, под критическим взглядом товарища Молотова; и пять (перелетаем в другую эпоху, на другую планету) тетрадей французских, темно-фиолетовых, со светло-фиолетовыми, вертикальными и горизонтальными полосами — дизайн французской фирмы Clairefontaine, очевидно, однажды ему приглянувшийся, тетради же этой фирмы, продающиеся и в Германии тоже, отличаются необыкновенной гладкостью и белизною бумаги, так что я очень хорошо представляю себе, как скользило по ней открытое золотое перо его ручки, привезенной еще из России (перелетаем обратно), подаренной ему родителями после окончания школы (на моей памяти он никогда не писал другой; возил ее всюду с собою; хранил, вообще, верность вещам...). В одной из папок лежали (и лежат до сих пор; вот она) старые, в основном, фотографии, которые Двигубский, о чем он сам однажды рассказывал мне, отыскивал и покупал у букинистов и у старьевщиков, на блошиных рынках, вырезывал из газет, из иллюстрированных журналов. Фотографии, как и вырезки, упакованы в большие почтовые конверты, конверты сложены в эту папку с тесемками. Почему та или иная карточка лежит в том конверте или ином, непонятно; кажется, что он просто запихивал их куда придется. Всего более лица интересовали его, лица начала века, столь не похожие на лица теперешние. Попадают лица людей известных; фотография Распутина; почему-то Блаватской; вообще лица медиумов. Белые генералы и офицеры в бесчисленных вариациях. Тут же рядом комиссары, чекисты. Из двух папок с рукописями первая, кажется мне, восходит к началу девяностых, если не к восьмидесятым годам; уже по самым ранним, насколько я смею судить, фрагментам видно, как он вновь и вновь принимается за свою повесть — и как ни один из вариантов не удовлетворяет его. Первая глава переписана, может быть, тридцать раз. Раз тридцать, если не больше, встречается страница с подчеркнутой надписью «Город в долине. Повесть». За каковой надписью следует, с ничтожными разночтениями, эта первая глава, которую он переписывает как будто вновь и вновь, надеясь, очевидно, взять разгон и справиться, наконец, с продолжением, с главой второй, где терпит, вновь и вновь, поражение. Всякий раз герой, в самых ранних фрагментах еще безмянный, затем уже однозначно и навсегда — Григорий, смотрит сверху на город, видит его весь целиком, со всеми его куполами — и как только спускается в долину, все разваливается, разваливаются фразы, распадаются образы, не успев возникнуть, теряются персонажи. Неудивительно, что он помнил ее, эту первую главу, наизусть... Чер-

нильными кляксами, росчерками, прочерками, профилями на полях отмечен путь его неудачи. Вторая папка, если я смею судить, начинается с уже упоминавшегося наиболее подробного варианта повести, написанного после нашей южной поездки, зимой 2001—2002 года, состоящего из пятидесяти пяти, в эти годы каким-то особенно убористым, словно сжавшимся от напряжения почерком, исписанных им страниц. Вариант этот, как и все другие, обрывается, почерк делается на последних страницах почти нечитаемым, растекается очередными кляксами, отменяет себя же в яростных и безнадежных зачеркиваниях. Отдельные листочки бывают сцеплены поржавевшими за годы его мучений железными скрепками, рыжий след оставляющими на бумаге; некоторые, включая пятьдесят пять страниц, упомянутых только что, вложены в целлофановые прозрачные папочки. Но есть и просто листочки, две или три странички, образующие, очевидно, единое целое, во всяком случае, написанные, надо полагать, в один день, или за два-три дня подряд, в промежутке между вновь вспыхнувшей надеждой и очередным поражением, но все же, видимо, не показавшиеся ему достаточно важными, чтобы положить их в отдельную папочку или скрепить, по крайней мере, металлической скрепкой. Есть и просто листочки, ни к чему, как кажется, не относящиеся, сами по себе, лишённые продолженья... Я сидел, я помню, в Эйштетте, разложив перед собой все это на журнальном столе в гостиной — и только диву давался; солнечный день за окнами дивился вместе со мною. Никакого сопроводительного письма не было. После некоторых колебаний я сам написал Двигубскому (по электронной, разумеется, почте). Если, дорогой Павел, вы действовали в состоянии аффекта и теперь раскаиваетесь, то я могу послать Вам все бумаги обратно; если нет, то сообщите все-таки, как мне ими распорядиться. Ответ пришел недели, кажется, через две. А как хотите, хоть в газетах печатайте. Или велите патронов из них наделать... Если же говорить всерьез, то он просит меня сохранить эти бумаги, пока; буду ли я читать их, ему все равно. Он просто не мог больше держать их у себя дома, а уничтожить их у него рука не поднялась. Надо как-то покончить с этим наваждением, не возвращаться к злосчастному мороку, заставить себя заняться чем-то другим. А если рукописи дома, он рано или поздно опять их раскроет, и все начнется сначала. Он действовал и вправду в припадке отчаяния, но он не раскаивается в содеянном. Рукописи у меня в сохранности, а он все-таки должен, пока не поздно, попытаться выйти из этого тупика, вывернуть этот сорвавшийся винт. Он принимает свое поражение, пусть так... Света написала мне сегодня, отвечая на мой вопрос, что нет, осенью 2004-го никаких признаков его болезни еще заметно не было, первые признаки появились позже, примерно через полгода, она очень хорошо помнит, как вдруг, в один весенний, уже почти летний, жаркий и горький день осознала, что его худоба не просто так себе худоба, и что его вечно обложенный, с желто-зеленой слизью язык, кислый вкус во рту и боли в верхней части живота, на которые он начал в ту пору жаловаться, что все это суть симптомы и что надо немедленно, так выразилась она в сегодняшнем своем письме, класть его на обследование. Они, как я, наверное, догадываюсь, не всегда были счастливы вместе. Она только теперь понимает, как сильно его любила.

## 75.

Вот *схема действия*, как он называет ее, записанная им в тетради № 4, воспроизведенная, с довольно значительными изменениями, в тетради № 5, и, еще раз, уже почти без изменений, в шестой тетради, до конца не исписанной; привожу этот последний вариант: Григорий; въезд в город; площадь, вокзал, сад, раскоряки; поездка в имение с кап. Степановым; возвращение, разговор с полковником; спрашивает себе отпуск; на другой день остается один; гостиница,

хозяин гостиницы; обходит город еще раз; дом, где жила Лидия; все повторяется, вокзал, площадь, сад, раскоряки; из-за сцены выходит тов. С., разговор с ним; опять гостиница; отсыпается там; перемена погоды; еще персонажи; ему все советуют уехать; вокзал; не уезжает; налет. Город захватывают «зеленые»; бабка, Кудеяр, царь-Иван. Кудеяр уходит, остается «правительство». Зеленое правительство, «коалиционное правительство»; «республика», анархисты, большевики, местный сброд. Лидия! Лидия, учительница, подруга Кудеяра. Григорий пытается бежать; прячется у Лидиной тетки; его схватывают. Товарищ Сергей, главный чекист. Тов. С. хочет расстрелять его. В город приезжают Кудеяр и Лидия. Лидия узнает его. Просит за него Кудеяра. Кудеяр не позволяет расстреливать. Товарищ Сергей инсценирует побег. Финал. Гибель.

#### 76.

Одну и ту же историю, пишет Двигубский (и эту мысль тоже записывает он несколько раз, в разных тетрадах, в разные годы...), одну и ту же историю можно, разумеется, рассказать по-разному, очень или не очень подробно, к примеру, совсем кратко, допустим, с диалогами или без диалогов, соотнеся или не соотнеся ее с каким-то определенным временем, узнаваемым местом. Рассказанная по-разному, останется ли она сама собой, той же самой, одной и той же историей? Я не знаю, пишет Двигубский. Если — да, пишет он, то, значит, она каким-то таинственным образом существует сама по себе, по ту сторону слов, помимо всех вариантов... Помимо всех вариантов и по ту сторону слов рассказать ее, разумеется, невозможно, но никакому сомнению не подлежит теперь для меня, что во всех своих тетрадах и рукописях, при всем разнообразии испробованных и отвергнутых им ходов, при всей путанице ветвящихся, всякий раз в тупик и в никуда заводящих дорог, дорожек, тропинок, он рассказывает все одну и ту же, ту же самую, все время, историю, рассказать которую он все-таки не сумел, ни более, ни менее подробно, к примеру, ни совсем кратко, допустим, ни с диалогами, ни без диалогов; историю, думаю я теперь, разбирая его бумаги и рукописи, которая сама, может быть, не позволила ему себя рассказать, предпочтя остаться где-то там, по ту сторону слов, в мире чистых идей и не осуществившихся, не запятнанных осуществлением возможностей; мысль, сама по себе, конечно, абсурдная; все-таки не покидающая меня.

#### 77.

Вновь и вновь, в разных тетрадах, в разные эпохи жизни, возвращается он к самому, надо полагать, для него главному, к герою, Григорию, продумывая его биографию, основную канву которой он рассказал мне некогда в Гейдельберге, вновь и вновь, в разных тетрадах и рукописях, варьируя все те же и те же темы — например, тему детства и юности, людей юности и людей детства, как он называет их. Есть люди детства, пишет он, люди замечательного, яркого, незабываемого детства, сверкающего, как роса на траве, и есть люди юности, люди значительной, часто трудной, полыхающей то зарницами, то пожарами юности, патетической юности, задающей тон всей их дальнейшей жизни. Первые все помнят, вторые осуждены вспоминать. «Между помнить и вспомнить, други...», цитирует он Ахматову. Людям детства вспоминать незачем, они все помнят и так, детство их всегда рядом, всегда за углом. Таким человеком был, конечно, Набоков, не зря писавший в «Других берегах» о своей бездарной во всех отношениях юности. Юность не нужна таким людям, они живут тем огромным зарядом счастья, который получили в детстве, запасом счастья, которого хватает им

на всю жизнь. Люди юности вдруг начинают жить. В шестнадцать лет, на даче, он вдруг проснулся и начал жить, говорит Мандельштам. «Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым...». Детство — далекий сон для таких людей, пишет в другом месте Двигубский. Где-то там, когда-то там было детство... Ну, было и было. Интересно становится потом, когда прочитаны первые книги, подуманы первые мысли. Григорий — человек детства. Всеволод — человек юности. Поэтому Григорий ничего, собственно, и не вспоминает, возвратившись в город, это я, автор, за него вспоминаю, пишет Двигубский. Он видит вокзал, или площадь, или, в городском саду, раскоряки, просто видит их, ни о каком прошлом не думая. Прошлое само о себе позаботится, оно уже здесь, он идет и проходит сквозь него. Он живет сразу во всех временах, сам этого, быть может, не замечая. Потому он для Всеволода загадка. Он вообще для Всеволода загадка. Мы же и смотрим на него глазами Всеволода, изумленными глазами Всеволода, пишет Двигубский — развивающий эти мысли не только в своих рабочих тетрадях, конечно, но и в самом тексте, много раз, в разных рукописях. Вспоминать, пишет он, например, о Григории в самом, как уже сказано, подробном варианте 2001 года, вспоминать, вообще говоря, ему не было свойственно. Вспоминать — дело Всеволода (говорил он когда-то). Удел и дело (отвечал Всеволод). Come on, old punster... Всеволод, в самом деле: Всеволод, его, Григория, старший, на пять лет старший брат, которого он, Григорий, если думал о нем, всякий или почти всякий раз воображал себе в том кафе в любезном его, то есть Всеволодову, сердцу Париже, где он, Григорий, в последний раз его видел — в том левобережном, конечно, кафе, с золотоногими, на тротуаре под красным тентом стоящими столиками, где Всеволод некогда был и (но этого Григорий не знал) скоро снова должен был сделаться завсегдатаем — Всеволод, в самом деле, вспоминал всегда, с юности; очень рано начал *оглядываться*, сводя брови, всматриваясь — и вновь всматриваясь в исчезающее, исчезнувшее, уходящее, проходящее, прошлое... ужасаясь исчезновенью, еще не зная, конечно, но уже втайне, быть может, догадываясь, что вот так и будет потом всю жизнь, что вот так он и будет потом, всю жизнь, оглядываться, сводя свои брови, сидя в кафе, доставая *Голуаз* из кармана, записную книжку оттуда же, черную, с резинкой, не дающей ей в недолжное время раскрыться, со следами долгого ношения в царапающем соседстве с ключами, монетами, прочей мелочью, книжку, наполненную этими обратными взглядами, удержанным прошлым, ужасом времени. Потому что все оттуда исходит и туда возвращается; оттуда, откуда-то, из этого сумрака, этого первого дня среди каких-то, темных, деревьев... Григорий, почти никогда не вспоминая, все помнил. И если не все помнил, то помнил так ясно, столь многое, как и сколько Всеволоду вспомнить не удавалось; уже в четырнадцать каких-нибудь лет поражал своего в то время девятнадцатилетнего брата точностью сохранных, верней — сохранившихся, поскольку он как раз не хранил их, не думал о них, не берег их, деталей; мог сказать, например, что вот, когда они ездили в Биарриц (а ездили они туда всего один раз, когда ему, Григорию, было четыре года), там, в «Палас-Отеле», с его великолепным, приглушенно-гулким, мраморным холлом и цветными окнами в так называемой чайной гостиной, была полубезумная англичанка, мисс Флоренс Джонсон, правда Джонсон, и правда, что менее удивительно, Флоренс, старая дева, утверждавшая, что общается с духами. Да, я помню, говорил Всеволод, но ты помнить не можешь. Как же я не помню, я помню, она говорила с отцом, в гостиной, о Сведенборге, а я стоял рядом и слушал, я, конечно, не знал, кто такой Сведенборг, и она вытащила из ридикюля анисовую конфету, самую невкусную в моей жизни, и протянула мне со словами, что духи всегда вокруг и всегда со мной рядом, about you, my dear

child, always about you, и потом принялась смотреть в камин и уже ничего не сказала, и отец, пожав плечами, увел меня от нее, и когда бывал сильный ветер, и мы все сидели на застекленной веранде, она одна выходила на пляж, и, пошатываясь, что-то кричала волнам. Просто какой-то король Лир в юбке, говорил... кто говорил это, автор так, похоже, и не придумал, в рукописи пропуск, начинается следующая глава.

## 78.

Григорий все помнит, пишет он в предпоследней, пятой тетради, и он сразу весь *дан*. Всеволод — задание, Григорий — данность, пишет Двигубский. А жизнь ведь вообще есть задание, задание, которое мы не можем выполнить. *Das alles war Auftrag, aber bewältigtest du's?* Но Григорий сам есть данность, и жизнь для него просто данность. Просто вот она, без всяких заданий. Поэтому он не *ищет*. Он покоится в себе, кажется Всеволоду. Всеволод ищет, Григорий уже нашел. Нет, не так! восклицает Двигубский. Григорий и не искал никогда, ему искать незачем. Григорий кажется Всеволоду, пишет П.Д. в другом месте, человеком не ищущим, но нашедшим, изначально нашедшим, еще до начала всех поисков, до начала всей жизни, что-то такое, выходит, преджизненное, предвечное знающим. А сам он, Всеволод, ищущий, нет! не столько даже ищущий, сколько изначально отчаявшийся найти. Вот в чем дело. Всеволод даже и не верит, что сможет найти что-то, какой-то *ответ* в жизни. Ответ, может быть, есть, но он не верит, что сможет его найти. Поэтому он, Всеволод, пишет Двигубский, я же, когда читаю это теперь, думаю, конечно, что не зря он называл Всеволода то своим заместителем, то своим представителем в повести, поэтому Всеволод всегда живет на грани отчаяния, в самом его преддверье. Только писательство спасает его; иногда. Григорию отчаянье незнакомо. Жизнь для него просто жизнь, вот такая, какая есть. Он живет чем-то иным, каким-то предмирным знанием, как дети. Он наивен (в шиллеровском смысле). Всеволод сентиментален, Григорий наивен. А между тем, он ведь занимается философией; зачем может заниматься философией такой человек? А я знаю, что он занимается философией, пишет Двигубский, я не могу сделать его ботаником или химиком. Опять-таки: почему? Он сам настолько целен, или, лучше, философским языком: сам настолько *целое*, что не способен увлечься на всю жизнь какой-то *частной* дисциплиной. Он способен увлечься на день, на месяц и даже на год. Но он знает, что никогда не сможет посвятить всего себя какой-то частной дисциплине, определенной науке. Цельность перед лицом целого. Разговор целого с целым. Философия предполагает исканья, сомненья... В этом смысле он не философ. Но он хочет выразить свое предмирное знание о мире. Он как будто сверяет его с тем, что знают о мире Платон, Кант, Шопенгауэр. И его увлекает игра ума. Не в частностях, но в целом. Он занимается логикой, но он никогда не стал бы логиком. Его увлекают игра и мощь мысли, стремящейся охватить целое, помыслить целое, создать целое в себе же самой. Для него философия не поиски ответа на вопрос, как быть и что делать, но всеохватывающий взгляд на мир, но позиция целого пред лицом целого, ответ цельности на целое. Он, как философствующий субъект, равновелик миру и внеположен ему. Он буквально — не от мира сего (в жизни вполне — от мира). Ему нужна и важна эта неотмирность, внемирность... Какой-то (от тетрадей перехожу снова к рукописям): какой-то — и даже, быть может, важнейшей — частью нашей, если угодно, сущности мы все живем, разумеется, вне — чего бы то ни было, вне происходящего вокруг нас, и даже вне происходящего с нами, по ту сторону нашей собственной жизни. Он очень остро чувствовал, отчетливо сознавал в себе эту часть; ценил в себе сознание этой части — не прямым, но в

высшей степени косвенным образом связанное с его философскими штудиями, которые, в свою очередь, казались ему временами не столько попыткой определить или, например, описать эту *внешнюю жизни*, хотя и самую, может быть, внутреннюю часть души, сущности... (все *такие* слова приблизительны), сколько способом (одним из способов) развить ее и расширить; или, может быть, наоборот (на полный оборот всех понятий), одним из способов ее — в нем, Григории, — проявления, осуществления... Одним из способов, разумеется; любое, в конце концов, продлеваемое усилие укрепляет в нас неподвластное миру. Собственно философия, с такой точки зрения, оказывалась чем-то как бы случайным; можно было читать философские книги (он рано начал читать их, в шестнадцать лет штудировал уже Шопенгауэра), но можно было и не читать, читать другие, не читать вообще никаких... Эта миру неподвластная *часть* не исчезала и даже не уменьшалась в нем, вот что странно, несмотря на его *участие* в событиях, называемых историческими, в великой войне и гражданской: и как если бы две эти *части*, участие в истории и непричастность к ней, скажем так, не исключали, но лишь усиливали друг друга. Надо быть посреди совершающегося, чтобы иметь возможность со стороны посмотреть на него. Возвращаюсь к тетрадам. Григорий — участвует, Всеволод — убегает, пишет Двигубский (тетрадь № 4). Всеволод никак не может понять, почему, собственно, Григорий дает забрать себя в армию, в 1916 году, почему заканчивает эту дурацкую школу прапорщиков, почему уезжает на фронт, тем более почему вступает в Белую армию. Всеволод, может быть, трус, может быть, нет. Но Всеволоду, во всяком случае, есть что терять, или так ему кажется, его будущие книги, еще не написанные. Книги, которые написаны никогда не будут, если он даст себя укокошить. А Григорий что же? А Григорий чувствует, что он не может оставаться в стороне. Нет никаких разумных причин ему не оставаться в стороне. Но здесь не разум, а чувство. *Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas*. Чувство родины. Вся Россия, и я вместе с ней... И ему не нужен никакой результат жизни. Ничто, им сделанное, или написанное, или, наоборот, не написанное, не сделанное, не может иметь для него такой ценности, какую имеет для него — что же? вот именно: что же? Сказать: сама жизнь — значит, ничего не сказать. Но есть что-то, постоянно им ощущаемое, сознаваемое, бесконечно ценнейшее для него, чем все, что он, или кто-то другой, мог бы в жизни сделать, или создать, чего мог бы достигнуть, или добиться. Поэтому ему себя в каком-то смысле не жалко. Не потому, что он не боится смерти, все боятся, и он тоже боится, а потому, что где-то, каким-то образом, в каком-то высшем, лучшем плане бытия не так уж и важно, когда именно эта жизнь закончится, от нее не убудет. В отличие от Всеволода он ничего не должен успеть. Он никуда не спешит. Ему не важен результат жизни, и жизнь не нуждается для него в оправдании... Но вот что еще удивительно. Григорий никогда не интересовался политикой. Это Всеволод волновался, читал газеты, имел мнения, спорил за чайным столом, вступал в журнальные сшибки. Григорий приехал на каникулы в Россию в июле 1914 года, сразу после окончания летнего семестра во Фрейбурге, то есть как раз вовремя, в последнюю, не сознавая того, минуту — и откровенно, вызываясь сожалел, что не может вернуться к полюбившемуся ему и, в той мере, в какой немецкий профессор вообще способен на человеческие чувства, или, скажем, на проявление оных, полюбившему его, Григорию, Генриху Риккерту, в 1915 году переехавшему, кстати, в Гейдельберг, и что придется, значит, заканчивать образование в незнакомом и чужом Петербургском университете. Никаких *немцеедских* чувств он, конечно же, не испытывал; *от Канта к Крупну* не говорил никогда; над громогласно-патриотической пошлостью, шокируя знакомых, смеялся. А все-таки именно он, Григорий, не Всеволод, дал забрать себя в армию, пошел на фронт и т.д. Здесь было еще мальчишество, пускай чуть-чуть,

пускай лишь каким-то крайним краем души, радость риска, желание доказать самому себе, что он может, что не боится.

### 83.

Замечательно, что Всеволода, которому он дал так много от себя самого, Двигубский все-таки не сделал историком. Историком, очевидно, должен был быть их, Григория и Всеволода, отец, в остальном похожий, как мне кажется, на Константина Павловича Двигубского — в той мере, в какой он вообще может быть похож на кого-нибудь, этот смутный образ, так и оставшийся ненаписанным, невоплощенным. То же относится и к матери героя, едва уловимой тенью мелькающей в двух или трех придаточных предложениях; то же, по сути, и к Вере (Лизе?), старшей сестре Григория, младшей Всеволода; и к какому-то безымянному дяде, затерявшемуся в разрозненных рукописях. Только бабушка героя, тоже, надо полагать, списанная с *grande-mère* автора, обретает, причем, если я правильно понимаю теперь его замысел, далеко не сразу, но скорее в поздних частях повести, уже почти под занавес, живые контуры, осязаемые черты; бабушка — и вот, значит, этот Всеволод, с которым, как мы видели, автор вновь и вновь Григория своего сравнивает, биографию которого он продумывает не менее, или, может быть, лишь чуть менее тщательно, чем биографию его младшего брата. Не сделав его историком, он отправляет его изучать — в одной версии историю искусств, в другой — романскую филологию, в остальных — неизвестно что — сначала в Гейдельберг, затем, через семестр или два семестра, в Сорбонну, где он очень быстро превращается в русского парижанина, каковым на всю жизнь и остается. Всеволод родился в 1889 году, пишет Двигубский (тетрадь № 2); в 1905 году ему шестнадцать лет; он гимназист, сочувствующий, понятное дело, восставшим рабочим, борцам за народное дело, низвергателям самодержавия, героям подполья. В одном из вариантов Двигубский записывает его прямо-таки в Тенишевское училище, по следам двух любимых авторов; тут же, отдадим ему должное, отбрасывает эту вздорную мысль. Между тем, сам выбор университетов отсылает все-таки к биографии Мандельштама, спроваженного, как известно, испуганными родителями учиться в Европу от революционного греха подальше. Революционность Всеволода в Европе тоже проходит довольно быстро — что не помешало ему (цитирую по рукописи 2001—2002 года), когда в Париже объявился вдруг *товарищ Сергей*, как раз тогда бежавший за границу из очередной ссылки, с ним сблизиться, почти подружиться, пуститься вдруг, слава Богу ненадолго, во все парижские тяжкие. Ко времени Гришиного приезда во Фрейбург все это уже в прошлом; тем отвратительнее Всеволоду внезапное появление *товарища Сергея* и во Фрейбурге тоже, его знакомство с Григорием, вечер, проведенный ими вдвоем в ресторане... В 1914 году Всеволод, как и Григорий, возвращается, конечно, в Россию; слабая грудь, плоскостопие и отцовские связи спасают его от армии. Он осознает себя писателем очень рано; об его сочинениях не узнаем мы, впрочем, почти ничего. По-видимому, соблазн ввести его в круг знаменитых современников, привести его на «Башню», в «Религиозно-философские собрания», познакомить с Мережковским и Гиппиус, с Андреем Белым и Блоком был довольно силен; вновь и вновь, в разных тетрадях, встречаются рассуждения о том, что Всеволод — ровесник Ахматовой, Всеволод мог встречаться с Мандельштамом в «Бродячей собаке», и т.д. в том же духе. Полагаю, что если бы повесть была написана, дело свелось бы к двум или трем коротким предложениям, быстрым упоминаниям, небрежным, или по видимости небрежным, намекам. Важно вот что (замечает он; тетрадь № 2): Всеволод связан с «Серебряным веком», Григорий вообще никак; Григорий живет

еще как бы в до-модернистскую, до-символистскую эпоху... Революция застаёт Всеволода в Петрограде; «Февраль» вдохновляет его (Григория, на фронте, ни на день, ни на час...); «Октябрь» повергает в отчаяние. Бежать ему удастся только в 1919 году, испытав все прелести военного коммунизма, Гражданской войны, петлюровского Киева, освобожденной и снова занятой большевиками Одессы; путанные и противоречивые сведения о Гришиной гибели доходят до него уже за границей. Он будет потом всю жизнь о ней думать, пишет Двигубский в одной из своих тетрадей, всю жизнь пытаться представить ее себе. Он этого еще не знает, подплывая к Стамбулу... Сам же Двигубский не раз, мне кажется, пытался представить себе это — будущее, эту будущую жизнь Всеволода, за гранью действия, за рамками повести, долгую жизнь, которую он дарует ему. Всеволод, в самом деле, мог ведь дожить до 1966 года, как Ахматова, до 1972-го, как Адамович. В 1972 году мне было четырнадцать лет (пишет Двигубский в последней шестой тетради), я отказывался стричься из ненависти к советской школе; в мае 1972 года, в седьмом классе, как хорошо я помню это, когда заболела химичка, Мороз, вставши у доски, читал Гумилева, оглядываясь на дверь, не зайдет ли кто из... предложение здесь обрывается. Облака в окне, гудение города, тепло, первый шмель, залетающий в класс, тополиный пух, счастье, Мороз живой, никто еще не знает, как все... и это предложение обрывается тоже. Всеволод (на следующей странице пишет П.Д.) мог бы стать героем какой-то совсем другой книги. Книги, которую никогда я, конечно, не напишу.

#### 84.

Собственно действие, как уже сказано, настоящее время повести, занимает лишь несколько дней. Григорий входит в город, вместе с наступающими войсками; спрашивает себе отпуск, ему причитающийся; войска, на другой день, вместе с обеспокоенным и огорченным Степановым, уходят дальше; Григорий в городе остается. На этот другой день появляются побочные персонажи, в разных рукописях разные и по-разному. Второй день действия — дефиле побочных персонажей (пишет сам Двигубский; тетрадь № 5). Что он сам очень мало готов был поверить в этих персонажей, видно по его записи уже в самой первой, русской тетради. Персонажи — маски, пишет он. Персонажи — странные существа, сотканые из слов. Неужели вы верите в эту ходячую схему с усиками? В эту абстракцию с пышным бюстом? Блажен кто верует, тепло ему на свете... Появляется, так или иначе, хозяин гостиницы, лучшей гостиницы города на Елизаветинской улице, собственно — единственной порядочной гостиницы города, бывшей Дворянской, где Григорий снимает (тот же самый, с тем же балдахинном над той же кроватью) номер, в котором он останавливался когда-то, пишет Двигубский, приезжая в город на свидания с Лидией... Хозяин этот, Иван Людвигович Губер, советует ему немедленно, *aber sofort und ohne nachzudenken*, не раздумывая и сейчас же, ехать на юг, в тыл, в Ростов, ни в коем случае здесь не оставаться, бежать. А вы, Иван Людвигович? А мне уже все равно, отвечает тот, глядя на Гришу светлыми, усталыми, почти прозрачными, отчаянными глазами... Появляется, в ресторане, куда Двигубский отправляет своего героя завтракать, вертлявый, с проступавшей на щеках небритостью половой, сообщающий Григорию, что ресторан под совдепами переименован был в «Столовую № 1 им. Коминтерна», а добродушнейший, необъятный, с тройным подбородком и ямочками на щеках, всегда пыхтевший, всегда улыбавшийся хозяин заведения расстрелян, в числе прочих взятых большевиками заложников. Дефилируют еще персонажи, присаживаясь за его столик; бывший, к примеру, директор бывшего местного отделения Азиатского банка, член городской думы эпохи Времен-



ного правительства, собирающейся вновь, как это по большей части и происходило, замечает автор, в освобождаемых белыми городах, предлагающий Григорию как человеку в городе известному и вообще как представителю Добрармии, возглавить отряд самообороны, составленный из студентов, гимназистов, пожарных; Григорий отказывается. В одной из рукописей разговор с ним, получающим в этой рукописи имя и облик, бородку и узко посаженные, неискренние глаза, занимает около семи страниц, в другой сокращается до нескольких фраз. Здесь же, в ресторане, а в других вариантах еще раньше, едва лишь Григорий остается один на Соборной (горбатой, безмерной, за себя саму заваливающейся) площади (проводя взглядом уходящие дальше на север, вместе с огорченным Степановым, войска), появляется местный журналист, даже, в некотором роде, писатель, выдающий себя за Всеволодова, в прошлом, приятеля, рассуждающий об оргийности, стихийности и соборности, каковым рассуждениям Двигубский отводит, опять-таки, в одной из рукописей несколько, наскоро, как мне кажется, набросанных им страниц, заодно рисуя и портрет рассуждающего, в этом варианте повести называемого почему-то Ванькой, получающего фамилию, почему-то, Дукельский, стареющего молодого человека с лосиным профилем, в крагах и со стеклом в руке. А знаете, кто всем заправлял здесь? Прямок (в другой рукописи — Углов), вам известный, *товарищ Сергей*, как он себя теперь называет. Чека была вот здесь, на Соборной, вон там, вон, видите, те окна в подвале. Хотите зайдём? Ну, как хотите. Здесь не расстреливали. Расстреливали в тюрьме, за стеною. А что он сам делал при советах? Работал. В отделе народного просвещения. Вы что-нибудь имеете против народного просвещения? Ну, вот и отлично.

## 85.

Он остается в городе, пишет Двигубский (тетрадь № 3). Это единственно возможное для него решение, он не может не остаться. Но как только решение выполнено, оно тут же утрачивает свою несомненность, свою непреложность. Все повторяется, те же дома, те же улицы, вдруг как будто лишённые смысла. То, что вчера еще казалось единственно возможным, становится непонятным для него самого. Что, собственно, я здесь делаю? спрашивает он себя. Вдруг выясняется, что он все уже видел, везде уже побывал, а чего не видел, то с легкостью мог бы представить себе, домыслить, довоспомнить. Опять Елизаветинская улица, гостиница, лавки, городская, по-прежнему закрытая библиотека, вокзал, блеск рельсов, пустыри за дебаркадером, паровозная гарь... Зачем все это? Просто взять и уехать... Он не уехал (я цитирую снова по рукописи), он пошел, опять, Садовыми улицами, прошел мимо того дома, старого, серого, по виду не дворянского, но какого-то скорее купеческого, за высоким забором, где, у таинственной своей тетки, ни разу им не виденной, жила некогда Лидия. Лидия, героиня нашей повести, героиня его романа. Несостоявшегося романа, ненаписанной повести... Городской сад повторился тоже (по рукописи цитирую дальше), повторилась раковина эстрады, повторились и раскоряки. Он снова сел на одну из них, отчаяние, ему не свойственное, вновь охватило его. Вот так и сиди здесь, вот так и сиди... Были, по-прежнему, в прозрачном небе неподвижные липы, освещенные солнцем, в переборах быстрых теней. Шаги слышались из-за раковины, шаги, по гравии, приближавшиеся к нему. То действие, которое готовилось накануне начаться, сегодня, наконец, началось. Товарищ Сергей, появившись из-за раковины, подошел по гравии, крадучись, к нему, Григорию, сидевшему на раскоряке. Так внезапно, так ниоткуда... Он был в куцем каком-то, с чужого плеча, пиджачишке, совершенно невозможном на его грузной фигуре, в

широких, с лампасами — и тоже каких-то невозможных штанах, в лакированных бальных туфельках, крошечных и блестящих. Они смотрели друг на друга, молча, минуту; *товарищ Сергей*, остановившись в двух шагах от Григория, засунув руку в оттопыренный (револьвером?) карман пиджачишки, такой же тяжелый, громоздкий, с тяжеленным, по-прежнему, подбородком и ясно видимым снизу, за те годы, что Григорий с ним не встречался, наметившимся вторым, каким-то нежным, жирно-розовым — не подбородком, но подбородочком, совершенно невозможным, опять-таки, на его, за эти годы еще более заматеревшем, грузно-грубом, с колючими и умными глазами, лице; Гриша, сидя по-прежнему на своей раскоряке, сложив руки, ладонями книзу, на колене перекинутой через ногу ноги, в ясном, горестном, удивленно-неудивленном спокойствии. Вы ведь, я так полагаю, говорит *товарищ Сергей*, не побежите доносить на меня... Нет, конечно, не побежите... (Здесь он садится, конечно, на соседнюю раскоряку, раскоряка, под его тяжестью, вскрикивает.) А я, знаете ли, стоял там, за раковиной и... Что же? И совсем, знаете ли, нетрудно было бы вас, Григорий... Константинович (пишет Двигубский, наделяя героя отчеством, своим собственным отчеством, между прочим; а какое же и может быть отчество у лучшего, младшего брата?) совсем нетрудно было бы вас, Григорий Константинович, оттуда... того... С ухмылкой, понятное дело, похлопывая рукой по оттопыренному карману перекошенного револьверной тяжестью, с трудом сходявшегося на круглом животе пиджачишки; поглядывая на Гришу из-под клокастых бровей колкими, сощуренными глазами. Почему ж я не выстрелил? Чувство чести (расхотавшись, ухая хохотом). Совесть, знаете ли, простая порядочность. Мы, революционеры, из-за угла не стреляем. Все-таки батюшка ваш мне помог, и с братцем вашим мы были приятели... Но какая сцена, а? (продолжая хлопать по карману рукой с черными отчетливыми волосками на толстых, коротких пальцах. Ногти при этом ухоженные, ровные, чистые. *Товарищ Сергей*, заметив его взгляд, поднял руку, поднес ее поближе к лицу, поднес и левую, с перстнем на пальце, сравнил их друг с другом, полюбовался обеими, помолчал). Нет-с, какова сцена, ваше благородие, а? Сидим здесь на солнышке, мирно беседуя. А попадись я вашим, да и вы нашим, скрывать не стану, и... все... хлоп, счастливо оставаться. Он посмотрел снова на руки, сравнил левую с правой; перстень на левой, на безымянном пальце, был тонкий, благородной формы, с черным маленьким камнем; две пухлые складки окружали его, топорщась сердитыми волосками; два кольца вокруг перстня. Кой черт, позвольте узнать, занес вас в славные ряды защитников... единой и неделимой? Долг и прочее? Конечно, конечно. Доблесть? Еще бы. Но вы ведь не можете не понимать, что дело ваше проиграно. Или все-таки надеетесь дойти до Москвы? Неужели надеетесь? Хотели бы надеяться? Звучит не слишком-то убедительно... а?.. ваше благородие? Надеяться вам не на что, и вы это знаете. Колчака мы уже погнали, вас тоже погоним. И вот спрашивается... Растягивая, на сей раз, «а» в этом *спрашивается*, изображая кого-то... Вот и спрашивается, как можете вы, умнейший человек, философ... ведь учились у Виндельбанда? Нет? Неважно. У Наторпа... Тоже нет? Все равно... Но как можете вы, философ и умнейший человек, участвовать в столь очевидно безнадежном деле? Классовое сознание? Конечно. Но неужели классовое сознание до такой степени затмевает в вас сознание просто? По марксистской теории вроде бы и должно затмевать? Э, бросьте, не стройте из себя дурачка. Ведь сами знаете, что совсем не должно. Классовое сознание преодолимо, и кому как не вам... Он закурил, наконец; достал из того же, но по-прежнему оттопыренного кармана золотой, плоский, с изумрудной кнопкою портсигар (о каких мечтают бедные гимназисты...); проследил, прежде чем открыть его, за игрой света на его матовых и блестящих *полосках*; одобрил; открыл. Так что

классовое сознание мы оставим (подводя итог, выпуская дым из ноздрей). Что еще? Красота поражения? La cause perdue? Бороться до последнего вздоха за дело, заведомо проигранное? Умереть с честью? Да, это красиво, не отрицаю. А все-таки вы не тот человек, чтобы положить свою драгоценную жизнь на алтарь всех этих красотостей... Красота, конечно, великая вещь, но зачем же стулья ломать? (Тряся животом, треща раскорякой.) История за нас, Григорий Константинович (меняя тон, с сердечной серьезностью). История, между прочим, не оставляет выбора. Ни вам, ни мне, никому. Только не думайте, что я хочу переманить вас на нашу сторону. Другое дело, конечно... если бы вы решились, я мог бы и помочь вам... искупить вашу (снова ухнув...) вину перед трудящимся классом. Подумайте, Григорий Константинович, история... о чем, помнится, мы с вами имели удовольствие беседовать еще в чудном городе Фрейбурге... И вот здесь происходит самое поразительное, конечно, пишет Двигубский, переходя почему-то в настоящее время, от эпоса к драме... Здесь он замечает вдруг, что *товарищ Сергей*, из-под клокастых бровей, смотрит на него тем же самым, совершенно тем же, или почти тем же, удивленным и даже недоумевающим — как если бы смотрящий спрашивал себя, правда ли видит он то, что видит, — осторожно-изумленной заботы исполненным взглядом, каким смотрел на него, бывало, Степанов, каким смотрел на него, бывало, и Всеволод, тем же самым, каким Всеволод *начал* смотреть на него во Фрейбурге, перед войною, куда *товарищ Сергей* в ту пору и заявился, чтобы с Всеволодом увидеться и переговорить, добиваясь от него, очевидно, каких-то писем, каких-то рекомендаций. Вот этим-то, изумленно-внимательным, как будто желавшим его, Григория, от чего-то предостеречь, уберечь от чего-то, взглядом смотрел на него теперь, к его собственному, Гришиному, немалому удивлению, даже, пожалуй, растерянности, постаревший, потяжелевший, обрюзгший за годы, прошедшие с их фрейбургской встречи, *товарищ Сергей*, скрипя раскорякой, тряся подбородком. И как если бы сам он, *товарищ Сергей*, вдруг поймал в себе это осторожно-бережное удивление — и удивился ему, в свою очередь, недоумение и злость вдруг проступили в его лице, взгляд снова сделался ледяным, колючим, железным. Он раздавил окурок носком лакированной туфельки, внимательно, тщательно, беспощадно. Берегите себя, Григорий Константинович, мой совет вам, берегите себя. Ваши-то все ушли, а мы-то все здесь, знаете ли (ухнув, похлопав по карману), здесь, ждем... И так же внезапно, как появился, исчез он, пошел, снова, к сцене, растворился за раковиной. Ничего как будто и не было, липы, солнце, переборы быстрых теней.

## 86.

*Товарищ Сергей*, партийная кличка. Почему именно Сергей, я не знаю, Двигубский об этом не пишет. Он много раз, мне кажется, пытался придумать ему настоящее имя, какое-нибудь мещански-простецкое (Иван Прялков, Филипп Круглов, однажды даже Артемий Углов), отбрасывая их все, оставаясь один на один с рокочущим псевдонимом. А у них и не было никаких настоящих имен (тетрадь № 3). Бронштейн, Скрябин, Апфельбаум и Розенфельд... Розенкранц и Гильденстерн. Что за вздор, честное слово. Их псевдонимы и есть настоящие их имена. Они никогда людьми не были, всегда были масками. Его биография? Его биографию Двигубский тоже продумывал довольно тщательно... и в конце концов, довольно безуспешно; в тетрадях я нахожу теперь длинные списки большевиков и левых эсеров, в основном — чекистов, с присовокуплением биографических данных разного рода. Происхождение этих персонажей, как мне кажется, не в последнюю очередь его занимало. Он сын священника, сын учителя,

сын нотариуса? Он из купцов, из мещан, из мелких дворян? Автор, кажется мне, так до конца и не сделал свой выбор. Но важно, что он — местный, пишет Двигубский, что он из этого города, что его здесь все знают. Нет, этого мало, пишет Двигубский уже во второй тетради. Как-то отец его должен быть связан с отцом Григория, вот что! Его отец — управляющий имением? Его отец — врач сельской больницы, построенной на деньги Гришиного отца? Все это уже очень сильно отзывается, конечно, Набоковым. Читал ли он «Круг», побочный продукт бесмертного «Дара»? Там был учитель, и была школа. Школа Двигубскому нужна была для другого, другой...; сделать товарища Сергея (Углова, Прямова...) сыном сельского учителя он, конечно, не мог. А почему бы, пишет П.Д., отчаиваясь, не сделать его просто-напросто сыном священника, в память обо всех Чернышевских? Отец Гришу крестил, сын Гришу убьет... Он отбрасывает, похоже, и эту мысль, потому, может быть, что в приводимых им же самим списках нет, если я ничего не проглядел, ни одного чекиста из духовного звания (а вот дети учителей представлены как раз в немалом количестве). В одной из поздних записей появляется сын ссыльного народовольца, осевшего некогда в городе, окруженного почтительным вниманием местной интеллигенции; мысль, которую автор тоже, тут же, отбрасывает, пугаясь, понятное дело, отмечаемого им самим сходства с «Бесами». Этих сходств и так предостаточно. Ну да, Степан Трофимович и Петруша, пишет он, все это уже было, все это уже было... Послать бы все к черту... Я и послал бы, пишет он (летающим почерком, падающим в полете), давно послал бы, если бы не Григорий... Наша мюнхенская встреча с Виком произвела, похоже, на Двигубского впечатление сильнейшее; в поздних тетрадях и рукописях внешность товарища Сергея, не изменяясь, как будто проясняется для самого автора; появляется, в придачу ко второму подбородку, еще один, третий, а то и два (третий, четвертый); Двигубский делает его, пожалуй, еще более отталкивающим и обрюзгим, чем был в Мюнхене Вик, сквозь расплывшийся облик которого все-таки, пускай совсем втайне, просвечивал бывший красавчик. Воспоминания о Вике накладывались, похоже, у П.Д. на облик Азефа, фотография которого (та известная, где великий провокатор стоит рядом со своей кафешантанной толстой красавицей в воде, в комическом купальном костюме начала века, оттопырив нижнюю губу и выпятив круглое брюхо), не знаю откуда вырезанная, соседствует в его бумагах с изображениями Белы Куна, С.А. Саенко (коменданта Харьковской ЧеКи и бывшего каторжника; в мохнатой шапке, с винтовкой наперевес), лохматого Петерса, Ягоды с черными сопельками усиков под ноздрями. Меня всегда поражала неопрятность этих людей (не всех, но многих), их замызганные рубашки, их чудовищные манеры, их чавканье за столом. Неопрятность, особенно отвратительная тем, что сочетается обыкновенно с какой-то мерзкой изысканностью деталей, с какими-нибудь особенными, действительно, усиками, запонками, ногтями. Единственный, пожалуй, персонаж моей юности, про которого я *точно* знал, что он стукач, и с которым мне пришлось как-то просидеть часа два за одним поганым застольем, прежде чем нашелся благовидный предлог смыться, плевался, чавкал, чуть не хрюкал намеренно, угрюмо и радостно, с полным сознанием своей силы и власти; под ногтями была у него двухнедельная грязь; на шее волдырь; пуговицы на рукаве не хватало; с волос слетала ядовитая перхоть. А галстучек был при этом подобран с умыслом, с любовью и шиком, галстучек такой тоненький, черненький, каких тогда не носили, и с золотой, рубинчиком завершавшейся стрелкой, прижимавшей друг к другу узкий и совсем узкий галстучный кончик... Через двадцать лет я встретил его двойника, с той же перхотью на плечах, с теми же засаленными рукавами рубашки и с почти таким же узеньким галстучком в облике немецкого адвоката, после какой-то общественно-полезной, глупейшей лекции,

когда публика уже готова разойтись по домам, но зачем-то еще стоит и скучает с бокалом вина в одной и соленым крендельком в другой руке, все пытавшегося, с милейшей, сдобной, слоистой улыбкой, добиться от меня, что я, собственно, делаю у них в Германии и не собираюсь ли, наконец, восвояси; адвокат, сказали мне после, был известный неонацист; на тугой сардельке безымянного пальца тоже сидел у него перстень с печаткой.

## 87.

Сколько ему лет (возвращаюсь к тетрадам Двигубского)? Тридцать пять, сорок... Он родился в начале восьмидесятых годов; для простоты допустим — в 1884 году, то есть он на пять лет старше Всеволода, на десять лет старше Григория. Эти пять лет решающие — в 1905 году ему двадцать один год, он участвует в революции. Первая ссылка, побег, экспроприации, как стыдливо называли они грабеж, рабочие кружки, подпольная типография, заграница. Путь революционера. В 1909 году он оказывается в Париже. Ему двадцать пять лет, Всеволоду двадцать. Нет, пускай Всеволоду девятнадцать, даже только что исполнилось девятнадцать, пускай это будет 1908 год, например. Товарищ Сергей разыскивает Всеволода («земляки»). Давняя связь между ними, Всеволод помнит товарища Сергея (тогда еще Углова, Прямова...) студентом, которому его, Всеволода, отец помог выпутаться из первой «истории». Всеволод к восьмому и девятому году уже излечился от революционного наваждения; Всеволод изучает историю искусств и собирается стать писателем. А все же этот товарищ Сергей интересен ему, влечет его. Влечет Всеволода как писателя, как будущего писателя — или так, по крайней мере, он говорит себе, пытается себя убедить. На самом деле это не так. На самом деле Всеволод подпал под эти черные чары, соблазнился ими, пусть и ненадолго... Тому двадцать пять, он даже еще не очень толстый, он опален подпольем, он рассказывает вещи, для Всеволода почти мифологические, о побегах, о нравах пересыльной тюрьмы, о спорах ссыльных в Царевкокшайске. Вся жизнь у него впереди. Интересная, опасная жизнь. Он и революционер, и бон-виван. Вот сочетание, Всеволода соблазнившее. Он предается партийным полемикам днем и прелестям публичных домов вечерами. В жизни Всеволода начинается, как начинается она в любой жизни, только в моей ее не было, или почти не было (пишет Двигубский), эпоха разврата, разврата образца 1908 года, того замечательного декадентского разврата, который мы себе почти не можем представить, через сто лет. Хотя что, собственно, было в нем замечательного? Ну, бляди и бляди. Парижские дорогие бляди, сценки из Тулуз-Лотрека, чулки, и шляпы, и длинные папиросы в длинном мундштуке. «До самого локтя перчатки». Опиум. Отдельные кабинеты. На все это нужны деньги. У него денег очень много, у этого товарища Сергея, непонятно откуда. То ли он партийную кассу растрчивает, как Парвус, то ли он двойной агент, как Азеф. А Всеволоду вот это, может, и нравится. Ему нравится, что дело здесь нечисто. Ни с какой точки зрения. Ни с революционной, ни просто с человеческой, «обывательской». Разврат, и грязь, и опасность. А вместе с тем вызов, воля и злость. Он чувствует себя победителем истории, этот товарищ Сергей. Сейчас мы в подполье, но послезавтра мир будет наш. Поэтому мы уже сейчас живем полной жизнью, такой жизнью, какая вам и не снилась. Поэтому все озарено светом будущего, даже поход к блядям на Пигале. Никаких связей, кроме партийных, у него нет. Ни среди русских в Париже, ни, того менее, среди собственно парижан. А ему хотелось бы. Он нужен Всеволоду как проводник по кругам порока, а Всеволод ему как Вергилий в совсем других кругах (если не рай, то чистилище...). Есть легкая достоевщинка, разумеется, в отношениях этого мещанского сына с

барчуком. Ну, как же, вы вот... аристократы, а мы люди простые, манерам не обучены. Так что вы уж лучше не знакомьте меня, Всеволод Константинович, ни с графиней Паниной, ни с маркизом де Шуазель. А то я возьму и какую-нибудь гадость сделаю в ихней гостиной, рыгну али пукну... хе-хе. Да у меня и перчаток-то нет подходящих, о фраке уж умолчим. А на самом деле только и жаждет, чтобы Всеволод его познакомил. Всеволод представляет его, конечно, как значительную личность, крупного подпольщика, только что из России, инкогнито. Тоже своего рода пропуск в высшее общество. Еще бы, мы же все за революцию. Дамы заинтригованы, господа подкручивают усы. Да-с, приятные господа, воспитанные. А дамы... дамы... где уж нам, обывателям... сплошные тебе позументы, декольте... закачаешься. А качаться все ж таки они будут, да-с, на фонарях, на фонариках. Вот этой вчерашней графинюшке горлышко-то мы перережем. А что вы думаете, кстати, о Пшибышевском? Ему Всеволод еще нужен как Вергилий по современной («декадентской») литературе. Он же ничего не читал, кроме «Эрфуртской программы». Но теперь он «образовывается», хочет быть *au courant*. Усердие самоучки. Каждый день по два часа. Программа чтения. В ссылке была другая программа: Маркс, Каутский, Маркс, Плеханов, Энгельс, Каутский, Маркс. Теперь: Пшибышевский, Стриндберг, Арцыбашев, Бальмонт, Брюсов, Стриндберг, Метерлинк, Арцыбашев, Мережковский, Стриндберг, Анри де Ренье. Всеволод видит эти списки; старается удержаться от смеха. Есть угрюмое упорство в этом, как во всем, что делает Углов и Прямок. Даже в пьянстве его и разврате есть какое-то упорство. Злость. Как если бы он и здесь добивался какой-то цели. Непонятно только какой. Какая здесь может быть цель, думает Всеволод, это же сама бесцельность, это же *так*. Но у товарища Сергея ничего не бывает *так*, у товарища Сергея все со всем связано, все кажется частью какого-то одного большого плана. Никакого плана, конечно, нет, а Всеволоду все кажется, что есть, что все как-то зловеще осмысленно, как-то чудовищно неслучайно... Дело заканчивается внезапным отъездом светлой личности из Парижа, исчезновением, как будто его и не было. Дело, для Всеволода, заканчивается мучительными визитами к венерологу (на рю Монмартр; дорогому, грубому и веселому). Остаются воспоминания, которых он еще долго потом стыдится, мерзкий, горький привкус, от которого долго не может избавиться, который отравляет для него все, что он делает, даже все, что он думает. Запах цинковой мази изо всех щелей жизни.

## 90.

Все это, позволю себе напомнить, только реминисценции, взгляды в прошлое, вновь и вновь бросаемые, не столько даже героем, сколько автором, по ускоряющемуся ходу повести, устремленной к своей ужасной развязке. Иногда, впрочем, замирающей в этом стремлении. На другой день, к примеру. На другой день, пишет Двигубский, переменялась погода; небо надвинулось рваными черными облаками; капли то и дело принимались бить по карнизу; в гостиничном саду что-то хлюпало, всхлипывало; деревянная бочка под желобом колебалась, покачивалась; пузыри бежали по ее черной, в цвет неба, через край плескавшей воде, с дрожащими веточками, кружащимися березовыми желтыми листьями в ней. Григорий, собиравшийся поехать снова в имение, посмотрев на все это, закрыл окно; снова заснул. Он вдруг почувствовал всю усталость последних трех лет; всю сразу; всю эту тяжкую, безрадостную усталость, которая как будто собиралась, сгущалась в нем...; вот вырвалась, вдруг, наружу; захлестнула его. Он пролежал в постели до вечера, просыпаясь, вновь засыпая; даже не пытаясь читать; в полудреме вспоминая вдруг что-то... отрадное, страшное. И

точно так же пролежал он весь следующий день, такой же всхлипывающий, смутный и сумрачный — понимая, конечно, что *отлеживаться* следовало бы в каком-нибудь другом месте, не столь опасном, но не в силах встать, изменить что-нибудь, убаюканный этим дождем, боем капель, привычностью комнаты, кровати, балдахина, комода. Лишь под вечер этого второго дня, после обеда, как и накануне принесенного ему в номер — все тем же, с по-прежнему проступающей им на щеках небритостью, вертлявым, наглым и скрыто неприязненным половым, начал, понемногу, приходить в себя, просыпаться; вышел на улицу, снова, впрочем, пустынную, замершую; дошел до Соборной площади, безлюдной, с мокрым блеском на безмолвном булыжнике; возвратившись в номер, взял ванну; полистал бумаги, привезенные из имения... язвительные бабушкины письма, отцовские записи о падении всего, прощании с прошлым. И когда опять заснул, наконец, то заснул уже здоровым, спокойным сном; проснувшись, сказал себе, что сегодня или завтра уедет, что вот и этот эпизод жизни закончился; вот и отлично; вскочив с постели, обнаружил за окном мерцающе пасмурный, без дождя, с просветами, день; обнаружил уже осенний, бодрый, яблочный холод. Кололи дрова где-то рядом, в каком-нибудь, наверное, из соседних дворов; отчетливый, глухо-древесный стук поленьев, ударяемых о колоду, разносился в этом холодном и бодром воздухе как будто с легкой заминкой, задержкой, словно задумываясь после каждого удара о чем-то своем, ни одному человеку не ведомом. Il me semble, berges par ce choc monotone, qu'on clou en grande hâte un cercueil quelque part... Вслед за Бодлером вспомнился, конечно же, Всеволод, повторяющий, глядя в пространство, эти волшебные строки об осенней колке дров, убаюкивающей, а все-таки похожей, слишком похожей на заколачивание гроба, где-то там, в соседнем парижском дворе... А вместе с тем, было что-то привычное, милое, мирное, что-то почти домашнее в этом мерном далеком стуке, ударе и отскоке поленьев. Уездный русский город, осень, пахнет дымком и яблоками, колют дрова. Ничего плохого не может с тобой случиться. Иван Людвигович Губер, заглянувши к нему в номер, изо всех сил уговаривал его уехать не завтра и не сегодня, а уехать сейчас и немедленно, скоро должен быть поезд, он точно знает, на юг, на Ростов. Вот и уезжайте в Ростов, на юг, в тыл. Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Ведь вас же первого схватят, если... Gott bewahre, не дай Бог. Уезжайте, уезжайте же, наконец, Григорий Константинович, говорил он, пристально и с мольбою глядя на Гришу усталыми, светлыми, выцветшими, отчаянными, отчаявшимися глазами. А что же сам он, Иван Людвигович? А ему уже все равно. Ему уже недолго осталось. И... он, пожалуй, больше не хочет. Уже насмотрелся... на все это, ну и... довольно. Да, вот так, не спорьте, Григорий Константинович, не возражайте. Он простой человек, Gastwirt, но он... он больше не согласен. Не согласен больше с этой жизнью, этим миром, этим светом, слишком не белым. Nicht mehr einverstanden. Вот так-то.

## 91.

Есть варианты повести, в которых Двигубский отправляет его для начала и еще раз — в имение, где, собственно, делать ему — не столько даже герою, опять-таки, сколько автору, а вместе с ним и читателю — уже нечего; все уже было; все повторяется (и лёва, и Мнемозина...); соответственно и разваливается; почерк становится почти нечитаемым, фразы обрываются, недотянув до точки, на полу- и четвертьслове. Еще в некоторых вариантах (ранних) возникает земельный вопрос (говоря языком официально-газетным). Григорий ведь в сущности — местный помещик, сын крупнейшего в губернии землевладельца. Он отказывается от своих притязаний. В одной из ранних рукописей нашел я длинный раз-

говор на эту тему с уже упомянутым выше побочным неубедительным персонажем, бывшим директором бывшего Азиатского банка, членом городской думы эпохи Временного правительства (бородка, неискренние глаза). Григорий в разговоре этом заявляет, что стоит на позициях непредреждения земельного вопроса вплоть до созыва Учредительного собрания; прямо так в газете и напечатайте. Разговор этот вряд ли дожил бы до окончательной правки.

## 92.

Были люди на этот раз, в здание вокзала; крестьяне, сидевшие на мешках; какие-то непонятные личности, каких много перевидал он за эти годы, всегда едущие куда-то, что-то везущие, с наглыми мордами, кокаиническими глазами; один какой-то седой господин, почтенный, сердитый; две сестры милосердия; одна из них хорошенькая, с нежной, легко красневшей, как у блондинок часто бывает, кожей; в самом деле покрасневшая при Гришином появлении: розовым, снизу вверх, от шеи к щекам идущим румянцем; опустившая глаза; вновь, сквозь вторую волну румянца, поднявшая их на Гришу. И было одно какое-то, краткое, как шелк пальцев, мгновение, когда он уже готов был подсесть к этим двум сестричкам, заговорить с ними о поездах и погоде; и совершенно ясно, с веселым удовольствием представил себе, как о совсем другом говорили бы они глазами с блондинкой, как смеялись бы ее глаза, отвечая на его взгляд; и затем вышел все-таки на дебаркадер, как будто вновь возвращаясь в уже сделавшийся за эти несколько дней ему привычным строй мыслей и чувств, один, с горестным сознанием тяжелой значимости этого, в его жизни, скорее всего, последнего отъезда отсюда, с этой станции, с которой и на которую он всю жизнь приезжал, уезжал. Но можно ведь и вести две темы сразу; легкую рядом с тяжелой; и вернуться, и заговорить с блондинкой, почему бы и нет? и кто знает, что может из этого получиться; и он все равно будет помнить, навсегда запомнит, этот последний отъезд, эти рельсы, этот черный угольный блеск между рельсами. Он не вернулся в зал ожидания; он бросился бежать вместе с выбежавшей на дебаркадер толпой, под треск выстрелов, звон стекла, визг, крик, стук. Слово «налет» перекрыло, на мгновение, все звуки. Григорий, спрыгнув с платформы, перемахнув через рельсы, по осыпавшемуся под ногами щебню сбежал с железнодорожного полотна, поскользнулся на мокрой траве, не упал, выровнял бег. Он все сознавал и все видел, этот щебень, эту траву... с той ясностью, которую так ценил в себе, которая так блаженно обострялась в нем в минуты опасности; с привычным удивлением перед чем-то. Хорошо бежать, легко, весело. И весело, что весело; смешно, что весело. Трава, небо. Холод, уже осенний. Как же они так ловко... Сестричек не было видно, нагломордых личностей тоже. Начались сараи, огороды, заборы; выстрелы смолкли; Григорий остался один; рукопись обрывается. Какими-то этими огородами, задворками, переулками, берегом реки, огибая железнодорожный мост, где стояли, конечно, покуривая, поплеывая в воду увешенные пулеметными лентами головорезы, Григорий, судя по наброскам, которые я и цитирую, должен был пробраться обратно в гостиницу; хозяин оной, Иван Людвигович Губер, прячет его на чердаке; достает для него штатский костюм. Вот на этом-то на чердаке сидючи, и видит он Кудеяра с Лидией, торжественно едущих по Елизаветинской улице.

## 93.

Лидия, героиня не осуществившейся повести, не состоявшегося романа. Роман — был, или его не было, по замыслу автора, тоже в прошлом, в шестнад-



цатом году, перед отъездом Григория на еще не развалившийся Юго-Западный фронт. Никакого романа не было, пишет Двигубский (тетрадь № 5); роман — мог быть, роман — наметился, приготовился — быть, но не стал, не случился, погас и рухнул, как Григорию казалось — бесследно, оказалось, что не совсем. Лидия — учительница, пишет Двигубский в предпоследней, пятой, тетради; ну, конечно! она сельская учительница в какой-то земской школе, возле города, на полдороге к имению, в деревне. Она живет в городе у тетки; ходит в школу пешком. Школа двухэтажная, маленькая, краснокирпичная, чистые классы с партами и цветами на подоконниках, свежевывмытые деревянные полы, выкрашенные темной бордовой краской; построена в каком-нибудь тринадцатом году, не без участия Гришиного отца. Среди прочих, собранных и присланных мне Двигубским, есть фотография, изображающая такое темно-красное, почти кирпичное кирпичное здание с палисадником и раскидистой березой у входа, с выкрашенными голубенькой краской карнизами продолговатых, по-русски поделенных на части окон; на обороте, незнакомой мне рукою и твердым карандашом, написано «Яблоново, 2001 г.». Кто это писал, откуда эта фотокарточка и что такое Яблоново, я не знаю; Света, которой мои электронные расспросы начинаются, похоже, надоедать, не знает этого тоже... Она сельская учительница по идейным соображениям, пишет в другой тетради Двигубский; она эсерка, по крайней мере, сочувствующая. Для нее Григорий — «идеалист», к тому же и «барин». А для него она — чистая чудная девушка, которой заморочили голову революционным интеллигентским вздором. Он ходит с ней пешком из школы в город, через овраг и вдоль речки. Счастье, пишет Двигубский. Какое счастье идти с ней вдоль этой вьющейся, петливой, заросшей травой речки, мимо этих ветел, склоняющихся к воде, шевелящих длинными листьями, мимо мостков и заводов, баб, стирающих вечно свое белье, обратив к зрителям толстый зад и голые грубые, в земляных трещинах, пятки, мимо плескающихся в воде, белобрысых, классических ребятишек, не теряющих надежды наловить раков и продать их у ближайшей дороги, будущих колхозников, будущих раскулаченных, не знающих, что их ждет, затем по страшному, шатающемуся, скрипучему, в провалах и трещинах, подвесному бревенчатому мосту и дальше, по местам, уже пустынным, свободным, где река, еще не зажата холмами, как в городе, течет неспешно, спокойно, и только изредка подходят к ней ленивые большие коровы, выпущенные на заливные луга. Покой полей, простая песенка бескоробной земли. Она спрашивает его, конечно, о Европе, о Фрейбурге, о Провансе. Для нее он человек из чуждого, непонятного, по все тем же идейным соображениям — враждебного, но втайне, конечно, влекущего и манящего мира. Изредка она вступает с ним в спор, заставляет себя вступить с ним в спор, считает себя обязанной. О России, о революции, о преступлениях самодержавия, о безлошадных крестьянах, о материализме, о героической личности... Слова ничего не значат, или значат что-то другое, говорят о другом. Только к этому другому он и прислушивается, на это другое и отвечает. Она и сама это чувствует, улыбается, молчит, смотрит на воду. На ней намеренно скромное платьице, какое-нибудь — «в горошек», хотя она не бедная, тетка ее тем более, но таковы требования идейности, лучше — «в рубчик», нет, не «в рубчик», но — «огурцами», пишет Двигубский (тут же рисуя на полях хвостатые загогулины), нет, тоже нет, не «огурцами», и не «в рубчик», и не «в горошек», а просто серое, однотонное, строгое, застегнутое на все свои (мелкие) пуговики. Она при этом высокая, крупная, красивая. Вернее, была бы красивая, если бы до красоты снисходила. Она не снисходит. Понемногу начинает, может быть, снисходить. Она ко всему готова, а он не видит, вот в чем все дело. Он видит литературность их отношений — и радуется этой литературности. Она для него — цитата, Наташа, Лиза, Татьяна. Ка-

кие только романы и повести не оживают в нем. Героиня старинного романа, барышня, месяц в деревне. Барышня-крестьянка... «Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности». Он-то чувствовал, да она, пожалуй, не чувствовала, пишет Двигубский. Наслаждений невинности ей было мало, ей совсем не того хотелось. Он вполне себе живой и чувственный человек, что вовсе не противоречит его «идеальности». Он еще не успел, не сумел, а может быть, и вообще ему не суждено «воплотиться». Но при этом он еще и просто молодой человек из хорошего дома с соответствующим набором эротических приключений в недолгом прошлом. Случайные немки во Фрейбурге, незабываемая горничная в Трувилле. После этих немок и горничных и после веселых петербургских домов, декадентствующих замужних дам, их кокаиновых дочек с ядовито накрашенными губами, проклятье литературы, вот — героиня задушевного русского романа, как он ее видит, никакого не проклятье, но счастье! счастье литературы, и какое же счастье, действительно, просто идти с ней вдоль ветвящейся и тенистой реки, ни о чем больше не помышляя. А она влюблена в него, она еще девушка, она ждет. Она сама себе в этом не признается, а в глубине души все-таки не может понять, почему он... Да просто взял бы и повалил ее на лугу. Она так не думает, но так чувствует, может быть. Удивление в ее глазах. Растущее удивление в ее глазах, пишет Двигубский. Дело ограничилось поцелуями. Не потому, что он не хочет ничего другого, а потому, что он не торопится. Ему, пока, не так это важно. Он ведет себя, как будто у него «все время мира», *tout le temps du monde*. «Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем». А следовало бы подумать, времени-то у них как раз не было. Но он не может заставить себя торопиться, как если бы существовало какое-то естественное течение их любви, которое он боялся нарушить, естественный рост, который боялся спугнуть. И все было возможно, конечно. Все могло повернуться иначе, вся его жизнь могла совсем по-другому сложиться. Как моя жизнь, если бы я не расстался вдруг с Т., сам не знаю, почему и как это вышло, пишет Двигубский, я же не знаю теперь, кто эта Т., та девушка, может быть, в которую он влюблен был, когда учился в аспирантуре и учил древнегреческий, о которой он однажды мне говорил. Вместо этого, пишет Двигубский, Григорий уехал на фронт. А потом с разваливающегося фронта бежал в Петербург, а из Петербурга на юг, в Добрармию. Он что же, забыл о ней? Он не забыл о ней, но он как будто думал о ней вне всякой связи со своим настоящим, с фронтом, окопами, крысами в этих окопах. Вот если бы он вдруг перелетел каким-то чудом обратно в город, и там, в городе, все было бы так же, как прежде, никакой революции, и она, Лидия, жила бы все так же у своей тетки, и так же ходила бы пешком в сельскую земскую школу, мимо тех же ветел, вдоль той же реки, он бы снова попал, наверное, в тот строй чувств и мыслей, в котором был до фронта, и любовь их началась бы с того места, на котором прервала ее война, история, падение всего, союз ума и фурий. Но когда он действительно вернулся в город, там все уже было иначе, и Лидия была уже подругой Кудеяра, о чем ему, Григорию, тут же, конечно, и рассказали.

#### 94.

Кудеяр, или царь Иван, как еще называет его Двигубский, тоже появляется, странным образом, только в предпоследней, пятой тетради, как если бы этот образ, так долго, полагаю я, волновавший его воображение, по крайней мере — с того времени, как он обнаружил историю «царя Глинского» в одном из своих

многочисленных «источников», как он иногда называл их по профессиональной привычке, то есть с конца, примерно, восьмидесятых годов, лишь постепенно вступал во взаимодействие с замыслом его повести, с другими образами, ему предносившимися, в магический и зачатый круг идей и понятий, обозначаемый им «Город в долине». Лидия становится подругой Кудеяра, пишет он в этой предпоследней тетради — и это было, кажется, открытием для него самого, внезапным озарением, его поразившим. Именно с этого момента Лидия окончательно делается учительницей, а Кудеяр тут же, со свойственной ему решительностью, начинает играть в повести одну из ведущих ролей. Теперь все ясно! восклицает Двигубский, подчеркивая эти три слова жирной чернильной чертой, с возбужденной кляксою на конце. Возникает, и уже до конца не меняется, та констелляция персонажей, как он называет ее, констелляция, которую он несколько раз выписывает в этой пятой и затем шестой, последней тетради, как будто пытаясь убедить этих персонажей осуществиться, явиться. Лидия — подруга Кудеяра... Кудеяр, «царь Иван», «Иван-царевич». «Ну-с, и начнется смута!», говорит Верховенский Ставрогину. «Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-та мы и пустим... Кого? — Кого? — Ивана-царевича». Народный царь, самозванец, Лжедмитрий, Пугачев, Петр Третий. «Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою». Вот в чем все дело! вновь восклицает, все в той же тетради, Двигубский. Кудеяр — Пугачев. Товарищ Сергей — Швабрин. И значит, хоть этого он не пишет, но такая мысль напрашивается, Григорий — Гринев, а Лидия, соответственно, Маша, капитанская дочка, душа-читательница, провинциальная барышня. Затем еще раз, через пару страниц: Товарищ Сергей — Швабрин. Кудеяр — Пугачев. Но в революции побеждает не Пугачев, побеждает Швабрин. Швабрин обманывает и предает, в конце концов, Пугачева. «Торжество Швабрина, или Город в долине». Нет, конечно, он не собирался называть свою повесть так. Он выписывает, мне кажется — в шутку, два раза подряд, на пустой левой странице, рядом с процитированными только что рассуждениями, это возможное (невозможное) заглавие, затем, наверное — забывшись, рисует сверху, как он иногда рисовал их и в тетрадях, и в рукописях, два мужских профиля, один с тяжелым диктаторским подбородком, другой какой-то скошенный, скривленный, не попытка портрета, но игра ума и пера, завитки рассеянной мысли. «Торжество Швабрина. Город в долине». Это потом его тоже кокнут, новые Швабрины, лет через двадцать. А пока он торжествует. И Маша ему достанется. Не эта, так другая какая-нибудь... Григорий ничего этого не увидит, Григорий погибнет раньше. А Пугачев от Швабрина его не спасет, и никакой волшебный заячий тулупчик ему не поможет, и никакой шубы с царского плеча никто ему не пожалует.

## 95.

Григорий видит зато их обоих, Кудеяра и Лидию, из чердачного окна гостиницы, торжественно въезжающих в город. На чердаке свалены старые стулья и пахнет мышами. Уже, значит, прячется он, пишет Двигубский (конец пятой тетради), уже попадает в такие места, в какие мы попадаем в детстве — или в беде. Осиные гнезда, брошенные осами, темные и трухлявые. Чердачное круглое окно; паутина. Они едут, Лидия влюбленными глазами смотрит на Кудеяра. Кудеяр большой мужик с черною бородою. Одновременно сухой и тяжелый. С впалыми, вдавленными щеками, а все-таки грузный. В роскошной белой черкеске с серебряными газырями. А Лидия! Лидия — красавица. Расцветшая, пополневшая. Тоже в черкеске, но красной, расшитой золотом, с золотым шитьем на га-

зырнице. Влюбленными глазами, шальными глазами смотрит на Кудеяра, царя Ивана, грозного мужика. Тут все вдруг становится ясно Григорию. Кудеяр, конечно, взял ее грубо и просто, не спрашивая, хочет она или нет. Давно, поди, приглядывался к учительке. А как вошел во власть, так взял, изнасиловал. Никаких мужчин у нее не было до того. Была только идейность, любовь к народу и мечта о всеобщем счастье. То самое, значит, сделал Кудеяр, народный царь, чего Григорий, ангел, не сделал. Вот она и полюбила народного царя, отдалась ему, покорилась ему. Да она бы на край света за ним побежала, душа-читательница, идеальная русская барышня. Даже с каким-то... да, почти с уважением смотрит на Кудеяра Григорий из чердачного своего окошка. С уважением и ужасом. С той странной симпатией, которая объединяет двух мужчин, любивших одну женщину. «Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку». Между тем, Лидия, прекрасно, легко сидящая на вороном (каком-нибудь...) жеребце, поднимает вдруг голову, смотрит в Гришину сторону. Она Григория не видит, конечно. Но что-то заставляет ее посмотреть на это чердачное окошко гостиницы, подняв голову, ясным, шальным, замороженным, ворожащим взглядом, взглядом ведьмы, взглядом ворожеи. Он видит даже дыхание ее, видит, как грудь ее поднимается и опускается под черкеской. Это длится долго, почти вечность. Это (думает он) никогда, никогда уже не закончится. Тем не менее, заканчивается и это. Он понимает, что надо бежать, но не знает куда. Он чувствует себя в ловушке на этом мышинном чердаке, подходит к двери, прислушивается, отходит, припадает снова к окну. Там, в окне, нет уже ни Кудеяра, ни Лидии, ни присягающей Кудеяру толпы. Елизаветинская улица, угол Соборной площади, горб. Прямо перед входом в гостиницу лежит Иван Людвигович Губер, навзничь, с раскроенным черепом, с раскрытыми мертвыми глазами. В пыльных брюках и башмаках. Руки раскинуты. Глаза мертвые, глубокие, синие. Как если бы они видели — и небо, и ветви ближнего тополя, и Гришу на чердаке. В эту минуту Григорию становится страшно. Так страшно, как еще никогда ему не было в жизни. Даже не за себя. Ему становится вообще страшно. Ужас охватывает его. Он бьется и рыдает, один, на этом мышинном, паутинном, проклятом, ловушечном чердаке. Никто не придет, никто не поможет, спасения нет, не будет, не может быть.

## 97.

Видно, что идея анекдотической республики занимает автора, от тетради к тетради, все менее. Опасность гротеска, пишет он уже в русской тетради, картонной, омерзительная опасность гротеска... Тем более с появлением Кудеяра республика в его замыслах явно отступает на второй план. Выписываю все же (тетрадь № 2) вот такой «список местного правительства», как он называет его, составленный, зачеркнутый (двумя перекрестными линиями), заново переписанный — и через несколько страниц снова переписанный им. Предсовнаркома — тов. Телушкин. Наркоминдел — тов. Смолен. Наркомвнудел — товарищ Сергей. Нарком обороны — тов. Эйхенгольц. Нарком путей сообщения — тов. Дрейманис. Нарком печати и пропаганды — Иван Дукельский. Нарком театров и зрелищ — тов. Плюмажева. Анархисты, эсеры-максималисты, большевики (товарищ Сергей). Кто такие Плюмажева, Телушкин и Смолен, что должно было, или могло, из них получиться? Мы этого никогда уже не узнаем. Есть что-то трогательное, думаю я теперь, вновь и вновь листая его тетради, в этих не родивших-

ся персонажах, не осуществившихся возможностях, не состоявшихся судьбах, этих душах, не нашедших своего воплощения, хотя бы и на бумаге... Ничего хорошего не могло, конечно, получиться ни из Дрейманиса, ни из Смолена. Таинственный Телушкин всплывает, впрочем, еще раз, в виде подписи под воззванием «К трудящимся города и республики», воззванием, для которого Двигубский выписывает немало документов эпохи, из разных источников, вроде «Воззвания от ЧК по обыскам г. Ельца». С беспощадной жестокостью... Защитим достижения революции, кто бы на них ни покушался... Все на борьбу за подлинную свободу трудового народа... Умрем, но не сдадимся... Да здравствует Республика... Безоговорочная поддержка Совнаркому... С появлением Кудеяра все, как уже говорилось, меняется. Кудеяр, если я правильно понимаю поздние замыслы и наброски П.Д., в городе не живет, в город лишь, вместе с Лидией, наезжает. Какая-то республика есть, какое-то местное правительство, Кудеяру и подчиненное. В нем большевик только один — товарищ Сергей. Которому Кудеяр доверяет, потому что тот — местный, *из наших*. Земляк. А тот выполняет задание партии. У Махно, кажется, тоже был такой засланный большевик, оставивший потом мемуары (проверить! пишет Двигубский в последней своей тетради; уже, мне кажется, не проверил...). Кудеяр — «верховный комиссар», оставим царем — царя Глинского. Впрочем, не важно.

#### 98.

Он так и не узнал, кто его выдал. И мы теперь, пишет Двигубский, никогда уже не узнаем... Когда удары прикладов в дверь разбудили его, под утро третьего дня, он, не успев испугаться, успев удивиться, подумал только: вот, значит, как? Вот как, вот оно, значит... Как странно, как странно... Два чубастых, губастых головореза с винтовками, предводительствуемые тоненьким, женственным, в кожаной куртке и блестящими браслетами на обоих запястьях, томно улыбающимся маузерным мерзавцем, приводят его первым делом на площадь, горбатую и бульжную, в одно из тех длинных желтых присутственных зданий, где, кажется ему, пишет Двигубский, он, Григорий, до сих пор и не бывал никогда. Уж точно никогда не бывал он в том полуподвальном, темном и сводчатом помещении, совершенно пустом, куда втокнули его острым, быстрым ударом приклада. Дверь захлопнулась, ключ повернулся в замке.

#### 99.

К той финальной сцене, ради которой в известном смысле все и было затеяно, Двигубский так и не подступился — или только подступался к ней, может быть, несколько раз подступался к ней в своих записях, перескакивая через все остальное, не дававшееся, неудавшееся. Он так, кажется, и не смог решить, где же происходит она, эта сцена, этот финальный разговор героя с антагонистом, кончающийся гибелью первого; есть варианты, в которых Григория переводят на следующий день в городскую тюрьму на окраине, для этой цели в тексте и возникающую, кирпичную, огромную, мрачную, на самом выезде из города, на холме напротив монастыря (как в Ельце и в «Жизни Арсеньева») вырастающую тюрьму. Ему нужна была, по-видимому, тюремная стена и прожектор, длинная, кирпичная, красная, полуобвалившаяся стена — и прожектор, бегущий по ней ярко-желтым пятном. Об этом прожекторе и этой стене он говорил мне еще на Тверском бульваре, в 1981 году. Мы все видели эту стену. Все мы, родившиеся и выросшие в России, можем вспомнить какую-нибудь такую бесконечную, бесконечно-мрачную кирпичную стену, отделяющую что-нибудь от чего-нибудь, школьный двор

от автобазы, завод от помойки, пустырь от соседнего пустыря — останки первичной индустриализации, руины девятнадцатого века. Вот такая стена ему и мерещилась, ради нее он готов был — и затем все-таки не готов был пожертвовать бульжной гладью площади, по которой герой, убегая от прожектора и пули, тоже мог бы, в других вариантах, бежать (убежать не мог ни в одном). Не написанной осталась и сцена свидания с Лидией, появления Кудеяра вместе с Лидией в его темнице и камере («Выходи, красная девица; дарю тебе волю. Я государь»; никакой воли, конечно, только запрещение товарищу Сергею убивать его). Хорошо видно, как он старается представить себе эту тюремную камеру, эту полуподвальную комнату. В *присутственной* комнате ничего нет, пишет он (тетрадь № 3), солома — или тюфяк. Он лежит на тюфяке, заложив руки за голову, глядя в пустой потолок. У него нет ни книг, ни бумаги. Из города передают ему корзины с провизией. Никто его не допрашивает; иногда заходит товарищ Сергей — не допрашивать, а *так*, побеседовать. У товарища Сергея ничего не бывает *так*. Дежурный головорез приносит откуда-то стул; товарищ Сергей, воняя табаком и потом, садится; стул трещит, скрипит; вздыхает с облегчением, когда тот встает, наконец. Встает, уходит. Головорез, ухмыляясь, выносит усталый стул в коридор. Звуки, шорохи в коридоре, шаги на площади, иногда совсем близко. Чей-то голос: ну и дела пошли, братец, ну и дела. Сапоги проходят мимо решетки, их тень забегает в комнату, случайная гостья. Бульжная гладь в окне, почти вровень с глазами. Ровная, чуть мерцающая бульжная гладь, уходящая к бугру, которого Григорий не видит. Сумерки, тоска сумерек, ночь. Ночные звуки, скрип дверей, шаги, шепот, снова шаги. Выстрелы. Он не боится смерти, он боится пыток, думает он. Прожектор бегаёт вокруг его камеры, отсветы пролетают по стенам. Утренние птицы, все птицы мира, весь гам, весь гомон, еще один день. Солнце на потолке. Тень решетки, на потолке и на стенах. В левом углу с утра, в правом к вечеру. Течение времени. Какой-то смысл есть, может быть, в этом движущемся узоре, в этом удлинении клеток, вытягивании продольных, скрещении поперечных линий, великий, неразгаданный смысл в известчатых трещинах потолка. Его нет; никакого нет смысла. Все мы в детстве, когда болели, пытались найти смысл в рисунке обоев, в ритме линий и лилий, в переборах ритма там, где одна обойная полоса примыкает к другой. Мы не нашли его. Мы так и не нашли его за всю нашу жизнь.

### 100.

Вспоминать ему не было свойственно. Прошое всегда было рядом, теперь ближе, может быть, чем когда-либо. Теперь оно совсем было рядом, в заглазье или под веками, и то, что было в детстве, и то, что было вчера, вот эта площадь, которую слышал и чувствовал он за решеткой, Степанов на площади, дневка, дневка объявлена, бугор, горб и город, и как он стоял над городом, глядя вниз, как город виден был весь целиком, со всеми его куполами, и никого вокруг уже не было, только ветер пробегал по высоким лиловым травам, и казалось, что это никогда не закончится, что он будет все стоять и стоять вот так, над городом, всю свою жизнь, и дальний лес, тот дремучий, за всеми полями, холмами, бледно-синей чертою, мечта его детства, предмет его страсти, и как они все, и *grande-mère*, и Лиза, и Всеволод, и отец, и мать, уступая, как он понимал теперь, лежа в сумерках, открывая глаза, его, Гришиным, мольбам, просьбам и уговором, доехали все-таки до этого дальнего леса, всего однажды, в двух экипажах, и в лесу были сосны до неба и сосновые иглы повсюду, и пятна солнца на иглах, и четыре шишки, которые он привез оттуда с собою, по две в каждой руке, не выпуская их из рук всю дорогу, обычные, в общем, шишки, до самого конца детства стоявшие у него на комодке, сверху светлые и с черным исподом твердых, за

те годы, что простояли они на комодѣ, до уже какой-то костяной твердости одревесневших чешуек, уже похожих больше на лопасти или лопатки, и нельзя простить себе, разумеется, пропажу этих четырех шишек, тогда, в юности, даже им не замеченную. Совсем рядом было все это, под веками и в заглазье, и сама эта комната, его комната, с вывороченным ныне комодом, идеалистическим порядком, навсегда уничтоженным, грудой книг на полу, без видимой соразмерности, и проколотые портреты, и то самое страшное, что он видел в жизни, о чем с тех пор старался не думать, прошлым летом, в степи, казак с раскроенным черепом и большая, старая, в жирных складках, счастливо хрюкающая свинья, поедающая что-то кроваво-серое из черепа, как из миски, Степанов, из револьвера стреляющий в эту свинью, затем согнувшись, у обочины где-то, с матерной руганью извергающий из себя все, что он съел за жизнь, и тот же Степанов, смотрящий только в сторону, в сторону, в тот злосчастный солнечный день, когда, заехав в местечко, они, Степанов, и он, и маленький капитан Махин, сам, впрочем, большой любитель *реквизнуть* что-нибудь у мирного населения, не смогли, или не посмели, остановить еврейский погром, с прибаутками и здоровым гоготом устроенный казаками, и после этого все уже стало — не так, все стало — неправдой, и они знали это все трое, и все трое молчали об этом, и страшное, со сжатыми губами, молчание его матери в год бабушкиной смерти, и тот дальний край парка, где начиналось все страшное в жизни, где была одна такая мрачная осина, с высокой кроной и совсем темным, почти черным, в круговых крапинах, выемках и наростах, стволом, что он боялся проходить мимо нее, старался обходить ее стороною, и первая смерть, которую в жизни он видел, от этой осины шагах, может быть, в четырех, серая кошка с копошащейся раню на боку и ужасным, во всю ширь распахнутым ртом, оскалом острых зубов и розовым, каким-то еще живым небом, и как он бежал к дому, почему-то повторяя про себя: небо, небо, небо и небо, как заклинание или как формулу ужаса, и *grande-mère* в гробу, запах хвои, ладана и еще чего-то, о чем не было сил подумать, и как он стоял у этого гроба, почему-то один, и затем не один, и затем опять один, с бесслезными глазами и злым от горя лицом, которое сам он видел со стороны, как если бы он стоял не только там, где стоял, но еще и где-то рядом с собою, впервые в жизни, наверное, в свои тогдашние двенадцать лет, глядя на самого себя со стороны и откуда-то, своим же горем от себя отделенный, и *grande-mère* живая, веселая, легкой и молодой походкой идущая мимо статуй, мимо Музы и Ночи, рассказывающая небылицы о прошлом, читающая ему вслух Ламартина, о *l'as, l'année a reine* и так далее, и это узкое савойское озеро, *l'as du Bourget*, куда они нарочно заехали с Всеволодом, светящаяся дымка у берега, и горные озера в Шварцвальде, пыхтящий паровичок, на котором он добирался до них из Фрейбурга, густое солнце и густейшие тени на зелени альпийских лугов, покой, с которым душа не справляется, с которым справиться и не хочет, и море, и море, конечно, дюны в Нормандии, бушующие полотнища пляжных флагов в Бретани, в Провансе, и петербургские улицы, стеклянный сумрак подъезда, зима, сани, северное сияние, которое видел он в феврале 1916 года на Елагином острове, поехав ночью с сомнительной и случайной дамой кататься, безумное, хвостатыми вихрями стоявшее в глубоком и прозрачном небе сияние, возвестившее ему грядущие катастрофы, и Лидия, говорящая с горечью, что никого уже теперь не полюбит, только его, только его, и поезда, и вагоны, все вагоны, все поезда, тот серый, солдатский, на котором возвращался он с никому уже не нужного фронта и где его чуть не убил озверевший, густо усатый, нанюхавшийся кокаина матрос, шелуха от семечек, плевки, махорка и ругань, и опять Фрейбург, горохот колоколов по утрам, пожилая чета, у которой снимал он свою двухполовиной-комнатную квартиру, госпожа и господин Эбб, жившие в нижнем

этаже, Доротея и Карл, оба с плоскими какими-то лицами, оставившие ему, бывало, возле его двери пару кусков испеченного только что пирога, песочного и так называемого мраморного, с темными вкраплениями шоколадной породы в желтоватом и рассыпчатом тесте, и снова дальний лес, дальний лес, тонкой, синей, спасительною чертою возникающий на горизонте, и левый лёва с его наглаженным носом, податель помощи, избавитель от бед.

### 101.

Надеюсь, не помешал, с издевательскою ухмылкой спрашивал *товарищ Сергей*, вновь и вновь, в разных тетрадах и рукописях заходя в его камеру (комнату), усаживаясь на вносимый ухмыляющимся, как и он, головорезом многострадальный стул, сразу начинавший скрипеть, стонать и качаться. Да, Григорий Константинович, попали вы в передрагу. И как это вас угораздило? А ведь я предупреждал вас... Не послушались. Лежите, не беспокойтесь. Не хотите лежать? Правильно, лежачий беспомощен. А стула не могу предложить вам. Стул вам не полагается. Должна же быть какая-то разница между нами. Садитесь как-нибудь по-турецки. Садитесь, поговорим по душам. Скучно, небось, лежать-то? Да-с, Григорий Константинович, попали вы в историю с географией. Все-таки, боюсь, расстреляют вас наши ребята. Уж так им хочется расстрелять беляка, прямо уж и не знаю, как удержать их. Не верите? Ну и не верьте. Прислать, может, вам Дукельского? Знаете такого? Большой человек теперь, министр, можно сказать, просвещения. Поболтаете с ним об оргийности. Ну, как хотите. Что — мне Дукельский? Мне Дукельский ничто. Я могу его хоть сейчас чикнуть. А впрочем, пускай пока болтает. Нам это даже на руку. Вздернуть его мы всегда успеем. Эх, Григорий Константинович, Григорий Константинович, если бы вы знали, какое это чудное ощущение... Вот сижу здесь с вами, мирно беседаю... А могу — все. Могу вас застрелить вот сейчас. Вы думаете, нет, не могу? Не посмеет, думаете, застрелить меня комиссар? Вы думаете, батяка наш приказал вас не трогать, так уж мы вас и тронуть не посмеем? Посмеем, еще как посмеем, Григорий вы наш Константинович, философ вы наш, Сократ в темнице, графчик вы наш разлюбезный. Думаете, атаманша за вас просила, как за бывшего своего полюбовника... ну, не буду, не буду, не сердитесь, бровкой не дрыгайте... А может, ей батяка пообещал, а мне-то на самом деле поручил... а?... вас... того... чикнуть-жикнуть. А я-то и не чижаю. Я бы должен, а мне-то вас жалко... Не верите? Ну, и не верьте, не верьте, голубчик. А все-таки я могу вас... вот сейчас возьму пистолетик... и где вся ваша философия, ась? Григорий Константинович? где все мысли, дум высокое стремление, духовные запросы, полет фантазии, будущие труды? Ну, что вас потащило к белым, а? Ну, никак не пойму. Думаю, думаю, все не понимаю. Ну, вы же умный человек, вы ж не можете не понимать, что там все кончено, что начинается новое время, фантастическое время, необычайное время? Вы не смотрите, что все так... что все такое кровавое, грязное, жалкое, мерзкое. Вы думаете, мы этого сами не понимаем, не видим? Мы все видим, все понимаем. Мы эту кровь отмоем, эту грязь разгребем... Не верите? Вот и не верьте. А ведь и *ваш* Христос родился в еврейской лачуге. Там, что ли, все было так уж величественно? Там тоже были грязь, кровь и слезы, Ирод, избиение младенцев. А все-таки там начался новый мир. Да-с, новый мир. Удивил я вас, да? Ну вот, хоть удивить вас сумел, хоть позабавил вас, и то благо. А там ведь и вправду начался новый мир. *Ваш* новый мир. Который мы теперь похерили... Потому что он прогнил, провонял. А теперь начинается настоящий новый мир, *наш* новый мир... Вы не смотрите на грязь и кровь, Григорий Константинович, не смотрите, это все чепуха, кровь и грязь, все пройдет, все забудется, через десять лет никто и не вспомнит. Каких-то буржуев там расстреля-



ли, большое дело... И о батьке не думайте, батька это так, эпизод. Это вопрос недели, через неделю не будет никакого батьки. А мы будем. Мы останемся, мы надолго. Вот вы и переходили бы к нам... Это я серьезно говорю, не смотрите на меня так. И не смейте улыбаться, а то прикончу. Я могу прикончить, я нервный стал на этой работе. А все-таки перешли бы вы к нам... История за нас, Григорий Константинович, как я вам, кажется, уже имел удовольствие... А надо быть с победителями истории, ну ведь вы же умный человек, ну что вам-то делать там, в стане, так сказать, хе-хе, погибающих. Ну черт ли вам этот стан погибающих? А я ведь вас, Григорий Константинович, потому, может быть, и не даю чикнуть-жикнуть, что все надеюсь, может, одумается философ наш, а? Одумаетесь? И все, дверь открыта, сразу вас отпущу. Плевать мне на батьку, у меня везде свои люди. Отпущу вас, подпишите только бумагу. Вот ведь человек какой, не спрашивает даже какую. Сами знаете, какую бумагу. Документик-с, так сказать, о сотрудничестве. И все, свобода, счастье, солнце сияет. Да вы не бойтесь, грязную работу делать не будете, грязную работу есть кому делать. Зашлем вас обратно к Деникину, будете потихоньку передавать информацию. А? Григорий Константинович? Как вам мое предложение? А ведь и вы в душе немного авантюрист. А это приключение-то поллучше будет, чем по степям тут таскаться. Я ведь вас хорошо понял. Я тут тоже сижу у себя в кабинете, сижу, курю, о вас думаю. Я много о вас думал в жизни, больше, чем вы обо мне. Вы обо мне и пяти минут, наверно, не думали. Я для вас известно что такое... кровавый мерзавец. Не улыбайтесь, прикончу на месте. А я о вас все думаю, думаю. Вы нужны нам, Григорий Константинович, вы, вы, вот именно вы... Все это вздор, что я говорил вам, я сам ни во что не верю, вздор, кровь, грязь, но если бы вы, если бы такой человек, как вы, перешли к нам... все бы оправдалось, все бы очистилось. Если бы такой человек был за нас... мы бы... ну, впрочем, вы к нам не перейдете, и потому я вас укукошу. Ладно, подумайте до вечера. Пойду документик приготовлю, а вы подумайте. До утра. А провизию, я смотрю, вам хорошую передают. Ишь ты, у нас и на съезде ВЦИКа такой кормежки не было. Буржуй вы все-таки, Григорий Константинович, буржуй, ничего уж тут не поделаешь.

## 102.

Он бывал вдруг счастлив, когда лежал так — или когда садился по-турецки, прислушиваясь — или уже не прислушиваясь к шорохам и шагам в коридоре, всматриваясь в темноту своей комнаты (камеры); счастлив, потому что свободен. Он был, в самом деле, свободен здесь, на этом вонючем тюфяке лежачи, в преддверии гибели; так свободен, как, может быть, никогда не бывал еще в жизни. И потому, конечно, был он так свободен здесь, на этом тюфяке и в этой темнице, что (вдруг, на мгновения...) совершенно все равно ему делалось, погибнет он или нет. Совершенно никакого значения не имело (вдруг...), что будет с ним сегодня или завтра, будет ли что-нибудь. Так остро и счастливо чувствовал он что-то неразрушимое в себе, какую-то, в себе, в самом, думал он, в темноте улыбаясь, себе себя, светящуюся, всегда живую, неразрушимую точку, что никакого значения уже не могло иметь для него никакое завтра, никакое сегодня. Но даже если и этой точке было суждено погаснуть, и этому неразрушимому в нем — быть разрушенным, даже и это уже было неважно ему. Было только счастье, только свобода, ничего больше не было. Душа отпускает себя на волю, душа прощается с миром. Еще он помнил, конечно, что читал об этом у того-то и у того-то, у Платона и у Плотина, в августиновой «Исповеди» и у мейстера Экхарта, но уже не в том было дело. Еще помнил он, как читал Экхарта, прислушиваясь к плеску фрейбургской, вдоль тротуаров текущей воды, к голосам, доносившимся с рыночной площади... Уже о чем-то совсем другом шла в нем речь. Он был только благодарен теперь этой жизни, отступающей от него, и

всех любил, всех жалел, и Доротею Эбб с ее плоским лицом и песочными пирогами, и Всеволода, и *grande-mère*, и всех, кто виделся ему в темноте. Уже как будто умер он в своей камере. И никакого, значит, *его* уже не было, но был кто-то в нем и вместо него, ничего не желающий, только жалеющий, умеющий только любить, ничего другого не способный вместить в себя, кроме этой любви, но такой пустой и огромный, что эта любовь была больше всего, что он мог представить себе, больше камеры, в которой лежал он, больше города, страны, степи, моря и мира. А потом не оставалось в нем ни благодарности, ни свободы, ни счастья, но только страх, только страх, и отчаяние, и желание жить, лишь бы жить, и он бегал по этой проклятой подвальной комнате, из одного угла в другой угол, и затем по кругу, по кругу, размахивая руками, не в силах остановиться.

### 103.

Началось с утра и весь день уже не кончалось — хождение, тревога. Шум, шаги и голоса в коридоре. Дверь вдруг открылась, заглянул кто-то, дверь закрылась опять. Пару раз заходил товарищ Сергей, молчал, жевал губами, тряс подбородками, ни слова не говоря, уходил. Григорий знал, что судьба его сегодня решится, страха, казалось ему, не чувствовал, только читал про себя наизусть все, что мог вспомнить, все стихи, которые успел запомнить за жизнь, почему-то начал с Лермонтова, по небу полуночи, перешел к Языкову, там за далью непогоды, к Баратынскому, столь всегда им любимому, есть милая страна, есть угол на земле, и, конечно же, еще прекрасен ты, заглохший Элизей, прочитал все из Онегина, что сумел вспомнить, первую главу и восьмую, заснул, проснувшись, увидел товарища Сергея, стоявшего перед распахнутой дверью, смотревшего на него. Слабый свет падал из коридора; в камере была ночь; черной горою стоял против света, в проеме двери, товарищ Сергей. Ну вот и все, Григорий Константинович, вот и все. Что — все? Не будьте ребенком, вы же офицер, в конце концов. Все, вам нельзя оставаться здесь больше. Бегите, я подговорил часового. Через двадцать минут придут за вами. Наши на подходе, башка бесится, всех велено расстрелять. Не верите? Думаете, я собрался бежать вас? Вы все-таки очень плохого обо мне мнения, Григорий Константинович. Жаль. Жаль, что такого плохого. Я не *бежу* вас, я вас спасаю. Проектор выключен, никто ничего не заметит. Не верите? Нет, все-таки вы не верите. Ну так поверьте. Хоть однажды. Вот в этот раз. Вам же хочется мне поверить, я вижу. Хочется, хочется. На этот раз вам очень хочется мне верить. Хочется жить, хочется еще жить. Ведь вы мне верите, да? Ведь вот вы мне уже немножко поверили, правда? Верьте, верьте мне, я всегда вам сочувствовал. Был бы на вашем месте ваш братец, пальцем бы не пошевелил для него. А вы другое дело, я это еще во Фрейбурге понял. Сразу понял, что вы не такой. Не такой, как все. Я ради вас своей шкурой рискую. Ну, идите же, бегите же, наконец. Я много зла сделал в жизни, я хочу хорошее сделать. У меня тоже душа есть, Гриша, бегите. Вот видите, вот вы уже и встали, один шаг уже сделали, ну еще один сделайте. Бегите, верьте, не сомневайтесь. Прощайте, не поминайте лихом Прямова. Не обнимаю вас, вам это ни к чему. Просто сделайте еще один шаг, вот так, уступаю дорогу вам, вот, вот, и вот вы уже в коридоре, и теперь бегите, бегите, вон в ту дверь, проектор выключен, храни вас... Проектор выключен не был; проектор тут же зажегся; проектор побежал вслед за ним. Это было теперь уже все равно. Теперь уже мог он только бежать и бежать, убегая, в одной тетради к стене, к которой приставлена была лестница и по которой шастал проектор, стараясь его нащупать, в других тетрадях — по площади, мерцавшей мертвенно-серым бульжником, падавшей за свой собственный край, бежал, бежал, убегая, мимо бугра, к дальним домикам, проектором уже схваченный и с одной только мыс-

лю, что надо бы как-нибудь, все равно как, добраться как-нибудь, из города выбравшись, до того дальнего леса, к которому он так всю жизнь стремился, и что если бы он добрался до этого леса, там, в лесу, там, за лесом, и каким-то удивительным образом он был уже в этом лесу, и все в лесу было так же, как тогда в нем было, когда-то, те же сосны и те же над соснами облака, большие, он так ясно видел их, задирая голову, над высокими соснами, быстрые, млечно-переливчатые, вместе с ним бежавшие облака, и пятна солнца, вместе с ним бежавшие по тропинке, и мох, и папоротник, и смолистый дух, хвойный запах, и почему-то уже раздвигались деревья, уже открывалось за ними, неведомое ему, воздушно-светлое, осмысленное пространство, и, никакой боли не чувствуя, еще услышал он над собой грубый голос, сказавший: задание выполнено, а, комиссар? и другой голос, как будто знакомый: хорошо выстрелил, молодец.

#### 104.

Описанная мною выше (много выше) гейдельбергская конференция 1998 года была не единственной, на которой мы с Двигубским были вместе. Другой (и последней) была конференция в Майнце летом 2005 года; проходила она (и это так странно, что, боюсь, читатель мне не поверит, но у меня есть свидетели — и нет причин выдумывать что бы то ни было на этих близящихся к финалу страницах) в библиотеке института славистики Майнцкого университета, то есть буквально — буквально! — в восьми или десяти шагах от моего теперешнего, в этой же библиотеке и расположенного, рабочего кабинета (где я сижу, вот сейчас, перепечатывая сегодня утром написанную страницу, вот эту). Я и предположить не мог, разумеется, летом 2005 года, что весной 2010-го получу здесь работу, подав документы на соискание освободившегося места, что перееду жить в соседний Висбаден; я проходил, следовательно, ни о чем не догадываясь, не слыша, как смеются надо мною всеведущие олимпийцы (а часто ли мы слышим их смех? а смогли бы мы жить, если бы его слышали?..), мимо вот этой белой двери, на которую смотрю сейчас изнутри, и мимо этих железных, в темноту и глубь небольшого, впрочем, пространства библиотеки уходящих полок, между которыми остается как раз достаточно места, чтобы в меру тонкий студент и в меру толстый преподаватель могли добраться до вождя чтению — и чтобы повесить там, в глубине, освещаемой при желании и если не испортился выключатель, электрическим, больничным, безличным светом, портрет Толстого с наставленными бровями, Достоевского с повернутым внутрь взглядом, чудакватого Тютчева и мрачного Фета, тоже, наверное, знающих теперь будущее. В Германии же существовало и существует, даже, в последние годы, разрастается и становится все более международным, некое общество, или, если угодно, некий, все расширяющийся, кружок (Arbeitskreis) любителей русской философии (до которой, вообще говоря, на Западе почти никому дела нет); не могу теперь вспомнить, что именно побудило меня летом 2005 года принять участие в ежегодном съезде оных любителей, в Майнце как раз и проходившем, а заодно и договориться с милейшими организаторами сборища о присутствии на нем моего русско-французского коллеги Павла Двигубского (Paul Dvigoubski), о котором они никогда, конечно, не слышали и которого, в свою очередь, мне тоже удалось уговорить приехать в Майнц и даже прочитать небольшой доклад на трогательно старомодном немецком языке, сохранившемся у него с юности. Предчувствие руководило мной, может быть; не создаваемое мною, и даже не могущее быть сознанным, потому что по ту сторону всякого сознания лежащее (звучащее, движущееся...) желание показать ему, пока еще есть время, эти кулисы моего будущего, свидетелем которого, в земных пределах, ему уже не суждено

было стать. Как бы он улыбнулся, наверное, сообщи я ему эти откровенно абсурдные мысли; с насмешливым и благосклонным снисхождением к чужим умственным играм. Я бесконечно рад, скажу просто, что он видел эти книжные полки, этот бетонный дворик в окне. Моя мама уже не видела их, Ф.Е.Б., разумеется, тоже. Двигубский, все-таки, видел. И это хоть как-то (хоть как-то...) связывает настоящее с прошлым.

### 105.

Он был уже совсем худ в то лето. Как раз за несколько дней до конференции вышел он, как выяснилось, из больницы, где проделывали с ним, по его словам, всевозможные мерзости, залезали кишкой во все отверстия, какие смогли найти, со всех сторон просвечивали и всячески, вообще, измывались. И — что же? И ничего. То есть как — ничего? То есть взяли пробы и скоро дадут ответ. А вопрос, как вы понимаете, Макушинский, стоит чрезвычайно просто. Или это рак, или это не рак. Если это рак... Я поспешил, конечно, уверить его, что не рак, что я знаю, что простым глазом видно, что никакого рака быть у него не может, вот ведь тоже придумали, что мне был *голос с неба* и что вообще все прекрасно. Прекрасно, как же, сказал он. Мы шли по набережной вдоль Рейна, каковая набережная, выяснил я впоследствии, есть, собственно, лучшее место во всей округе, единственное, где чувствуются размах, мощь, простор, тот простор, тот размах, которые как будто расширяют что-то в тебе же, ради которых мы ездим, например, на море, например, в горы. Я никогда не любил горы, сказал Двигубский. Я всегда любил только море. А так ведь по-настоящему и не пожил на море, сказал он, глядя на другой берег, где в летнем вечернем мареве видны были чуть размытые холмистые очертания Таунуса. Было много движения вокруг, были машины, спешившие туда и сюда по многорядной улице возле набережной, машины на бесконечном мосту через Рейн, велосипедисты, поднимавшие пыль среди платанов, были панковые парни на досках с колесиками, взлетавшие, грохотавшие на металлической, резко вниз и затем резко вверх уходящей короткой дорожке, нарочно для них поставленной, их братья по разуму на каких-то особенных маленьких велосипедах съезжавшие, и тоже взлетавшие, и чуть ли не кувыркавшиеся на той же дорожке, на ступеньках короткой лестницы, ведущей к воде, были, наконец, баржи, прогулочные корабли, катера и моторные лодки, в разные стороны разрывающие гладь реки. Для вас это Рейн, а для меня это в последний раз. В последний раз река, в последний раз небо... Что тут можно было ответить? Мы прошли под мостом; машины, летевшие по нему, остались у нас позади; панки на досках тоже остались в прошлом; между улицей и набережной появилась гостиница «Хилтон», отделившая нас от автомобильного грохота. Он ничего не успел и не сумел в жизни, говорил Двигубский, останавливаясь, глядя на баржи и воду, поднимая и опускающая летящие по-прежнему брови над собственным своим морем, отраженным в глазах, ничего не сумел, не успел, проиграл все партии, которые только мог проиграть, не состоялся как ученый, ничего толком не написал, университетской карьеры не сделал, хотел вмешаться в политику — политика обернулась Путиным, надежды рухнули, мечты не сбылись, даже полюбить как следует не сумел, любил дочку — дочка растет чужим человеком, мечтает о деньгах, о работе в банке, об акциях, ассигнациях и прочих, черт бы их побрал, инвестициях, презирает его — и правильно. Он и заслуживает презренья. Потратил годы на дурацкую повесть, которую написать было невозможно, которой и писать-то не следовало. Погубил свою жизнь в погоне за этой химерой. А что сделал ради этой химеры? Даже в Елец не съездил, куда так много лет собирался. Даже в этот ваш Эйхштетт... Ну уж в Эйхштетт-то, сказал я, съездить не сложно. Просто поехали отсюда на машине

со мною, через несколько часов будем там. А что, поехали, Павел? Поживете у меня, наконец... Он вдруг встрепенулся, я помню. Да, сказал он, поворачиваясь, наконец, прямо ко мне, да, это мысль, поехали, дельная мысль, завтра же, после его доклада. Хотя от Парижа это в прямо противоположную сторону... Потом опять сник и осунулся. Нет, теперь уже ни к чему. Теперь уже все равно... Ну, поехали просто так, сказал я. Просто так, развеетесь, отвлечетесь от ваших мыслей. Как же, отвлечешься от них, сказал он. Да что вы, Двигубский, сказал я, через три дня выяснится, что никакого рака у вас нет — а я знаю, что его нет! — и мир предстанет вам в совсем другом свете. И эмигрировать, сказал он на это, было незачем, Светка меня подбила, вся моя жизнь осталась в России. Прожил здесь чью-то чужую жизнь, ничтожную жизнь. Чужую жизнь, чужую жизнь, сказал он и повторил. Я все-таки еще пытался ему возражать. Никто из нас, сказал я, не знает и уже никогда не узнает, как сложилась бы его жизнь, если бы он остался в России. Невозможно прожить две разные жизни и потом сравнить их друг с другом. Может быть, стояли бы сейчас возле Яузы и сожалели, что не уехали в свое время. Все это вздор, сказал он. Это вы меня утешаете, а мне уже все равно. Уже не до утешений. Почитайте мне лучше стихи, сегодня вечером. Что я и сделал в тот вечер, когда мы возвратились в расположенную возле самого кампуса крошечную гостиницу с прелестным для двигубского уха, но, конечно, тоже не утешившим его названием «Римский камень» (“Römerstein”) — Майнц все-таки и как-никак, говорил он, но говорил это словно уже по старой, надоевшей ему самому привычке, не вслушиваясь в свои же слова, как-никак и все-таки Майнц — бывший Могонтиакум, столица римской провинции Верхняя Германия, *Germania Superior*, и я, конечно, могу поступать, как хочу, но он все-таки пойдет завтра в «Римско-германский музей», раз уж здесь оказался, как видите, и он еще способен интересоваться тем-сем — когда, следовательно, мы возвратились в эту крошечную и какую-то почти деревенскую гостиницу возле казарменного, взорванного непрерывными стройками университетского кампуса, — гостиницу, где жили участники конференции и где я останавливался впоследствии, подав документы на соискание освобожденного места и приезжая на собеседование с будущими коллегами и пробную лекцию, — я прочитал ему в его номере почти все, к тому времени написанные мною стихи, вошедшие затем в мою, в 2007 году изданную книжку «Свет за деревьями», стихи, которые он слушал так внимательно, как в прошлой жизни слушал его отец мою прозу, которые понравились ему, показалось мне, так, как моя проза не нравилась ему никогда, так что он несколько раз просил меня повторить то и это, и брал в руки, и перечитывал листочки, не без задней мысли почитать ему эти стихи, привезенные мною в Майнц, и пускай он был недоступен для утешений тогда и не нуждается в утешениях теперь, для меня, здесь пока остающегося, этот тогдашний его отклик до сих пор утешителен, не менее, если не более, чем тот простой факт, что он видел, еще раз, этот взорванный кампус, эти бетонные стены, кулисы моего настоящего. Среди же участников конференции, упомянутых только что, оказался бойкий московский профессор с седой бородкой и бегающими глазами, отлично знавший, как выяснилось, его отца (Константин Павлович, ну как же, ну как же...), вновь и вновь порывавшийся поговорить с П.Д. о его *батьюшке*, чего Двигубскому как раз совсем не хотелось, так что, всякий раз при слове *батьюшка* передергивая плечами, он и в первый, и во второй день конференции все пытался как-нибудь от профессора отвертеться; на третий день профессор сам отстал от него, только изредка, я помню, обращая в его сторону недоуменные взоры. Была зато приятная тихая дама из, кажется, Билефельда, белокурой и нарядной, с белой камеей в глубоком вырезе летнего платья, дама, несколько для меня, например, не привлекательная, но на которую он, Двигубский, время от времени поглядывал с таким откровенным эротическим интересом, како-

го я не знал за ним даже в юности. Никогда, скажу просто, на моей памяти ни на одну женщину он так не смотрел. Дама, прочитавшая, почти не поднимая глаз от рукописи, вполне дельный доклад о Сергее Булгакове, сперва тоже отвечала на его взгляды своими недоуменными, потом перестала смотреть в его сторону, а затем уже начала улыбаться ему в ответ, так что установилась, в конце концов, некая система взглядов, как тонкие нити протянутых сквозь небольшое помещение библиотеки славистского института (от полки с Чеховым к полке с Толстым и от словарей к Достоевскому), поскольку я наблюдал, конечно, за ними обоими, Двигубский же, упорно старавшийся не встречаться со мной глазами, как бы просил оставить его в покое, а бойко-бородатый московский профессор все никак не мог понять, почему у почтенного, увы, покойного Константина Павловича Двигубского такой нелюбезный и странный сын. Прочие участники конференции ничего этого, мне казалось, не замечали.

### 107.

Рака у него не нашли. Он ожил, как сам говорил мне по телефону. Осень 2005 года провел он, собирая, систематизируя и дополняя свои многолетние записи, относящиеся к той большой книге о русской истории, которую еще в юности он задумал; под самый Новый год свалился с такой болью в животе, какой никогда еще не испытывал. Это был рак печени, а не желудка, как сперва думали, если они вообще думали что-нибудь, равнодушно-презрительные врачи. За операцией последовала химиотерапия, волос у него не осталось... Я приехал в Париж осенью 2006 года. За день, кажется, до моей, описанной выше встречи с художником Икой в его чудесной мастерской на бульваре Сан-Жермен, мы поехали со Светой к Двигубскому, лежавшему в загородном онкологическом санатории, где-то, если память не изменяет мне, недалеко от Понтгазы; бесконечно долго, чтобы пересечь из метро в RER, шли по загибавшемуся за себя самом коридору, где все арабы всего мира продавали все блески, всю рухлядь этого мира, затем ехали и ехали на этом RER, казалось, что никогда не доедем, наконец, доехали, пересели в набитый толстыми негритянками и детьми негритянок автобус, выбрались из него, пошли через парк к санаторию. Парк был как раз чудесный, осенний, желтый, красный и солнечный. Листья под ногами шуршали, как в Павловске. Не хочу описывать его в больничной постели, с этим ужасным металлическим треугольником, над ней нависающим, за который брался он полупрозрачной рукою, чтобы подтянуться и выпрямиться. Какая-то надежда еще была, или мы делали вид, что была. Мы делали, он, конечно, не делал. Он смотрел на меня огромными на голом черепе, неузнаваемыми глазами, чужими глазами, глазами Григория, всматривающегося в темноту своей камеры. Глупо, Алеша, сказал он, в первый и в последний раз в жизни назвав меня так. Как глупо все вышло. Mort a Paris, près de Pontoise... Он попробовал улыбнуться. На тумбочке лежали шесть или семь толстенных темно-красных томов воспоминаний Д.А. Милютина, как раз тогда выходивших в России, все шесть, если не семь, в длинных, с трех сторон вылезавших наружу закладках. Почему-то мне показалось, что они просто так лежат, что он не прикасается к ним. В мой следующий приезд к нему, уже без Светы, их не было. Был томик Пушкина на тумбочке и том Тургенева, обложкой кверху, на одеяле. Умереть с русским романом в руках. А я ведь сам герой русского романа, вечный неудачник, лишний человек, попусту растративший свою жизнь. Не пытайтесь возражать мне. Я не пытался. Еще дотянул он до Нового года, еще несколько раз поговорили мы по телефону. Затем уже только рыдающая в трубку Светлана распра-

шивала меня, как человека, имеющего некоторый опыт в этом деле, о подробностях и формальностях перевозки урны в Россию.

### 108.

В августе 2007 года мы отправились вдвоем с А. из Петербурга в Елец, в память о Павле — и дальше, в Белгородскую область, однажды тоже им упомянутую; поездка, которую описал я, как уже сказано, в отдельном очерке и которую не буду поэтому описывать здесь; скажу лишь, что в Елец мы ехали, минуя Москву, ночным, не запомнившимся мне путем, в относительно чистом и не очень душном купе, а возвращались совсем другой дорогой, из Белгорода, где на вокзале была несравненная русская толча и путаница, в приятном соединении с тридцатиградусною жарою, и на какой перрон придет поезд, никто не знал, узнать было негде, так что, когда он пришел, вся толпа со всеми детьми, чемоданами, рюкзаками, пластиковыми сумками, баулами и проклятиями железной дороге, возлюбленному отечеству, бросилась на какую-то самую дальнюю платформу и по этой платформе в какой-то самый дальний конец, где, как выяснилось, пришедший из ниоткуда и в никуда уходящий состав имел двух-, или трехминутную остановку; и пытаюсь все-таки, почти уже из упрямства, катить то и дело заваливавшийся набок чемодан с колесиками по разбитому, в змеящихся трещинах, вздутиях и выбоинах асфальту платформы, я подумал, я помню, тесным матерящею толпой, что гражданская война в России не кончилась, никогда, наверно, не кончится, прав был Двигубский; в вагоне же кондиционер не работал и окна не открывались. Мы выбегали, разумеется, из душегубки, и в Курске, и в Орле, и еще на каких-то, забытых мной станциях. А что пассажиры? отвечала густо покрашенная, вилившая задом и вонявшая страшной смесью пота с приторными мускусными духами проводница вопросом на вопрос своей товарки из встречного поезда, остановившегося на той же, что и наш незабываемый поезд, платформе. Что — пассажиры? Жалуются, конечно. Ничего, доедут, куда они денутся... Доехать было почти невозможно, но все-таки мы доехали. Ночью, когда жара чуть-чуть спала, ухитрился я, на мгновенье, заснуть; тут же, или так мне показалось, проснувшись, увидел в окне освещенные башни бесконечно долго тянувшихся новостроек, еще башни, еще и еще, совсем вблизи и в не соизмеримом ни с чем отдалении, вавилонские громады, ассирийские протяженности. Я так и не понял, на какой вокзал мы приехали, если вообще на какой-нибудь приезжали. Между сном и сном, в безвоздушном забытии, увиделись мне эти башни и окна, убежавшие за край земли, на край света. И таким сильным было это чувство, что вот же это Москва, за окном и занавеской в окне, Москва, где я прожил тридцать два года своей жизни, где пятнадцать лет не бывал, что, возвратившись через пару дней после этой нашей поездки, как и предполагалось заранее, из Петербурга в Мюнхен, я, чего заранее вовсе не предполагалось, купил, еще через три недели, самолетный билет в Москву, и в один прекрасный, уже осенний, золотой и солнечный день, приземлился на Домодедовском аэродроме, где А., приехавшая ночным поездом из Петербурга, уже меня дождалась.

### 109.

Мы все вступаем рано или поздно в тот возраст, в котором возвращение на родину оказывается возвращением на кладбище. Феб похоронен на одной московской окраине, Двигубский, рядом со своим отцом, на другой, недалеко от новой окружной дороги с ее полчищами пытящих грузовиков. Седой и недовольный Сережа отвез нас туда на своем новом автобусообразном «Рено», в ко-

тором никак, несмотря на все наши просьбы *сделать потише*, не умолкала и даже тише не делалась, хотя хмурый водитель и крутил какие-то рычажки, металлическая музыка, с невыносимой настойчивостью повторявшая все одни и те же слова, все про любовь, про любовь, *baby, baby, I love you*, музыка, вновь и вновь прерываемая, но и от этого тише не делавшаяся, телефонными звонками и Сережиными криками в трубку, что если до вечера Петров не подпишет, он, Сергей Двигубский, пошлет их всех в жопу, а вы как хотите. Памятника еще не было, была только табличка «Двигубский, Павел Константинович. 1958 — 2007». Все-таки дерево было рядом, за синенькой оградой соседней могилы: сосна, высоко в бледное небо, выбиваясь из каких-то смутных зарослей, возносившая розоватые нежные ветви с отчетливыми иголками. Возле новой бревенчатой часовни, где православная А. поставила свечку за упокой души моего друга, о котором я так много рассказывал ей, стояли, перешептываясь, плотной группой, не в трауре, средних лет, человек восемь-девять мужчин и женщин, одетых во что-то такое скучное, серое, чего я много лет уже не видал; молоденький, русский, с крестьянским лицом и неуверенными глазами священник, спустившийся к ним по ступенькам, тут же вступил с ними в какие-то, очевидно, сложные, путанные переговоры, что-то им плавно втолковывая, поводя руками, поднимая вверх указательный палец; вдруг, как будто соскучившись, громко сказал, что — отлично, вот так-то мы сделаем, — и пошел обратно к часовне; Сережа вынудил нас возвратиться в Москву. Москву, как известно, называл Чаадаев — Некрополем. Живые тени появлялись там тоже. Я постарался с ними со всеми встретиться, всеми, кто меня помнил, кого я помнил, с кем переписывался, и с кем не переписывался все эти годы, кого сумел разыскать. Из прошлого выплывали, конечно, улицы, Арбат Новый и Старый, Гоголевский бульвар и Тверской, Борисоглебский переулок, Хлебный и Мерзляковский, Леонтьевский, Брюсов, наконец — Камергерский. В Камергерском долго стояли мы, глядя на окна той квартиры, где я прожил семь лучших лет моей жизни; окна эти ничем не отличались от соседних с ними, от окон слева или окон справа от них; когда-то всем известного градусника на торце этого дома теперь больше не было; на месте тоже известного всем общественного туалета, от Тверской чуть подальше, стоял теперь памятник сутулому Чехову. Дошли мы, наконец, и до Чистых прудов, прошли мимо театра «Современник», завернули в один и в другой переулок, заглянули в тот двор и постояли перед тем подъездом, в который некогда вошел я вслед за Двигубским, чтобы попасть на чердак. Двор этот, отделенный теперь от переулка новыми, металлическими, на колесиках разъезжавшимися воротами, лишь совершенно случайно, как выяснилось, открытыми в ту минуту, когда мы вошли, заставлен был тоже новыми, очень шикарными и дорогими машинами, отъявленными «Ягуарами» и бесстыдными «Бентли», а в остальном был такой же, как прежде, пыльный и путаный — разноразмерной торцов и подъездов, гаражей, тополей. Была еще будка, и в будке бабка, распорядившаяся воротами. Из будки выбравшись, бабка потребовала у нас отчета, что, мол, мы здесь делаем и как здесь осмелились оказаться. Мы пробормотали что-то невразумительное. Идите, идите отсюда, заголосила старуха, шляются тут всякие, сейчас милицию позову. Да мы, бабушка, только... Нечего, нечего, кричала бабушка, хрипя и тыкая в нашу сторону костлявой рукой, нечего, уходите отсюда... Нос у нее был, конечно, крючком и палец, которым она в нас тыкала, тоже крючком. Колбочки глаз и вселенская ненависть в них довершали картину. В России, сказал я, тебя всю жизнь куда-то не пускают, откуда-то гонят... Мы вышли снова к Поганой луже (к Чистым прудам), перешли трамвайные рельсы, отделенные от бульвара чугунной чудной решеткой, перелезли через нее, подошли, наконец, к воде, подернутой испуганной рябью, постояли, посмотрели на эту воду, на дома и дале-



кие крыши на другой стороне бульвара, на невысокое небо над крышами. Малыш катил на велосипеде с добавочными колесиками, справа и слева от заднего колеса, нам навстречу, мальчик лет, наверное, шести, может быть, и пяти, почему-то совсем один, без мамы, без папы, яростным звонком разгоняя редких прохожих, еще ребенок, но уже с какой-то подростковой бесшабашностью в облике и повадке, не малыш, но *малый*, не мальчик, но, хотелось сказать, *парнишка*, беловолосый, толстый, очень красный от возбуждения, с почти злым от возбуждения и счастья лицом, сперва катил нам навстречу, затем, заставив нас расступиться, проехал мимо нас и сквозь нас, бешено звоня в свой звонок, один, без родителей, крутя педали изо всех отпущенных ему сил, не глядя по сторонам, с лицом злым, сосредоточенным и счастливым, наезжая на мелкие лужи в белом гравии бульварной аллеи, брызгая водой из-под шин, объезжая пруды, удаляясь от нас, уезжая к Покровским воротам.

Геннадий Русаков

## Секретный Зорге

\* \* \*

Солнце вышло в тумане. В Оке расплеснулась вода.  
 Дни огромны, и лето кипит ворошеньем акаций.  
 Голосами разлуки поют по ночам поезда.  
 И устали столбы на шляху об июль спотыкаться.  
 Скоро Яблочным Спасом нас август поманит в окно.  
 Скоро мёд закипит и запахнет на сорок подворий.  
 Скоро жизнь ворохнётся и сдвинется времени дно.  
 И крошачимся мелом отметится век на заборе.  
 А по жилам опять загремит кубовой кипяток,  
 и гортань содрогнётся, как будто от птичьего взмаха.  
 Выйдет утро и встанет счастливым лицом на восток,  
 чтоб меня на ветру, как жена, обнимала рубаха.

\* \* \*

Когда бельё летит, оно таки летит!  
 Так рвётся в небеса, что отпустите птицу!  
 Всего-то пара брюк и всяческий петит —  
 кому о них жалеть? Пустите, раз летится.  
 Ух, брюки воспарят и вспыхнет порх рубах!  
 Как в том не углядеть символику и знаки?  
 Конечно, в этом Кипр, наверно, Карабах  
 и прочие нерадостные бяки.  
 Я, Господи, уже всё это проходил...  
 Пускай летит бельё. Нестрашная потеря.  
 Там знаков никаких, а просто порх и пыль.  
 Там лишь бельё летит, собой пространство мера.

\* \* \*

Пакостный дождичек сеется...  
 Как-то мне нынче россеится.  
 Как-то московится мне.  
 Или, скорее, рязанится?  
 Дождичек тянется, тянется...  
 Низкое небо в окне.

**Об авторе** | Геннадий Александрович Русаков — постоянный автор «Знамени». Выпустил семь книг стихотворений. Предыдущие публикации стихов в журнале «Знамя» — № 10, 2009; № 4, 2010; № 10, 2010; № 5, 2011.

Там, за лесами, за Горами,  
сёла с пустыми заборами.  
Серое в поле висит.  
Дни без названья и повода.  
Ни воробья и ни овода.  
Поезд вдали голосит.

Боженька, что ж это деется?  
И на кого нам надеяться,  
если ты капишь да льёшь?  
Если расквашены выселки,  
если сады словно высекли  
и простужается ёж?

### **Романс**

Когда пройдёт озноб работы  
и время встанет на носки,  
я разломлю, как хлеб и соты,  
засохшей памяти куски.  
И тотчас в этом концентрате  
(лежалый жмых, осотный слив)  
плеснутся взмахи женских платий...  
И тронет нежности наплыв.  
Мне примерещится прощанье,  
вокзал, подножка, низкий взор...  
Моё докучливое тщанье.  
Её уклончивый укор.  
А на перроне будут где-то  
бренчать про это и про то,  
запахнет острым из буфета...  
Я застегну на ней пальто,  
Её лицо неловко трону,  
на пальцах запах унося.  
И по перрону, по перрону,  
нелепым плечиком тряся...

\* \* \*

Темнота плывёт в твои волосы.  
Начинается ночь на земле.  
И скудеют закатные полосы  
на моём колченогом столе.  
Ты — как звук золотого молчания,  
не задетой гортанью струны.  
Ты древесное птицекачанье,  
небеса до начала войны.  
Я тобою ничем не обиженный.  
Весь мой скарб у меня под рукой:  
этих дней поределье рыжины,  
этой осени кроткий покой.  
Дальше стол с подломившейся ножкою,  
и проросшая сдуру трава...  
Мы с тобой под одною обложкою —  
не бывает роднее родства.

\* \* \*

Встать волчьей ночью — белое в окне.  
 Свечок сверчит. Шушукаются мыши.  
 — Эй, кто-нибудь! Наведайся ко мне! —  
 Куда там: навалило выше крыши.  
 Всю ночь метёт, наутро не найдут.  
 Снега, Россия, тощие вороны.  
 Я продержусь, последний мой редут!  
 Меня всегда спасали макароны.  
 Я продержусь... В доме скрипят полы.  
 Растопка печи — школа выживания.  
 Как мы, однако, в старости смелы,  
 решаясь на такие гощеванья,  
 когда в отвесной прорве над коньком  
 созвездия братаются лучами.  
 Собаки спят, не помня ни о ком,  
 и ощущают крылья за плечами.  
 ...Как метеор, прорывший небосклон  
 в упрямой спешке саморазрушенья,  
 летела ночь, в снегу со всех сторон...  
 И первый петел начал голошенья.

\* \* \*

Так много поэтов, которых мне хочется знать!  
 Но всё-таки лучше посредством печатного слова:  
 поэты драчливы, а выпьют — попробуй унять...  
 Я нынче пужлив, да и нету запала былого.  
 К тому же устал я от сложных и нервных душ,  
 от поисков истин, которых не каждому надо...  
 Поэты — в стихах, а не в трёпе застольных кликуш,  
 гораздых тебя правотой довести до упада.  
 Какая же всё-таки сволочь плешивый глагол!  
 Ты думал уйти от себя, за строкой отсидеться,  
 а он тебя на люди тащит, и вот он ты — гол:  
 ни срама прикрыть, ни от срама куда-нибудь деться.  
 И в сборище равных, на званом казённом пиру,  
 я знаю, что лучший — не этот, с расчёсанной гривой,  
 но тот, кто с подноса сгребает мясную муру,  
 а сам с перепоя сегодня совсем молчаливый.

\* \* \*

Какие, к дьяволу, дуэли?  
 Мы не играем в ту игру.  
 Давно дуэли надоели...  
 Я от бессонницы помру.  
 И вообще, откуда это:  
 чуть что — так лезть под пистолет?  
 Не в том призвание поэта,  
 особенно преклонных лет.  
 Ему бы пенсию с наваром  
 и незлобивого врача,  
 который лечит скипидаром  
 и не зарежет сгоряча.  
 Соседа с аллергией к шуму,

жену — такую, как моя...  
Чтоб жил, подлец, и думал думу  
о совершенстве бытия.

\* \* \*

Такой мороз, что слёзы вышибает.  
А хорошо, и холод веселит.  
Февраль, снега, и всё как подобает.  
И день лафитной рюмочкой налит.  
Огурчиком на выставленной вилке!  
Друзей к столу! Вспотевшее стекло —  
графинчик или попросту в бутылке...  
Ай, хорошо — по первое число!  
Как обойтись без радостей пустяшных?  
Без суеты нечётного числа?  
Без будней, без опасностей нестрашных,  
которых жизнь другим недодала?  
Из ухарства, гусарства, сумасбродства,  
для женщины, а то и просто так,  
вдруг потерять с самим собою сходство  
и стать другим хотя бы на пятак!  
Хотя б на грош — под ветром, на припёке,  
по мелочам судьбу не торопя,  
отмеривать назначенные сроки,  
столетие за пазухой копя.

\* \* \*

...И сквозь хрестоматийный глянец —  
иного времени Главлит —  
чужой судьбы протуберанец  
тебя внезапно опалит.  
И станешь ты и злей, и круче,  
проглотишь в горле тесный ком,  
как тот шотландистый поручик,  
в фуражке с мелким козырьком.  
Как тот потомок эфиопа,  
сверчок, задира, хохотун —  
и гоц, и топ, и два прихлопа! —  
с весёлой трубочкой во рту...  
Как все они, твои родные,  
с одной размахистой судьбой.  
Дички, ребята заводные...  
И всё исполнится с тобой:  
не в тот же ряд с суконным рылом,  
а сам с собою наравне...  
Но в том же времени немилком.  
И в той же горестной стране.

\* \* \*

...А в эти дни Великий Шансонье,  
тогда рычавший с каждого балкона,  
учил, что жизнь не просто бытие  
превыше разуменья и закона,

но смысл всего, и надо просто жить  
 до той поры, пока хватает счастья,  
 а дальше — пшик, и нечем дорожить,  
 и нет надежды, веры и участия...  
 О, Господи, зачем мне это знать,  
 и верить в это, и бояться страха?  
 И этот путь себе запоминать,  
 а мне нельзя, я пуганая птаха,  
 меня мой век страшит крутизной,  
 блатною феней — «стрелка», «фраер», «ксива».  
 И я лечу по линии сквозной —  
 запутавшийся, старый, некрасивый...

\* \* \*

Я житель городской, любитель толп и гама,  
 асфальтовых дождей приветствующий скок.  
 Мне транспортных гудков проверенная гамма  
 нужна для меры мер и калибровки строк.  
 Я помню номера никулинских маршруток.  
 Снесённые ларьки торгуют барахлом.  
 И жизнь ещё права в любое время суток,  
 и ничего ещё не отдано на слом.  
 Кто живы — те живут, а умершие чтимы.  
 Всё прочно на земле. По ней идут дожди.  
 И смотрят в небеса деревья-побратимы,  
 как будто что-то есть покуда впереди.  
 Я житель городской, приученный к порядку  
 сезонов, поездов, авансов и зарплат.  
 Куда меня теперь, кто мне приложит ватку,  
 когда душа болит,  
 со временем не в лад?

\* \* \*

...И продолжалось время щипачей,  
 дорвавшихся до крупного обжора.  
 Стыд не стыдил. Вор воровал у вора.  
 Я оставался на земле ничей.  
 И, просыпаясь, видел белый свет,  
 был весел, кроток, старым и никчёмным.  
 Кормил себя трудом своим надомным  
 и путал счёт своих нелепых лет.  
 (Непросто быть угрюмым стариком  
 и раздвигать столетие плечами,  
 дурить, курить и бодрствовать ночами,  
 живя от всех своим материком).  
 Хотелось благородства и любви.  
 А получалось чёрт-те что и гаже:  
 Чечня, резня, зачистки и продажи...

Мой мир стоял, как прежде, на крови.

\* \* \*

На улице Лавалья  
меня расцеловали.  
На улице Смирнова  
мне дали по балде.  
Не жизнь, а трали-вали...  
Мы рано узнавали,  
кому за что давали,  
когда, и, ясно, где.

Не только хлебом живы,  
мы были в меру лживы  
и очень осторожны  
по части языка:  
совсем не лингвинисты,  
мы знали, сколь неистов  
при самовыраженьи  
язык у дурака.

Товарищи парторги,  
я ваш секретный Зорге,  
решением инстанций  
в столетие внедрён.  
Я будто сплю, но занят  
сличеньем показаний,  
а мой набор вещдоков  
и вовсе недурён.

Грядёт иное время.  
Придёт иное племя.  
На что ему вещдоки?  
Оно само вещдок.  
И в нынешнем столетьи  
нам судьи — наши дети.  
Но я на их разборки,  
простите, не ходок.

Афанасий Мамедов

## **Мы не любили Брамса**

рассказ

Марик с Айдыном, как всегда, подпирали угол Второй Параллельной и Джабара Джабарлы, жадно внимая словоохотливому незнакомцу, которого я уже встречал неподалеку отсюда.

И тогда, и сейчас залетного малого можно было принять за турка или беженца из Ирана, если бы не Афаг, светловолосая узколицая барышня, с которой я видел его пару раз и которую в свое время страстно вождели Айдын с Мариком.

По их взвинченным, чрезмерно натуралистичным рассказам, державшимся на скрепах соревновательного пыла спортивных колонок и осведомленности анатомических атласов, я понимал, что у них с Афаг ничего не было. А вот с этим чуваком у нее явно что-то наклеивалось. Такие вещи чувствуешь.

Я вспомнил, как еще несколько лет назад Афаг простреливала меня солнечными зайчиками сквозь листву на другой стороне улицы, из окна бабушкиной галереи, а я, стоя на балконе, делал вид, будто не знаю, кто пробивается ко мне с помощью солнечной азбуки, потому что уже тогда голова моя кругом шла от Гюльмиры, «маркизы ангелов».

Незнакомец, втиравший Марику с Айдыном, чувствовал, что его разглядывают, изучают, и всем видом давал понять, что давно привык к интересу, вызываемому его персоной. На нем были сутулый кожаный пиджак цвета оранж, популярные не в здешних широтах линиялые джинсы и черные сабо на босу ногу.

«Да, не у каждого хватит духу рассекать так по нашим Параллельным, — взял я на заметку. — Но даже в таком босяцком прикиде, поди ж ты, покори сердце Афаг».

Я протянул незнакомцу руку, здороваясь скорее с пиджаком оглушительно-го цвета, чем с его владельцем.

— Элькан, — представился незнакомец, сохраняя в обреченной на вечный сон европейской манерности бравурные кёмюр-мейданские нотки. И тут же легко и беззаботно воспарил над нами:

— Кто из вас слышал о великом барабанщике Билли Кобэме? Он играл с Майлсом Дэвисом и Джоном Маклафлином. «Спектрум» вы, конечно же, пропустили, господа?.. — и вытащил ногу из сабо, и лениво почесал пятку о расклевенную штанину, словно дачник в гамаке после комариного признания в любви.

**Об авторе** | Афанасий Исаакович Мамедов родился в 1960 году в Баку. Служил в авиации, сменил множество профессий в Баку, а потом в Москве, окончил заочно Литературный институт. В периодике печатается с 1983 года. Автор книг прозы «Хазарский ветер» (2000), «Фрау Шрам» (2003), «Слон» (2004), «Патриций» (2005), «Время четок» (2007). Лауреат премий журналов «Дружба народов» (1996, 1998), «Октябрь» (2006), имени Юрия Казакова (2007), имени Ивана Петровича Белкина (2011). Живет в Москве.

В «Знамени» был опубликован рассказ «Мбоу, Рембрандт и азербайджанские ковры» (2011, № 7).



Мы слушали его с плохо скрываемым любопытством. Баку слыл прибежищем отчаянных меломанов: классика, этномузыка, эстрада, джаз и, конечно, рок. Это шумное и незаконно прорвавшееся в СССР искусство вело нас, свободолобных, но далеких от зрелой трезвости старшего поколения, колеблющихся между восторгом и отвращением, к коллективному открытию бытия.

— А Билл Чейз?.. Кто-нибудь вообще слышал о группе «Чейз»? — не унился Элькан. — Духовая секция в четыре трубы. Музыканты XXI века. «Чикаго», на который вы молитесь, просто отдыхает. Выпустили три диска и разбились в авиакатастрофе... Айда, пацаны, пиво пить, научу по-питерски!..

Пиво пили в «Парижских тайнах», катакомбной пивной со сводчатыми полками неподалеку от универсама Шахновича. Там же и водкой отоварились.

«По-питерски» надо было пить так: наполовину выпиваешь кружку, а в освободившееся место — злой «нефтянки» до краев!..

Айдын, Марик и я и одной не осилили, Элькан же под вареный горох нохуд (он еще картинно подсыпал соль на обод кружки) приговорил две.

Из его фьюжн-повествования, с избытком снабженного переводными литературными клише и межконтинентальными «однажды и навсегда» с героической остановкой сердца в положенных местах, я понял, что он даже по духу беженцем не являлся, вернее, покидать-то родные края покидал, конечно, но не как иранцы, скорее уж, как Чацкий, папу которого эти самые иранцы...

В Питере «горе от ума» спекулировал джинсой и пластинками, играл в каких-то интуристских кабаках на бас-гитаре и однажды, после крупной валютной бузы, доигрался до возвращения на родину. Потому, видно, и не знал я Элькана прежде, что более трех лет его мотало далеко от наших плохо освещенных пределов.

Еще через три сладко-душные болгарские сигареты мне стало ясно, что запертая Эльканова душа обретала полноту и цельность, когда он отогревал стылую от невских сквозняков кровь симфо-джазом, джаз-роком и фьюжном.

Партия Элькана была совсем иной, нежели наша, кёмюр-мейданская, хардрок-овая. И пока что, при всем нашем культурном шоке, мы не были готовы променять ее на какой-то там, все еще туманный фьюжн. («Фьюж-ж-ж-жн», — жужжа, кружил над нами Элькан, продолжая время от времени по-дачному почесывать пятку.)

Элькан выпил свои две «по-питерски», заказал третью вполне себе бодрячком и... исчез. (В пепельнице психоделила покинутая им сигарета, и синий дымок недорассказанной питерской байки резал мне третий глаз.)

Сначала мы думали, он облегчиться пошел, даже успели несколько раз перекинуться завершающими любое тяжкое возлияние: «Брат, ты меня уважаешь?» — но нового знакомого все не было.

— В Питер рванул, — предположил Айдын, комкая газетные кулечки из-под нохуда, — у него ж там связи, бас-гитара осталась.

— Мозги у него там остались, — Марк собрал скомканные Айдыном кулечки, положил в пепельницу и возжег гороховые передовицы.

Пепельница была из толстого стекла, и мы так и не дождались, когда она расколется. Зато дождались разъяренного пивного разливалы, угрожающего нам мыльной кружкой.

На вокзал или в аэропорт, несмотря на крутые алкогольные виражи, все же решили не ехать, просто с полчасика поискали нового товарища в окрестностях Молоканского сада и кинотеатра «Вэтэн».

Пока кружились вокруг трех фонтанных нимф, я, похлопывая безупречно вылепленной серебристой воблой по ладони (мне нравились эти роковые шлепки), пунктирно сообщил Айдышке и Марику, что, несмотря на Курасаву и Колтрейна, жизнь без Гюльмиры теряет для меня смысл. В результате всю дорогу до Кёмюр-мейдана, до дома, мы проговорили о смысле жизни, получалось, я раскололся с единственной целью — вести пространственные философские дебаты.

Мамы дома не было, она сидела у тети этажом выше и, к счастью, не видела, в каком состоянии вернулся ее сын.

Мне необходимо было отыскать ручей, которого ни разу не касались ни пастухи, ни горные козы. Я слышал, как шумит он где-то, чуть поодаль от моей двоившейся Аркадии, но не находил его. Вода, которую я пил из крана, была теплой, тронутой темными силами и не утоляла жажды. Вызывала только тошноту и головокружение. Меня накрывали четыре стены вместе с голландской печью, семью разнокалиберными слониками, фотографией бакинского бульвара в очень плохую погоду; чужая мебель подплывала неожиданно, с расстояния, не доступного даже луженой глотке...

Воспользовавшись одиночеством, я решил уйти в сторону тамарисковых далей, как уходили из жизни патриции в Древнем Риме. Как уходил усталый моралист Люций Анней Сенека. Я включил магнитофон, поставил душераздирающий «Космический блюз» Дженис Джоплин: «Не жди никаких ответов, их не будет с годами...» — и стал искать золингеновскую бритву-опаску. Хорошо, что Сенека и Джоплин успели отключить в нашем доме горячую воду и не позволили найти то, что я искал.

Проснувшись, я все утро натыкался на опрокинутые стулья, мокрые полотенца, джинсы и носки на полу... Одна только книга «Немного солнца в холодной воде» и другие повести», которую мама, расстроенная моим поведением, должно быть, забыла взять с собой на работу, лежала ровно по центру круглого стола.

Так и хотелось подойти и сместить эту Франсуазу от центра к краю или вообще сбросить на пол к своим джинсам и носкам. Я же понимал, что мама специально не убрала за мной, чтобы я, только открыв глаза, сразу понял, до чего могут довести человека безответная любовь и коктейли «по-питерски».

С утра и до позднего вечера я мучился от головной боли, лежал на диване и читал французенку, а к вечеру отправился к Илюшке по прозвищу Майкл. Он жил прямо напротив Пятого хлебозавода. У Майкла была одна из лучших в городе фонок и аппаратура высшего класса. О музыке Майкл знал почти все: «...когда Морисон предложил Джоплин расслабиться с ним, она жажнула его по голове бутылкой вискаря». На жизнь он зарабатывал магнитофонными записями и декоративными рыбками, которых разводил, как дореволюционный коннозаводчик скакунов.

Илья-Майкл был из семьи более чем приличной. Состоятельной, но без жадности к жизненным благам. Той жадности, которая почему-то поощрялась в нашем районе, но была предметом осуждения со стороны государства.

Отец его эмигрировал по еврейской линии и жил в Вене, одна сестра в Ганновере, другая — в Тель-Авиве. Мать преподавала в вузе политэкономия. Илья, как и все мы, держался в рамках, установленных близостью Кубинки и улицами, что воспитывали нас, когда Коран и Библия были вынуждены сыграть в «замри», а родители тратили себя во славу вскоре бездарно сгинувшего отечества.

Я застал Илюху приложившим свое бесценное ухо к стене, обклеенной фотографиями рок-звезд, в которую ритмично дубасил огромный черный динамик.

— Басы вытягиваю, — объяснил он мне во всю глотку, наверное, чтобы я не подумал чего дурного, — тут одному цеховику-водолазочнику итальянцев надо записать для жены.

— Можешь объяснить толково, что такое фьюжн? — прокричал я.

— А чего тут объяснять — музыка пофигистов, — сказал он, делая тише звук. — Солянка и безупречная техника. Конформизм всегда был двигателем прогресса. Джимми Хендрикса записать? С тебя кассета.

— Лучше уж тогда Чика Кория или Фрэнка Заппу.

Через неделю мы встретили Элькана на Кёмюр-мейдане с идеально круглой дынькой в руке. В глазах его читалась острая боль недуга. Казалось, все это время он был на волоске от смерти.

Мы решили, что это следствие употребления какого-то сильного наркотика, но после узнали от Афаг, что он, помимо тех болезней, которые были свойственны нашему поколению, оказывается, болел еще какой-то редкой разновидностью «сумеречного расстройства сознания», — внезапно исчезал и так же внезапно объявлялся, ничего не помня из того, что с ним происходило.

— Покажись, как ты?

И он явил нам себя. Посмотрел на нас, словно проводил взглядом пущенный сверху окуроч. Обидно для всех высокомерно поднял небритый подбородок и сказал, что покинул нас в тот вечер специально, дабы проверить нашу находчивость. А остальное...

— Не ваше дело, парни. Разберусь сам как-нибудь.

После чего, понюхав дыню, расписался на ней шариковым паркером и торжественно вручил ее нам.

Меня так и подмывало в тот момент выдать его же любимую максимум: «Разве люди спят не для того, чтобы однажды проснуться?», но мне было его жаль.

Странный поступок не повлиял на отношение улицы к Элькану. Редкое заболевание — уж не знаю, было ли оно на самом деле, — как ни странно, придало его вещаниям определенный вес. Он стал демиургом семи Параллельных, продолжая объяснять нам, в чем смысл жизни...

— Керуака надо читать, Керуака с Берроузом. Жить по полной, потому что все уже предопределено.

— Твое исчезновение из пивной тоже? — спросил Айдын.

Ответил он Айдыну спустя несколько дней, снабдив его, а значит, и нас, отпечатанным на машинке романом какого-то Джона Фанте.

— Держи!.. Я если читаю, что хочу, то готов примириться с окружающей действительностью.

Не знаю, сколько он читал, но примириться с окружающей действительностью было ему, по-моему, не так уж трудно. Я это понял, когда родители подарили ему одиннадцатые «жигули» в обмен на обещание забыть Афаг.

«Жигули» изменили его: оранжевый пиджак отправился искать нового рок-джазиста в комиссионку напротив музея Ленина, линялые джинсы и сабо достались Дэли Лёвику (сумасшедшему Лёвику)... Он коротко подстригся и с оттопыренными ушами поступил в университет на географический факультет. (В ту пору все куда-то поступали.) В конце осени Элькан уже был помолвлен с девушкой из Карабаха, о которой никто ничего толком не знал кроме того, что она дочь ликероводочного директора. Казалось, еще немного, и он распростится с духом проповедования, но дух этот в нем почему-то не угасал.

Последователи его фьюжн-учения старались всяко угодить ему, но он был строг, выбирая, кого именно вознаградить ночными катаниями по городу, во время коих под романтические баллады Барри Уайта искал положительные стороны местного домостроя и советской власти.

Нет ничего удивительного, что очень скоро я усомнился в учении Элькана, Впрочем, не так скоро, как Айдын с Марином.

Уже к началу декабря, к мокрому снегу и порывистым ветрам с моря, я вернул себе ту самостоятельность в суждениях, которая не противоречила моему мировоззрению. Сам решал, стоит мне сходить на концерт Вагифа Мустафызаде в Зеленый театр или отправиться на «Семь самураев» в Клуб моряков. Я понял главное: жить надо так, чтобы у жизни были видны концы непридуманных историй, за которые только потяни, и вот оно — начало.

Как-то на угол Второй Параллельной под отмахку голых ветвей влетели и резко остановились возле меня Элькановы «жигули». В машине за его спиной сидела крашеная брюнетка с полными карминовыми губами, в которой с трудом угадывалась лученосная Афаг.

— Такую группу знаешь, «ВИА-75»? — кажется, так Элькан назвал ее. — Джаз-рок лабают ребята. Все академисты, с консерваторским образованием. Сегодня концерт дают во Дворце Ленина. Пойдешь с нами — не пожалеешь.

Афаг выглянула из полумрака салона и почему-то посмотрела на меня с мольбой, которая не шла брюнеткам с карминовыми губами.

Мне все равно до армии делать было нечего, вот я и согласился.

В надушенном и прокуренном отпрыске итальянского автомобилестроения воздуха хватало только на двоих. Так что я чувствовал себя непрошеным гостем, свалившимся на головы страдающих от недостатка кислорода хозяев. Я сидел впол-оборота и, пока ехали, нес какую-то ахиною о сфинксе, которого полоскали доисторические дожди, о древних книгах и сакральных знаниях. Я бы предпочел другой градус общения, но Элькан всю дорогу молчал, даже музыку не включал.

Когда припарковались на узенькой улочке в двух шагах от Дворца, я, как если бы жил в другом веке и в другой стране, протянул руку и помог Афаг выйти. Элькан, из того же времени карманных часов и кэбов, улыбнулся мне улыбкой бретера, закрывающего грудь дуэльным пистолетом.

Похоже, о группе «ВИА-75» не знал один я. Во Дворец Ленина пришли даже ребята из поселка Разина, а эта косматая шпана любила исключительно горячее и, когда начинала заводиться, комсомольцы-дружинники и милиция оказывались бессильны.

Когда рассаживались по красным мягким креслам, предназначенным скорее для партийных съездов, нежели для рок-конcertов, Афаг, сославшись на то, что ей плохо видно сцену, пересела, и я оказался «между осенью и зимой». Отвернувшись в сторону, Элькан дал понять, что в этом нет ничего предосудительного.

Группа «ВИА-75» состояла из клавишных (рояля и органа), труб, тромбона, саксофона, трех гитар, барабана... Все пели, все играли, и всё по-грузински. Красиво... Пожалуй, слишком.

— Чисто играют, без слабых мест, — заключил после двух джазроковых композиций гитарист-географ.

— Но не цепляет... — поделился я, подумав, что лучше бы сходил к Майклу, — он обещал мне записать последний альбом «Дирижабля». — Похмелье какое-то тифлисское.

Элькан нахохлился еще больше, когда очередной наградой музыкантам стали вялые, будто спросонья, аплодисменты.

— Мегафизика места дает себя знать, — объяснил он, — нашли тоже где играть.

К концу первого отделения разинцы разошлись не на шутку — свистели, улюлюкали, топали ногами... Красным креслам грозило вскорости быть выдернутыми с корнем.

Администратор группы с кустистыми, как у генсека Лёни, бровями, подошел к сцене, сказал что-то, после чего духовая секция покинула подмостки.

Второе отделение началось неожиданно — с цепелиновской «Черной собаки». Потом играли «Дым над водой» и «Сладкую траву»...

— Даешь железо!.. — поднимали волну разинские в кобальтовом нащупывании прожекторов. — Встретимся после смерти!.. Самый честный музыкант, несомненно, Роберт Планта!..

Элькан морщился от тяжелого рока, как морщатся в постели, вспоминая ушедший день, полный мелких неприятностей.

«ВИА-75» умирали на сцене, понимая, что сегодня во Дворце Ленина иначе им уже не выжить.

Именно так, подумал я, и мостят дорогу в жизнь духу откровения. И хотя мне было странно видеть, что другие испытывают то же, что и я, именно в эти

минуты я понял, что людская масса, объединенная одним чувством, безобразно однообразна. Вослед этому откровению пришло не менее важное: я понял, почему Элькан пригласил меня. Еще я понял, почему он не до конца созрел для осуществления своего плана. Ему не надо было уезжать в Питер или не надо было возвращаться в Баку: у нас не принято подыскивать бывшей возлюбленной замену среди своих друзей.

Афаг попросила его купить цветы.

— Бобик я тебе, что ли?!

Тогда, чтобы хоть на время покинуть зал, «бобика» решил сыграть я. Поднялся и пошел в ближайший киоск, благо он находился через дорогу, напротив музыкальных фонтанов.

Должен сказать, что я оказался не первым «бобиком». Пришлось даже отстоять в небольшой очереди, в голове которой бурлили «бобики» из поселка Разина.

Стоило мне прийти с цветами, как я понял, — многое изменилось, пока я отсутствовал, многое изменилось в пользу «бобиков». Должно быть, Элькан уже крепко жалел, что позвал меня, как еще недавно жалел я, что пошел с ними.

Афаг легко бежала по долгим ковровым ступенькам к вспыхивающей зарницами сцене. Я, можно сказать, впервые разглядел ее ноги в черных колготках и лаковых туфельках. Я разом понял и Марика, и Айдына. Я только не мог понять Элькана с его богатой карабахской невестой и богатым питерским опытом.

Купленные мною гвоздики полетели в соло-гитариста. Девчонки посноровистей целились в далекого барабанщика, точно в аттракционе метали кольца. Но ударник не замечал ничего, он просто раскачивал сцену.

Оказавшись в фойе, я хотел сделать то, что сделал Элькан в «Парижских тайнах»: мне необходимо было остаться одному, пошататься по вечернему Баку, в томных мечтах подглядеть свое будущее, — но Элькан опередил меня.

Мы шли с Афаг в сторону нашей улицы, не обращая внимания на одиннадцатые «жигули», которые сначала медленно катились за нами, а потом вдруг рванули, остановились и снова рванули. И так несколько раз.

Возвращать Элькана нам не хотелось, мы оба еще находились под впечатлением от концерта, и потом разве не он говорил, что все предопределено и на то право дано.

— Так это ты тогда зайчиков пускала в меня?

— А разве это ты был? — Афаг, будто на ладони у нее зеркальце, с лукавинкой показала, как это делала.

Подыгрывая ей, я закрыл глаза и тотчас же почувствовал, как сваливаюсь куда-то, а внутри меня разгорается самый древний в мире огонь. Тот самый, что моментально передается другому.

Когда Элькановы «жигули» в очередной раз остановились и рванули, она толкнула первую же попавшуюся дверь, и мне ничего не оставалось, как поспешить за ней в какое-то парадное трехэтажного дома с брюхатым гербом, мраморной ступенью и двойной дверью.

— Подождем, пока он совсем уедет.

— Не бойшься, что потеряется, как в тот раз?

— Фьюжн ему в помощь.

В парадном пахло кошачьим пометом, затушенными в ржавой воде окурками и пылью нескольких поколений жильцов, которым чугунные лики пустоглазого Силена помогали ежедневно восходить до своих квартир по щедро увитой виноградными лозами лестнице. Надпись на латинском, украшавшая первую ступень, звучала как название чудодейственного снадобья. Сверху по стене стекал цветочный орнамент. Казалось, все тут провеивалось дуновением иных миров. Я сказал об этом своем ощущении. Афаг ответила мне после паузы, что совершенно не представляет еще какой-либо мир, не соизмеримый с этим.

— Вот — ты, вот — я, вот — цветы на стене...

— ...Художники той эпохи, как в Средневековье, брали для своих орнаментов окружающие нас повсюду растения: вьюнки, цветки чертополоха, но при этом они создавали иные миры...

— Не говори так громко, — Афаг медленно провела пальцем по моим губам, и мы оба посмотрели наверх, чтобы убедиться, каким запасом времени располагаем, если кто-то вдруг начнет спускаться.

— ...Смотри, здесь хорошо видно, как обычный цветок превращается в чудесный орнамент, — придвинулся я к ней вплотную, — многие художники конца девятнадцатого — начала двадцатого веков в совершенстве владели искусством создания новых орнаментальных канонов.

— Как тот гитарист, в которого я бросала цветы?

— При чем тут гитарист? — обиделся я: мне и так не хватало уверенности, а тут еще она выступила в роли стопроцентной брюнетки.

Время для того, чтобы спрятаться от тех, кто спускается, у нас было, а вот если бы кто-то внезапно вошел... От хлопка первой двери до второй — два мгновения. Одно мне, другое — ей.

Надо было срочно что-то придумать.

— Если бы у меня был мел, я бы разрисовал им парадное, — сказал я, — первый раз вижу не разрисованное мелом парадное.

Я сделал несколько шагов в направлении, указанном цветочным орнаментом, только не наверх, — а вниз, в темноту, и обнаружил свободное место под лестницей.

Я тихо позвал Афаг. Не знал, что в таких случаях не зовут.

— Что там, чертополохи? — простила она мою неопытность. — А какие из них арт-деко и какие — модерн?.. Они как-то различаются?

— По стилистике рисунка, — тяжело дышал я, скрывая то, что скрывать в таких случаях как раз не следует. — Если коротко: модерн — плавные, текучие линии, а арт-деко...

— А арт-деко?.. — Голос ее становился все приглушеннее, почти сливаясь с безупречной немотой парадного.

— А арт-деко...

Мы потрескивали электричеством и шелестели в темноте, как шелестели бы орхидеи на стенах, если бы художник семьдесят лет назад послал им дуновение ветра.

— А арт-деко?..

Она оступилась, упала на меня вместе со всем, что у нее было до меня. И я, вместо того чтобы согласно забыться, пропасть в теплом запахе, вспомнил о книге, которую читал после похода в пивбар. И зачем было ее вспоминать, если все, что я запомнил, это как мужчина и женщина ехали на концерт Брамса, как тесно им было в маленькой машине. Все равно что мне с Афаг под этой лестницей, в паутине сгинувших времен.

Наверное, у нее тоже была своя книга, а может, она думала об Элькане или о том гитаристе, в которого метала цветы, иначе то, что случилось, было бы совсем иначе. Впрочем, какое это все имеет значение, если я вернул ее губам тот прежний цвет, какой имели они во времена давней игры с лучами солнца.

Мы вышли из парадного и долго молчали, огибая по краям безлюдные гулкие улицы, боясь оглянуться, чтобы не пропустить каждый свою невыдуманную историю.

Владимир Навроцкий

## Линзы и литеры

\* \* \*

Сумерки в поле полыни за микрорайоном,  
там, где бетонные плиты посередине.  
(Запах костра — пенопласта и пакли палёной,  
запах растёртой в ладонях тёплой полыни.)  
Десять тропинок в полыни, у каждой тропинки  
десять историй, известных всему массиву.  
Сумерки завершились. Над головами  
столбики окон кухонь. Ага, красиво.  
«Вова, домой!» а зачем оно? тут интересней.  
Там припахают ещё к заготовке солений  
(небо, и ветер, и радость, как в песне, как в песне,  
и засыпаешь, и пахнут полынью колени).

\* \* \*

Это железнодорожная ветка, прорастающая в тихое, сонное,  
в бетонные оболочки клеток, составляющие промзону,  
где АТП и склады, где люди и механизмы медленные,  
облупившимися ржавыми гаражами ветка облепленная.  
А это, в крашенных самым поганым рыжим гулких кривых гаражах  
серые, сросшиеся, неразличимые вещи лежат.  
А это канава с осокою. А это тоска высокая.  
Это вот я растворяюсь. На шпале связку ключей найдут.  
Шепчет промзона: «Исчезнешь, развеешься». Я не уйду, я тут.  
С вами останусь, тихо и медленно реять (витать, кружить) —  
жирные лужи, серые доски, ржавые гаражи.

### Пересечься

Стало у нас невесомое мясо, полые кости, тонкая кожа:  
весь медленный тёплый ветер земли (она неоглядно большая)  
сквозь нас протекает, мы ему не мешаем, не замедляем, не отклоняем  
— не можем.  
Сухая трава без имени, светло-серый конячий череп,  
несколько километров степи по всем шести сторонам

**Об авторе** | Владимир Навроцкий родился 23 сентября 1979 года в поселке Зырянка (ныне Верхнеколымский улус Якутии). Жил в городе Лисаковск Кустанайской области, затем переехал в Пензу и окончил Пензенский государственный университет. Первая публикация в 2003 году, с 2005-го состоит в литобъединении «Фронт радикального искусства». Работает удаленным программистом. Живет в Пензе.

ветер становится суше, теплее и крепче:  
 мы, как всегда, последние в очереди, но скоро и нам.  
 Только давай постоим уж сколько осталось,  
 разреженными телами обнявшись крепко, насколько можно.  
 Чувствуешь, как проникают сквозь руки руки, сквозь кожу кожа,  
 как вымывает горячим ветром радость, тоску, усталость,  
 череп лошадкин, наверно, не просто так череп, а как бы знак:  
 здесь начинаются или кончаются чьи-то уголья,  
 я ведь всегда хотел только с тобой и именно так —  
 не поверхностями соприкасаться, а пересечься всем телом, объёмом, плотью.

### **Энтропия**

С каким мудаком ни едешь в купе, а послушай его и всё ему расскажи.  
 Любой человек прекрасен хотя бы тем, что тёпл человек,  
 разговорчив, округл и жив.  
 Не просто же так именно этот вот скучный чувак дан тебе в ощущениях.  
 Вот это оно и есть, называется «роскошь человеческого общения».  
 И то, что его не засыпало снегом в палатке в обнимку с трупом твоим твёрдым,  
 и то, что тебя не засыпало чернозёмом в окопе вдвоём с половиной его трупа,  
 так это считай Мироздание и Провидение, сёстры-близняшки, любят тебя  
 и целуют тебя в морду, за уши треплют, и чешут загривок — ласково-весело-грубо.  
 (А люди лучше всего смотрятся не в окопе, не в беге и не в казённой  
 вагонной постели,  
 а лучше всего они смотрятся, когда с энтропией бьются  
 когда, например, становятся к мойке, чтоб вымыть вилки, накопленные за неделю,  
 а также чашки и блюда.  
 И жмётся под мойку испуганное Неустройство Всего, ему там никак не устроиться  
 и капает едкое *фейри* на шкурку его, и кран с кипятком никак не закроеется.  
 Никто не отпустит теперь из-под раковины ошестинившийся мировой хаос,  
 не оставит его в покое.  
 Вот так человек на минуту становится богоподобен,  
 он создаёт Порядок железной рукою).  
 Да даже когда в вагоне сидит и семки грызёт, всё равно это лучше,  
 чем если б его вообще не произошло.  
 Ведь он, например, занимает объём, который при прочих раскладах могло  
 занимать

какое-нибудь абсолютное зло.

Поэтому надо наушники вынуть, когда путешествуешь в поезде,  
 с полки своей спуститься и за жизнь с человеком перетереть,  
 пока не окуп, пока не лавина, пока из-под полки не вылезло всякое  
 и не устроило тут и потом везде тепловую смерть.

\* \* \*

«Так и устроен твой город, в котором много воды, воды:  
 стоки, цистерны, поля аэрации, переплетенья труб.  
 В белом колодце, на пульте диспетчерском, в смену ночную ты  
 уровни смотришь, задвижки включаешь, смотришь тихонько ютуб:  
 ищешь рекламу на песню Моби (там были дельфины, вода),  
 я не нашёл, это значит, что ты тем более не найдёшь.  
 // здесь, например, строка, заканчивающаяся словами «вообще никогда»  
 // здесь, например, строка, заканчивающаяся словами «нескончаемый дощщь»  
 Так и устроен мой город, в котором много песка, песка.  
 Видишь, проснулся под вечер, леплю серые куличи



вылепил — тащишь наружу, тоска, но булькнет в кармане скайп.  
 Кто позвонил, тот пускай начинает, так что теперь не молчи.  
 не было там газироффки, я сухариков ффзьял и печенья,  
 яичного порошка, молока сухого. Всё засыпал в старые формы для куличей». *Это стихотворение набрано, но не отправлено в поле текстовых сообщений каменного смартфона, найденного в куче сырого песка, рядом со связкой ключей*

### **Вентиль**

Снимай только самые мрачные хаты, строго первый этаж,  
 чтоб только что померли жившие тут последние сорок лет.  
 За рамами в кухне должен лежать химический карандаш.  
 Следи, чтоб колонка не автомат, обои в мелкий букет.  
 Живи там три года, и вырастет вентиль в поганом шкафу, где стояк,  
 пробьётся сквозь стопку «Роман-газет» за семьдесят третий год.  
 Крутни этот вентиль на два оборота, и трубы раздвинутся так,  
 что в Нижнюю Праздничную Москву откроется тайный ход:  
 там сеть проспектов в неоновом свете пары идут не спеша,  
 там сотни дверей, и за каждой — увесистый джаз и вечерние платья.  
 Туда не пускают в дешёвом костюме, без шляпы и без ППШ  
 (ага, обязательно ППШ. Томпсоны там не катят).

\* \* \*

Мраморная крошка составляет 60—80 процентов объёма пола,  
 остальное цемент, иногда с пигментом, в нашем случае красным.  
 В поликлиниках часто встречается, в кинотеатрах и школах.  
 Вот и с этим холлом Дома культуры более-менее ясно.  
 Убедимся, что мы не ошиблись: ну да, в туалете  
 частично утраченные, замазанные раствором, стеклоблоки зелёные.  
 Убедимся повторно: на стенде у входа конкурс «Рисуют дети»:  
 все рисунки о том, как массово гибнут фашисты: пешие, мотоциклетные, конные.  
 Карандашные взрывы фашистов выбрасывают из картины,  
 но они пришиты к листу огненными пунктирами.  
 Местный ВИА почти дописал и уже всю репетировал  
 рок-оперу «Маленький принц», судя по нотам и текстам.  
 Дом культуры как Дом культуры. Предсказуемое место.  
 Ладно. Ключ отнесём на вахту, сигнализация, но сначала шторы задёрнем.  
 План ДК не снимаем, он типовой. Всё фиксируем, ничего не уносим.  
 Два вопроса осталось:  
 Во-первых, это здание, из семьдесят второго года выдернутое с корнем,  
 как попало на астероид L-двадцать восемь?  
 Может, просто оно тут из пыли и звёздного света самозародилось случайно?  
 Или кто-то его специально тащил в середину жёлтой пустыни?  
 Во-вторых, у вахтёрши в камерке стоит алюминиевый электрический чайник.  
 Он бездонный и непроглядный внутри, а снаружи горячий, и никак не остынет.

### **Сортировочная**

Тем летом ночами над сортировочной  
 кричал голос Родины неразборчивый, но уверенно-злой.  
 (Теперь не кричит почему-то. Наверно, в рациях сцепщиков шепчет).  
 Тем вечером пахло польнью и креозотом, концом санитарной зоны, золой.  
 И запахи наливались, ветвились сердечной и шлейфовой нотой,  
 становились богаче и крепче.

Тогда было пусто на всех путях, и синий везде горел.  
Прохожий считал семафоры и звёзды  
с пустого стального, растянутого над путями моста.  
В минуту, когда семафоров и звёзд стало поровну, запах созрел  
и стал невозможен, и голос диспетчера нечеловеческим стал.  
И Родина голосом алюминиевым перегруженным прохожему рассказывала о своём.  
Синими огоньками стеклянно и пристально заглядывала в глаза.  
Потом говорит: «Полезай на мой нос, расскажи о себе, а после давай споём».  
(За что она так нас теперь ненавидит? Что ты такого ей о нас рассказал?)

### **Доярки**

вырезали кубический километр пустого пространства,  
дно засыпаем крошкой белого пенопласта,  
это у нас получилась заснеженная равнина  
с лёгким наклоном к условной речке, с твёрдым неровным настом.  
ёлочку добавим чёрных, звёзд наберем неярких,  
надо людей теперь запускать из норы с защёлкой,  
чтобы сюжет пошёл новогодний, весёлый, долгий.  
первый кузнец, второй, участковый и три доярки.  
как это будет тошно, суетно, громко, долго.  
слышишь, они в раздевалке уже бьются, галдят, не ладят.  
мы их не пустим. сами встанем, на звёзды глядя.  
или же снегом синим ляжем на ёлки, ёлки.

### **Иприт**

Когда-то все вещи на белом свете делали сразу надолго.  
Из красного дерева, тёплой меди, кожи, стекла и шёлка.  
Снаружи крепили медную планку, где кислотой травили,  
кто делал огранку, кто вышил изнанку — строчку смешных фамилий.  
(Конечно, я знаю, что это жлобство: «Взял в руки и маешь вещь».  
Я сам ничего своего не сберёг и не собираюсь беречь.  
Но линзы и литеры в чёрных футлярах прекрасны. О них и речь).  
В дальнейшем прогресс и новейшие страшные опыты показали,  
Что вещи живут неприлично протяжней хлипких своих хозяев —  
Стит себе цацка и, лаком сияя, играет свою «Рио-Риту»,  
Тогда как хозяин скукожился в яме, нахапавшийся иприту.  
И каждый с тех пор понимает как жлобство фразу про «маешь вещь».  
Зачем тебе вечные вещи, когда ты себя-то не смог сберечь?  
(Но старые медные штучки прекрасны. Прекрасны. О том и речь).

### **Труба**

Раскопанная труба согревается солнцем осенним.  
Как страшно и холодно ей в земле все эти годы.  
Сегодня хотя бы светло, и сегодня ещё воскресенье.  
Вчера в этой яме с утра и весь день происходила работа  
в оранжевом, также работа в сером, после работа в синем.  
Осталось дожидаться Евстахия и Фаллопия, братьев-горнистов.  
С утра подойдут, вострубят как умеют — тихонько, но звонко и чисто,  
труба покроется инеем.  
Ещё я скажу, что рельеф тут неровный, а наша труба пролегает прямо.  
Ещё здесь какие-то заборы, коровники. Мама, мы в аду. Мы в аду, мама.

### **Шёлк и бархат**

Шёлк и бархат с кистями: ледяная истома, пионерская нега.  
 Всё к фашистам хотел на допрос, ничего бы им не сказал.  
 (Так подробно мечталось: «пантера» у школы, пыточный актёрский зал,  
 В алом галстуке, флаге дружины на голых плечах на расстрел босиком по снегу.  
 Ацетатный шёлк прохладный на ощупь, на вкус не помнишь;  
 Первый снег у крыльца обжигающий мокрый, на вкус не помнишь;  
 Звеньевая твоя в том же флаге дружины на тёплое голое тело  
 Ничего не сказала тоже — и так же, значит, к расстрелу.  
 Ближко-близко идёт и смеётся. Да как её звали? Не помнишь.)  
 Не случилось фашистов. И славно! А шёлк и бархат —  
 Вот по левую руку алый шёлк настоящий,  
 Вот по правую руку бархат исчерна-чёрный,  
 А никак не найдёшь того галстука — рыжего, мятого, мокрого — слаще.

### **96вс2**

Надписи наши соскоблены с парт серою пастой «Пемос».  
 Сплавлены в электропровод наши банки от балтики третьей.  
 Видите, вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос,  
 уничтожает следы пребывания нас на нашей планете.  
 Синяя краска в подъезде пахнет игральными картами.  
 вон «дмб 93» проступило под краской синею.  
 Что напишу я на парте ключом, если вдруг окажусь у парты?  
 Нет у меня социальной группы с кратким и ёмким именем.

### **Burda moden**

Что там было, в траве под забором, в мокром мраке, тёплом и тайном?  
 Собирался ведь посмотреть попозже — ни назавтра не смог, ни потом не.  
 Может, ёжик там жил или полмотоцикла лежало ржавело в росе хрустальной.  
 Ни травы, ни забора, уже двадцать лет. Молодец хоть вспомнил.  
 Ну неважно, проехали, слушай, что изначально собрался сказать я:  
 Всё отлично, только не надо больше вслух проговаривать, где мы.  
 Вот в рабочих посёлках ведь женщины шьют в ателье вечерние платья,  
 хоть пойти в этих платьях и некуда, даже в гробех они не в тему.  
 Так и нам надлежит, как тем тётенькам, по выкройкам Burda moden,  
 Совершенствоваться, условно, в шитье сарафанов из ситца.  
 (Вот давай я убитую «ниву» куплю, в камуфляж наряжусь — и в болота  
 Или как-то ещё приготовлюсь к приключению, которого не случится.)

### **Подмосковье**

Ближнее Подмосковье, дом на краю посёлка.  
 Кто там пошёл за водкой? Кто побежал за кровью?  
 Кто превратился в волка? Зыбко всё и нечётко.  
 Ночь и восточный ветер, ивы, вода и тина  
 в лунном неярком свете. Тени черны и длинные.  
 Ближнее Подмосковье, первая электричка курсом на Павелецкий.  
 Кто обернулся клерком, менеджером-логистом, в тамбуре курит «винстон».  
 Что ему делать, волку с фенечкой на запястье, — бегал всю ночь, а толку.  
 Хочется спать и плакать; осень, тоска и слякоть; привкус железа в пасти.

Владимир Тучков

## Там жили поэты

Инсинуации

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Имена персонажей, использованных в данном произведении, не являются вымышленными. Все это реальные люди, поэты, которые составляют круг моего общения. Несокрытие их под именами вымышленными объясняется тем, что данные инсинуации никакого вреда их деловым репутациям нанести не способны. Поскольку деловая репутация и стиль бытования поэта — две вещи несовместные.

Автор

\* \* \*

Сравнительно недавно, на излете минувшей весны, когда пожирающий пространство тополиный пух навевал желание затопить печь и выстрелами из винтовки Мосина отгонять наглюющих волков, я наткнулся на Тверском бульваре на поэта Александра Макарова-Кроткова. Поэт, устремив взгляд в неминуемое будущее, сидел на лавочке и бубнил: «Дым — молодым, дым — молодым...».

Я подошел, потряс поэта за плечо, добиваясь хотя бы частичной вменяемости, и сказал без обиняков: «Брось, Алексан Юрич, это уже было».

Он дико посмотрел на меня. Потом хлопнул себя ладошкой по лбу. И сказал: «Ах, да». И сказал столь невнятно, что это прозвучало как «Агдам».

И тут мы с ним немедленно выпили «Бехеровки».

Поговорили о московских погодах, по традиции ругая их на чем свет стоит, сплясали коровяк... И только я приподнял шляпу, чтобы распрощаться, Алексан Юрич вновь впал в транс и начал бубнить: «Не плачу — охваченный, не плачу — охваченный».

«Э, дорогой товарищ, — сказал я сам себе, подразумевая под словом «товарищ» моего визави, а по-простому, собутельника, — тебя на кривой кобыле не объедешь и твоего кобеля не отмоешь добела даже при помощи хеденшолдера!».

И пошел вдаль, впечатывая в асфальт каблуки, из-под которых взметывались искры, как во время атаки Первой конной армии на вражеские позиции.

**Об авторе** | Владимир Тучков — постоянный автор «Знамени». С момента последнего появления на страницах журнала (рассказ «Фотосессия», 2010, № 10) был опубликован в «Антологии русского рассказа XX века. 50 авторов», вышедшей в американском издательстве Academic Studies Press, а также принял участие во всех митингах и шествиях «За честные выборы».

\* \* \*

Однажды летним душным вечером я вышел из каморки, которую нанимал от жильцов. Заглянул в дворницкую, чтобы обогатиться топором, поскольку право имею. И пошел по улице вдаль, не имея никакого определенного плана.

Проходя мимо Александровского сада, неожиданно встретил Анну Голубкову — поэта, прозаика, критика и литературоведа.

Как вас много, — сказал я Анне.

Та рассмеялась в ответ.

И внезапно мы как начали спорить! Спорить ожесточенно о том, кто достоин, а кто нет. И лишь зря небо коптит, делая жизнь не-вы-но-си-мой!!!

Вначале как критик с критиком. Хотя я и бывший уже критик.

Потом как литературовед с литературоведом. Хотя я литературоведом никогда и не был.

Потом как два гражданина. Яростно, загибая пальцы, каждый из которых был эквивалентен ста тысячам.

Неподалеку, на Спасской башне, куранты начали отбивать десять. Но на третьем ударе неожиданно пресеклись.

Мы изумленно огляделись: вокруг ни души! Лишь чье-то замешкавшееся отражение в луже.

От неожиданности я ослабил хватку, и топор, выскользнув из петли, коротко звякнул о безлюдную мостовую. Весь в крови, как в слезах — по москвичам и незванным гостям столицы.

Позже выяснилось, что и на Новодевичьем не осталось ни одной могилы. И на всех прочих кладбищах. Ни одной из тех могил, в которых в эпоху литературоцентризма безмятежно покоились те, о ком слабеющим голосом рассказывала литературная энциклопедия.

\* \* \*

И вдруг посередине Кузнецкого я встретил Свету Литвак, которая задумчиво поспегивала прутиком по голенищу итальянского сапога неизвестного производителя.

Увидев меня, она бросилась навстречу: «Ну, наконец-то хоть кто-то», — выпалила скороговоркой.

И тут же, не меняя выражения глаз: «Как думаешь, сколько этой осенью будет стоять пуд пшеницы в Нижнем?».

Я опешил. Потому-то и ответил неожиданное даже и для самого себя: «Пятнадцать аршин. Никак не меньше».

«Ну, хоть так», — произнесла она, словно с ее груди сняли тяжелый холодный камень.

И, поправив засборивший на колене чулок, задумчиво погрузилась в сгущающееся облако человеческой мошкары.

Ну, хоть так.

Именно так выцокивают лошади на бульжной мостовой: Ну — Хоть — Так.

А не: Гриб — Грабь — Гроб — Груб.

Акустика за сотню лет переменилась до неузнаваемости.

\* \* \*

Вот ведь как случается порой: и в Москву не выбирался, а встретил в своем Королеве, прямо на улице Дзержинского, поэта. Александра Пивинского.

И вот стоим мы. Он — поэт. И я — поэт. И о поэзии разговариваем.

Я нахваливаю его «штопали свет комары» и «хочется лечь озером на дно и разрыдаться изо всех лягушек». Он нахваливает мое «как хороши, как свежи были розы» и «открыть окно, что жилы отворить».

И тут подходит помятый тип и просит денег, поскольку тоже поэт, а выпить не на что. Я даю десятку.

Подходит еще один, такой же. С той же самой просьбой. Десятку дает Александр.

И пошло, и поехало: мы говорим о поэзии, местные поэты подходят и получают вождеденное то от меня, то от моего собеседника.

Говорим, подходят, даем, берут, отходят, говорим, подходят, даем, берут, отходят, говорим, подходят, даем, берут, отходят, говорим, подходят, даем, берут, отходят, говорим...

И вдруг все пространство пришло в неистовое движение. Изумленно озираемся, а вокруг сотни пьяных поэтов пляшут вприсядку. И не под Вертинского, а под «Владимирский централ».

Вот ведь суки какие!

\* \* \*

Принято считать, что встреча с поэтом и прозаиком Николаем Байтовым в каком-либо уголке Москвы, никак не связанном с бытованием литераторов и литературы, способна принести счастье. Если, конечно, исхитриться и, не оскорбляя поэта, не досаждая ему своей навязчивостью, в течение полутора секунд подержаться за мочку его правого уха.

Однако при этом важно еще узнать Байтова. Потому что он склонен принимать самые разнообразные облики. Что самым прямым образом проистекает из его релятивистской поэтики.

Здесь можно было бы пуститься в долгие и путаные рассуждения о том, что поэт, подлинный поэт, сочиняет не столько стихи, сколько самого себя. И результаты тут могут быть самые неожиданные. И чемпионом по этим самым неожиданностям является Николай Владимирович Гоманьков, который, услышав, как выкликнули его фамилию, тут же начнет вертеть во все стороны головой, тщась увидеть этого самого человека с такой странной фамилией. Потому как даже его дочери и внуки не могут вообразить, что их отец и дед не Байтов, а какой-нибудь там Гоманьков.

Но мы не будем пускаться в такие рассуждения, поскольку даже на самом начальном их этапе вконец запутаемся. Собственно, еще и не начав, мы уже начали путаться, словно новобранец, который на занятиях по строевой подготовке от непомерной психической нагрузки склонен переходить с маршевого шага на иноходь.

А приступим сразу же к реальной истории, которая произошла минувшим летом на улице Огинского. Именно на ней я и встретил Байтова, который отрешенно шел мне навстречу в облике поэтессы Юлии Скородумовой.

— Здравствуй, Коля, — поприветствовал я его, когда мы сблизились до расстояния рукопожатия.

Байтов начал изумленно вертеть во все стороны головой, словно я назвал его Гоманьковым.

Воспользовавшись его замешательством, я прихватил большим и указательным пальцами левой руки мочку его правого уха, стараясь не причинить ему боли.

— Ты что это, Тучков? — наигранно изумился Байтов голосом Юлии Скородумовой.

— Так счастья хочется...

— А в чем оно, счастье-то? — перевел разговор Байтов с уха на отвлеченную категорию.

— Счастье, — начал я фразу, которую в конечном итоге, как ни старался, не смог распространить далее подлежащего. Даже на тире, которое должно было стоять после подлежащего, фантазии не хватило.

— А если не знаешь, то и не будет тебе счастья, кроме как угостить меня прямо сейчас вон в том заведении кофе с коньяком.

Зашли. Выпили. И я ощутил, как что-то во мне переменялось. «Ага, — подумал я, — вот оно, значит, какое».

Потом мы еще добавили. Но уже в другом месте. По традиции сплясали козляк. И поехали по домам. Причем Байтов, не желая менять облика Юли Скородумовой, поехал со мной на Ярославский вокзал. Где сел в пушкинскую электричку, а я в монинскую.

«Интересно, — подумал я, когда вокзальный колокол ударил в третий раз, — что скажет Игорь, муж Юли, когда к нему заявится не вполне трезвый Байтов?»

Впоследствии выяснилось, что в Москве улицы Огинского не существует. Значит, Байтов настолько силен, что способен изменять и окружающее пространство.

\* \* \*

Люди, поверхностно знающие поэта Александра Левина, склонны считать, что его появление в каком-либо из столичных мест сопряжено с уличной давкой, которую создают его многочисленные внуки. Один рассекает впереди поэта на роликах. Другой катит в рессорной коляске. Третий скачет вприпрыжку. Четвертый выступает этаким гоголем. Пятый сидит на плечах и рисует фломастером на лысине поэта Левина забавные рожицы.

Да, в это, в общем, можно легко поверить. Поскольку лучшие отечественные портретисты изображают поэта Александра Левина именно таким. Ну а лучшие отечественные физики интерпретируют Левина как атом бора, вокруг ядра которого вращаются именно пять электронов.

Однако Левин никакой не атом, а поэт. Причем поэт крупный, масса которого намного превышает 10,811 а.е., коей обладает атом бора. Понятно, что речь идет не о массе тела поэта Левина, надо сказать — значительной, а о его поэтической массе, которая огромна. И не создан такой инструмент, который смог бы ее измерить хотя бы приблизительно.

Однако это слишком поверхностный взгляд. Вокруг поэта Левина постоянно происходит роение совсем иного рода. Идет он, пуская впереди себя очками двух солнечных зайчиков, а вокруг него так и порхают всяческие стригозавры, птюхли, поюцы и щебетайки, взвейки и любляйки...

И не человек это навстречу идет, а прямо-таки какой-то цветущий куст фейерверка. Или, как говорили в старину, сноп салюта.

— Салют, Саша, — скажешь ему, сойдясь лоб в лоб где-нибудь на Полянке.

— Салют, Володя, — ответит поэт Левин. И словно озоном обдаст.

Ну, я же говорю — поэт-праздник. А вы нудно пишете в своих монографиях: «автономные аффиксы у Александра Левина не просто лексикализуются, а превращаются в гиперонимы».

Поэт-праздник. И точка. И никаких слов больше не надо. Слова у поэта Левина. А у нас так, словечки. А то и слох\*евочки.

\* \* \*

Самое страшное для меня — встретить в Москве поэта Владимира Строчкова. Все равно где — хоть в подворотне, хоть на многолюдном проспекте.

Подойдешь к нему и скажешь: «Здравствуй, Владимир Яковлевич!».

И он неизменно отвечает мне: «Здравствуй, Владимир Яковлевич!»

После чего начинается беседа примерно такого содержания:

— Владимир Яковлевич, бу-бу-бу-бу-бу!

— Нет, Владимир Яковлевич, бу-бу-бу-бу-бу!

— Как же, Владимир Яковлевич, бу-бу-бу-бу-бу!

— Да вот так, Владимир Яковлевич, бу-бу-бу-бу-бу!

— А если, Владимир Яковлевич, бу-бу-бу-бу-бу!

— Ну, в этом случае, Владимир Яковлевич, бу-бу-бу-бу-бу!

И минут через пять у меня происходит полная потеря идентичности: то ли я Тучков Владимир Яковлевич, то ли Строчков Владимир Яковлевич. И спрашивать у прохожих абсолютно без толку. Одни говорят, что оба мы Строчковы, другие, — что Тучковы.

А то бывает, из Америки приезжает поэт Друк. Тоже Владимир Яковлевич. И это совсем беда. Наши встречи неизменно заканчиваются в психиатрической больнице. Причем, нас рассовывают по разным палатам — чтобы врачи не путались.

\* \* \*

Можно предположить, что Виктора Ковалья проще всего выследить на каком-нибудь токовище, спрятавшись на утренней зорьке в кустах и покуривая в рукав, дабы не спугнуть заслуженного поэта-орнитолога. И как только ласковое солнышко позолотит верхушки лиственных деревьев смешанной породы и слышится чавкающее приближение поэта из глубины заржавевшего еще в мезозой болотца, а также шумное дыхание сквозь метелку шляхетских усов, выскочить из укрытия и...

Однако нет в Москве никаких токовищ. Поэтому Виктор Коваль вынужден довольствоваться всякой банальной дрянью — воробьями, голубями, воронами и, если сильно повезет, сороками, трескучими, как просыпаемый на лист жести горох.

Идешь, бывало, по Соловьиному проезду или по Воронцову полю и натыкаешься на Виктора Ковалья, автора знаменитой поэмы «Гомон».

Стоит, крошит булку, хоть к петербуржцам и относится с большим лингвистическим недоверием, и, как может показаться на непросвещенный взгляд, беседует с пернатыми: курлы-курлы... фьюить-фьюить... тювик... гули-гули... чьвик, чунь...

И при этом горячится, пальцем грозит. А порой и гневно плюет наземь!

Подойдешь к нему потихоньку сзади и скажешь на ухо:

— О чем это вы, Виктор Станиславич, беседуете?

Повернется, окинет диким взглядом, крикнет и воскликнет раздраженно:

— Да разве с этими бестолочами можно о чем-то поговорить?!

— А что так?

— Да поналетели тут всякие!

И начнет рассказывать о том, что московский птичий гомон вот-вот исчезнет безвозвратно. Потому что в столицу слетелась вся птичья российская периферия. Какой чудовищный, какой варварский выговор! Какое бескультурье и при этом такие спесь и апломб! Уже несколько лет поэт-орнитолог пытается хоть



как-то облагородить этот сброд, давая ему, сброду, безвозмездные уроки истинно московского произношения и словоупотребления. Но тщетно! Не в коня корм!

— Простите, Виктор Станиславич, а при чем здесь конь?

— Как это при чем? — возмущается моей непонятливости Коваль. — Да при том, что и у лошадей точно такая же ситуация. И у собак! И у кошек! И у крыс и мышей! Все, буквально все изъясняются на варварской тарабарщине! Школа Малого театра пошла псу под хвост!

— И с тараканами та же история? — пытаюсь сдержать смех Ивана-не-помящего-родства.

Но он моего гнусного подтрунивания не улавливает. Горячится, глазами сверкает, усами шевелит.

И создается ощущение, что Виктор Коваль — единственный в столице человек, которому дорога ее культурная аура, подвергающаяся массивированной атаке агрессивных стай пернатых варваров.

И пока Коваль стоит хоть каким-то заслоном, пока в силу отпущенных ему возможностей борется за фонетическую чистоту курлыкания и щебетания, надежда есть. Есть надежда, что однажды майскими короткими ночами мы не услышим в Соловьином проезде отвратительного курского акцента, в котором присутствует явный перебор водопойной россыпи и стукотни и плохо акцентированы желна, клыкание и дроби.

\* \* \*

Знаете ли вы Татьяну Риздвенко? Смею утверждать, что Татьяну Риздвенко вы не знаете. И даже в том случае, если вы не просто читали ее стихи, но и готовы их декламировать, разбуди вас глубокой ночью ушатом холодной воды или сиреной образца тысяча девятьсот тридцать шестого года.

(Вполне понятно, что под сиреной я понимаю не Наталью Горбаневскую, которая в числе четырех интересных ей поэтов назвала Риздвенко, а механическое приспособление для извлечения отвратительного звука при помощи вращения ручки.)

Потому что бытовая ипостась Риздвенко, пусть и весьма привлекательная, — две руки, две ноги, посредине талия, сверху голова, изящная и набитая всяческими бытовыми и академическими премудростями, — третьестепенна для внешнего наблюдателя. И никак не может послужить для поэтической классификации.

Татьяна Риздвенко — это пристальный рентгеновский монокл. Поэтому всякий встретивший Риздвенко на улице, на литературном вечере, в метро, на лоне природы, не может стать по отношению к ней внешним наблюдателем, как бы он ни пыжился.

Он немедленно превращается из субъекта в исследуемый при помощи пристального рентгеновского монокла объект.

Об этом ее качестве догадываются наши продажные критики. Поэтому они стараются не попадаться ей на глаза. То есть не пишут о Риздвенко. Поскольку не хотят рисковать, дабы не попасть в коллекцию шкурок, которые она могла бы заготовить из критиков для пошива муфт, горжеток и воротников. Но, естественно, не шуб, поскольку хорошую шубу из всех наших вместе взятых критиков не сошьешь. Не более заячьего тулупчика.

Однако есть один способ, благодаря которому можно на время отсрочить превращение себя, любимого, из субъекта в объект.

Надо просто-напросто завести с Риздвенко разговор о квантовой физике. Однажды, например, на Старой Басманной я спросил:

— Таня, а знаешь ли ты, что наблюдатель влияет на изучаемый объект, даже если он к нему не прикасается ни пинцетом, ни измерительной линейкой, ни радиоволной?

— Как это? — ничего не поняла поэтесса, имеющая гуманитарное образование, несмотря на то что ее дед был генерал-лейтенантом артиллерии.

— А вот так. Представь себе, что ты являешь собой колонию молекул неизвестного происхождения, которая живет по неведомым человечеству законам...

И я минут десять пудрил ей мозги всяческой околонучной ахинеей. Результат получился впечатляющий. Риздвенко обратила свой пристальный рентгеновский монокль внутрь себя и попыталась исследовать колонию молекул неизвестного происхождения, которая живет по неведомым человечеству законам.

В результате она стала одновременно и объектом, и субъектом. Мне же на эти десять минут удалось сокрыть от нее три только что совершенные подлости, одна из которых касалась человечества, а две — лично ее, пять постыдных и семь убогих мыслей, легкую экстрасистолию, кисту на почке, кохлеарный неврит, книгу, не сданную в детскую библиотеку в одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году, и два чебурека, покачивающихся на волнах водки «Видоплясов-трир».

\* \* \*

Игорь Иогансон, выбирающийся в Первопрестольную из своей деревеньки, расположенной в Ярославской губернии, где зимой волки по-хозяйски заглядывают в затянутое бычьим пузырем подслеповатое оконце, а летом слепни и оводы за три минуты способны выпить из задремавшего человека всю кровь, являет собой жутчайшие зрелище. Словно все памятники, изваянные им за долгую и плодотворную монументалистскую бытность, одновременно воплотились в своем авторе и ведут напряженный творческий спор: кто из них главнее — девушка с ведром, Владимир Ильич Ульянов (Ленин), Крокодил Гена или академик Павлов на собачьей упряжке.

Идет он по Верхней Масловке, не налегке идет, а тащит по асфальту транспорт, который в его ярославской деревеньке называется волокушей. И не пустая та волокуша, а тяжело нагруженная.

Какой-нибудь остолоп, увидев такое, может беспардонно подойти и запа nbrатски спросить: откуда дровишки? И Игорь Иогансон в его сторону даже не глянет, не то что ответом удостоит.

Я-то знаю, я-то прекрасно знаю, что Игорь Андреич так надрываться может лишь в тех случаях, когда имеет дело не с бытовым, а с возвышенным. То есть с сочинительством, к коему он прикипел душой уж двадцать с лишним лет. Разбил молотком гипсовую голову Якова Свердлова и блестяще описал этот художественный жест в стихотворении, которое для потомков не сохранилось.

С тех пор его муза, находясь в постоянном поиске, словно любительница острых ощущений, шляющаяся по сомнительным клубам, которые иначе как притонами назвать невозможно, выписала не один зигзаг. Сонеты, просто рифмованные стихи, верлибры, какие-то шаманские рефрены, пьесы без слов, сценарии, мемуары...

— Над чем работаешь, Игорь Андреич, — спросил я, подойдя на расстояние акустической идентификации, разминая большим и указательным пальцами левой руки папироску «Казбек».

— Вот, везу в мастерскую все, что сочинил за последние два месяца, — ответил он, остановившись и утирая обильно струящийся по лицу пот ветошью.

— Ого! — удивился я производительности Иогансона, прикидывая вес находящихся в волокуше рукописей. — Это ж, верно, гигабайтов сорок будет?

— Нет, совсем нет, — сказал Иогансон, и в голосе его прозвучала то ли обида, то ли досада. — Я сейчас пишу емко.

— А, понял! — хлопнул я себя пятерней по лбу. — Это все, наверно, черновики, варианты?

— Нет, — это одно стихотворение.

Изумлению моему не было предела. Я присвистнул, что было ложно истолковано пробегавшей мимо собакой.

Иогансон откинул рогожу, которая прикрывала плоды его творчества. Собака, глянув на груз натренированным глазом городского изгоя, вынужденного непрерывно бороться за существование, и потеряв к происходящему всякий интерес, побежала в сторону стадиона Динамо.

В волокуше были деревянные дощечки. На дощечках были вырезаны буквы. Из букв были составлены слова. Слова, как я понял, должны были складываться в предложения, для чего необходимо было знать последовательность прочтения дощечек.

— А почему не на бумаге? — задал я вопрос, вполне естественный для человека заурядного.

— Я в ней разочаровался, — был мне ответ.

И Иогансон начал максимально доходчиво, ничуть не раздражаясь моей тупости, рассказывать о своей последней творческой эволюции. Бумага с отпечатанными на ней буквами сравнительно недавно начала вызывать в нем нравственные мучения. Вскоре он не мог уже сдерживать рвотные позывы, когда брал в руки какую-либо книжку или листок с отпечатанным на нем стихотворением.

И тогда он попробовал надиктовывать свои сочинения на электронные носители. Результат оказался даже более отрицательным. Во время прослушивания он внутренним своим зрением видел себя стоящим на громадной сцене, возвышаясь над беснующейся толпой поклонников рэпа, которые синхронно делали ему сотнями указательных и безымянных пальцев козу и вопили что-то на непонятном человеку его возраста языке.

Компьютер он, не раздумывая, отверг, назвав это дело мышинной возней.

И вдруг вспомнил про шумеров. Однако не стал их слепо копировать, а привнес в шумерский метод русский элемент, использовав не глиняные таблички, а березу, сосну и дуб.

О преимуществах нового метода записи сокровенных мыслей и чувств, облеченных в художественную форму, мы говорили уже в мастерской Иогансона.

И эти достоинства сыпались на меня как из рога изобилия. Впрочем, мысль моя по мере опустошения бутылки «Журавлей» становилась все более нитевидной, а внимание рассеивалось.

Вполне понятно, что главным достоинством нового метода Иогансон считает невозможность тиражирования текстов и, следовательно, их девальвации.

Ближе к концу нашей встречи он уже витийствовал:

— Человечество окончательно ослепло. И, не различая абсолютно ничего впереди себя, движется к пропасти. Все традиционные способы предотвратить катастрофу абсолютно бесперспективны, поскольку они не учитывают тотальную слепоту. А мои скрижали любой слепой способен читать, прикасаясь к рельефным буквам подушечками пальцев...

Когда водки оставалось уже на доньшке, я брякнул нечто совершенно неуместное: «Ну да. И еще когда зимой печку нечем топить, то можно использовать...».

Иогансон вонзил в меня такой испепеляющий взгляд, что дощечка с буквами «ИБО ДЛАНЬ ПРОС-», которую я держал в руках, начала желтеть, потом коричневеть по краям и вскоре начала слегка дымиться.

Иогансон до такой степени напугался и растерялся, что схватил со стола графин с водой и всю ее вылил не столько на скрижаль, сколько на меня.

Хорошо, что на дворе стояло знойное лето две тысячи десятого года, и эта водная процедура оказалась как нельзя кстати.

\* \* \*

С Михаилом Павловичем Нилиным непросто. Очень непросто. Поскольку он внутренний потаенный поэт.

Именно такое необычное классифицирование приходит на ум, когда начинаешь вдумчиво знакомиться с его книгой стихов «Акцидентный набор», обложкой для которой послужил рулон бумаги для светомаскировки во время налетов вражеской бомбардировочной авиации в период с 1941 г. по 1943 г., найденный автором на том же самом чердаке, где в свое время Мусиным-Пушкиным было обнаружено «Слово о полку Игореве».

Да, поэт он именно внутренний, несмотря на его стихотворение номер 118, опубликованное в книге на стр. 85:

Я снаружи.

У меня бесшнуровой.

Конечно, Михаил Павлович, используя обложечную светомаскировку, предполагал максимально ввести в заблуждение доверчивого читателя. Но мы-то прекрасно знаем, что с данным автором необходимо держать ухо востро.

Поскольку он не просто поэт, а еще и психоаналитик. Вместе получается: поэт — дефис — психоаналитик. То есть, войдя своими текстами в глаза, он не вылетает немедленно через уши или ноздри, а вбуравливается в подсознание, словно компьютерный червь. И живет там по своим собственным законам, навязывая их программным приложениям центральной нервной системы.

Этот самый «Акцидентный набор» был преподнесен мне автором в те незапамятные времена, когда фестивали верлибров проходили в Музее Вадима Сидура, а Кирилл Медведев был еще поэтом, а не революционером, каковым он является сейчас. И с тех пор не было ни дня, чтобы я невзначай не проронил в разговоре с кем бы то ни было на какую бы то ни было тему, не проронил совершенно безотчетно, вздрогнув при этом и побледнев, что-нибудь из программного вирусного кода:

с плешью-то по фестивалям  
[и не возьмут]

.....  
Филипп Робертович —  
пытлив не то слово —  
рассуждая о вожделении,  
хитрит

.....  
[и в больничном нужнике  
над выгребной ямой  
зимами сквозило]

.....  
Как назло  
Во лужах запели

но я ничуть  
а то получилось бы на людях в слезы

.....

Через месяц я понял, что со мной происходит что-то неладное, чего прежде не бывало. Да и быть не должно. Прежде из меня к месту и не к месту выскакивало лишь «мороз и солнце», «выхожу один я», «умом Россию», «это бредни, шерри-бренди», «я лучше в баре буду», «ты жива еще, моя». А тут вдруг — **ЧЕМ ПАХ-НЕТ ИЗ КРотовИН, ДАНИЛА?!!**

Еще через месяц стало понятно, что снять с меня наваждение способен лишь автор. Коего я и стал подстергать на московских улицах и площадях.

Однако это оказалось почти безнадежным делом. Михаил Павлович неизменно проносился мимо меня верхом на велосипеде «Спутник», произведенном на Харьковском велосипедном заводе в ту пору, когда к полету в космос готовился Герман Титов — космонавт номер два. И на все мои мольбы о помощи он отвечал сардонически, жестикулируя издалека.

Но все же разговор состоялся. Произошло это в кулуарах поэтического вечера, на котором выступала дюжина дюжих поэтов-авангардистов, читавших свои стихи задом наперед.

— Михал Палыч, милый, — бросился я к замешкавшемуся Нилину, — раскодируйте!

— А что такое, Владимир Яковлевич, — удивленно вскинул он брови, надетые поверх завораживающего взгляда психоаналитика. — Я как бы ничего такого с вами...

— Как же, а акцидентный набор, который пытается вытеснить из моей черепной коробки эго.

— Ах, вот вы о чем, голубчик! Я ничего тут поделывать не могу. Это раскодировать невозможно. Поскольку такова специфика минималистской поэзии.

Я впал в уныние.

— Впрочем, — продолжил поэт-минималист, — это дело можно компенсировать. Если вы, Владимир Яковлевич, конечно, не будете возражать.

Бежать от *«зарыбленной амальгамы, сивожелезного шарнира»* для меня было на тот момент наиглавнейшей задачей.

И я легкомысленно согласился.

С тех пор я стал постоянным объектом для оттачивания технологии зомбирования.

Вскоре после той нашей встречи я обнаружил, что с большой симпатией отношусь к градостроительным инновациям, которые в историческом центре Москвы проводила банда, называвшаяся в криминальных сводках «Московским градостроительным комплексом».

И пошло, и поехало. После каждой моей встречи с Михаилом Павловичем Нилиным я обнаруживал, что получил от него какое-то очередное кодирование. То я начинал осознавать, что от московских транспортных пробок лично для меня гораздо больше пользы, чем вреда. То начинал различать в телевизионных изображениях представителей преступного правящего режима какие-то симпатичные черты. И абсолютно все меня радовало: дождь, жара, инфляция, повышение цен на хлеб и тарифов ЖКХ, рост преступности и падение нравов, деградация армии и разрушение отечественной промышленности...

А Михаил Павлович знай себе наговаривает мне в телефонную трубку: «Владимир Яковлевич, голубчик, все идет самым наилучшим образом, вас ничто не тревожит, ничто не тяготит, следовательно, к вам не прицепятся никакие болезни, выбросьте все свои лекарства, они вам больше не нужны, мир прекрасен и удивителен, вы проживаете в гармонии с ним...»

Начиналось-то все с малости, с минимализма. А вон оно как обернулось!

\* \* \*

Ну да. А теперь о Капкине. О Петре.

Что значит — не поэт и его появление тут искажает концепцию?! Это Капкин-то не поэт? Точно так же можно сказать, что он не прозаик, не художник, не перформер, не лицедей, не гражданин Российской Федерации и вообще не человек.

Все дело в том, что суть его творческого метода заключается в отказе от себя как такового. Капкин писал стихи. Втайне. А то и вчуже даже от самого себя. И вот как-то раз его друзья-доброхоты молчком и тихой сапой издали книгу его стихов. И преподнесли ее автору на день рождения. В связи с чем Капкин пришел в ярость, которая вскоре сменилась затяжной мизантропией.

Отказ от себя, вполне естественно, толкал его на постоянное освоение других сущностей. К счастью, человеческих, а не чего-нибудь этакого из мира неживой природы, микромира, литературных тропов или области абстрактных идей. Хоть и с этим, думаю, он справился бы.

Так вот идешь по какой-нибудь Тверской или Большой Дмитровке, а навстречу — мать честная! — А.С. Пушкин. И этот самый Пушкин вдруг подходит, подмигивает и приоткрывает уголок оприходованного имиджа. А под ним просматривается фрагмент Капкина, Петра Арнольдовича.

Прикольнo?

Внешне, конечно, да. Однако каково Капкину внутри? Внутри — большая работа, тягание тяжелых экзистенциальных гирь. Одним словом, искусство, использующее невиданный и невидимый материал.

Так он и творил:

Идешь по Верхней Масловке, а навстречу — мать честная! — И.Е. Репин.

Идешь по проспекту Вернадского, а навстречу — мать честная — К.Э. Циолковский на велосипеде катит.

Идешь по Зоологической, а навстречу — мать честная! — И.П. Павлов.

В творческом наследии П.А. Капкина есть и неперсонифицированные работы. Во всяком случае, мне не удалось их декодировать.

Среди них: «злой чечен», «профессор ихтиологии», «грузчик мебельного магазина», «золотодобытчик, отгуливающий в Москве законный отпуск», «командир атомной субмарины», «депутат Государственной думы второго созыва без автомобиля», «влюбленный брокер»... И даже: «обманутая жена», «сварливая теща», «сестра милосердия», «диктор, объявляющая в метро остановки»...

Но однажды Капкин сказал в телефонную трубку, что заболел и больше не будет выбираться в Москву из города российских физиков Дубны.

Многие поверили.

Собственно, и я на первых порах купился на этот очередной трюк Капкина.

Но однажды, проходя по Семипалатинскому бульвару, я обратил внимание на человека средних лет, который долотом вырубал в стволе тополя дупло правильной геометрической формы. Я приблизился. Обошел его вокруг. Предложил закурить. Спросил: «А скоко счас время?». Но Капкин настолько сросся с сущностью человека средних лет, который долотом вырубает в стволе тополя дупло правильной геометрической формы, что его индивидуальность никак себя не обнаруживала.

Да, — сказал я сам себе, — высший пилотаж, приближение к абсолюту на расстояние не более девяти нанометров.

И Капкин, пребывая на пике своего причудливого творчества, непрерывно выдает все новые и новые шедевры.

Идешь по улице, а там — мать честная! — человеческий рой, который изображает Капкин.

Ну, или персонажи его рассказов.

Однако наши критики уже много лет в упор не видят ни этих персонажей, ни рассказов, которые они населяют, ни сочинившего эти рассказы Капкина, в связи с чем я имею право, да что там право, я просто обязан, будучи апологетом этического консерватизма и носителем эстетической совести, просто обязан назвать всех этих критиков и критикесс говнюками и говнючками!

А как, блин, иначе-то?!

\* \* \*

При встречах с Игорем Иртеньевым неизменно вспоминается «Брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси».

Нет, сам-то я бороду уже давно отпустил, ей уж скоро сорок лет будет. Какой-никакой, а юбилей. Не худо бы и отметить.

А вот у Иртеньева борода совсем молодая, она даже еще до школы не доросла, ходит пока еще в детский сад. Но читать и писать уже, несомненно, научилась. При таком-то хозяине!

Несмотря на молодость, борода Иртеньева выглядит солидно. Хоть до пояса пока еще и не достает.

Впервые увидев Иртеньева в столь непривычном облике, я сразу же задал вполне естественный вопрос: «Что, Игорь, окончательно разочаровался в либеральной идее? В почвенники решил податься?».

Поэт Иртеньев, естественно, ответил мне стихами:

Одиноко брожу средь толпы я  
И не вижу мне равного в ней.  
До чего же все люди тупые,  
До чего же их всех я умней.

«То есть ни с теми, ни с другими?» — как мне показалось, понял я поэта. Хоть это, конечно, не факт при моей тупости-то.

Поэт Иртеньев улыбнулся, поскольку в очередной раз убедился в неопровержимой правоте продекламированной строфы. И продолжил:

Все, чем, считается от века,  
Богат и славен индивид,  
Есть эманация молекул,  
Душа из коих состоит.

«Помнится, хоть ты раньше и критиковал РПЦ, но до такого нигилизма никогда не доходил. Что с тобой?» — содрогнулся я всею своей молекулярной душой.

Поэт Иртеньев пожал плечами и изрек:

Листья желтые медленно падают  
В нашем богом забытом саду,  
Ничего меня больше не радует,  
Даже цирк на Охотном ряду.

Пожал и я плечами. На том и разошлись. И после долго думал, что же все-таки имел в виду Иртеньев.

С тех пор я зарекся говорить с ним о западниках и почвенниках. Нормально беседуем на всякие другие темы: о литературе, искусстве, политике, о быте, о его затворничестве в Фирсановке, о жене Алле, маститой, между прочим, писательнице, о псе Димоне, подаренном ему на юбилей...

Бывает, что и выпиваем. Как с ним не выпить, ведь эта поведенческая ипостась считается у нас неотъемлемой частью профессиональной пригодности поэта. Хочешь — не хочешь, можешь — не можешь, а коль назвался груздем, то полезай в бутылку!

Впрочем, я не хотел бы, чтобы данное высказывание прозвучало как напутствие юношеству, делающему первые шаги на поэтической стезе.

Хотя, конечно, если как следует поразмыслить, то это самое юношество по этой самой части даст нам, старикам, сто очков вперед.

Об этом мы тоже беседуем с поэтом Иртеневым. Но строк печальных не смываем.

\* \* \*

Вот и Ваня Ахметьев дожид до Ивана Алексеевича, до очков, всерьез и надолго осевших на переносице, до расширения габаритных огней.

А ведь всего лишь на две недели старше меня. Но на очки я пока денег не заработал, хоть, правда, с габаритами та же самая история. Да и имени-отчества так и не нашёл. Даже двухлетний внук Павлик зовет меня Вовой, без титула «дед».

Впрочем, разговор не обо мне, как бы я себя ни ценил, как бы высоко ни ставил. Поскольку нет во мне ничего для себя загадочного и таинственного. Это вот, например, Слава Лен может о своей величественности столько удивительного рассказать, о чем он за пять минут до рассказывания и вообразить себе не мог. И при каждом новом рассказывании у него будут получаться новые сюжеты. Как, скажем, в детской игрушке, именуемой калейдоскопом.

В Ахметьеве есть две таинственности, которые понять мне не дано.

1. Как он, будучи поэтом лаконичным и немногобуквенным, знает об андеграунде советского периода абсолютно все? Все имена. Все доскональные биографии этих имен. Все стихи, ими написанные. И где и когда эти стихи были опубликованы.

2. Почему при столь всеобъемлющем знании проблемы Ахметьев все еще не профессор какого-либо университета? А лучше пяти или семи. Почему он не собирает в аудитории пытливые наше юношество с горящими взорами и не рассказывает ему, попыхая папироской «Север» по четырнадцать копеек за пачку, о поэзии андеграунда?

Сию тайну я пытался как-то раз вывести у Ахметьева во сне. Абсолютно бесперспективно.

Так вот приснился мне как-то раз Ахметьев в странном обличье — в виде громадного шкафа, набитого самиздатовскими книжками и машинописными рукописями.

И стоит этот шкаф, то есть Ахметьев, на распутье трех дорог.

И спрашиваю я у него, что меня ждет, если пойду налево, если направо и если прямо.

А он, презрев канонический сюжет, сам меня строго вопрошает:

— Прочти мне хотя бы одно стихотворение Сергея Габуза. Тогда получишь исчерпывающий ответ.

Ну, я, конечно, тоже не лыком шит. Был у меня с собой ноутбук. Погуглил быстренько. И нашел, что это психотерапевт гродненского клинического роддома. О чем я и брякнул незамедлительно.



— Плохо, господин студент, — пожурил меня шкаф. — Но у вас есть шанс исправиться. Прочтите хотя бы пару строк из Вадима Забабашкина.

— Ну, это проще пареной репы, — воспрянул я духом. — Это поэт из Владимира, мы с ним когда-то в Коврове на фестивале вместе выступали, а потом на берегу реки выпивали. Был там еще поэт Березкин — тонкий лирик и наивный поэт...

— Меня не интересует, с кем вы выпивали. Пару строк! — рявкнул Ахметьев. Я напрягся... Но безрезультатно.

— Стыдно, — проскрипел Ахметьев правой дверцей. И прочитал:

Я про запас купил консервы,  
но съел: не выдержали нервы.

Испытание продолжалось долго. И ни на один вопрос я так и не смог ответить.

Вконец разозленный, понимая, что верную дорогу у Ахметьева мне не выведать, я сам задал ему трудный вопрос:

— А скажи мне, Ваня, почему ты отобрал в свой шкаф самые слабые мои стихи? Почему там нет про стоячие узлы человеческих волн, про просеку, про Лаокоона? Почему?

На том мы и разошлись. И я продолжаю плутать в чистом поле, потеряв последние надежды выбрести к счастью или хотя бы к осмысленному существованию.

\* \* \*

При встрече с критиком Владиславом Кулаковым я неизменно вздрагиваю. И даже опасливо смотрю на небо: не нарисовался ли там, в заоблачной вышине, какой-нибудь символ Армагеддона?

Такая моя истерическая реакция проистекает отнюдь не из опасения того, что Кулаков в какой-нибудь своей критической статье понесет меня по кочкам и разоблачит мою поэтическую несостоятельность. Нет, этого я уже давно не боюсь. По причинам, которые не имеют ни малейшего отношения к данному рассказу, который можно отнести к жанру потаенного триллера.

Просто я панически боюсь того, что Кулаков когда-нибудь напишет стихотворение. Хотя бы одно. Даже одного будет более чем достаточно, чтобы акт его обнародования повлек за собой ужасающие последствия.

Дело в том, что Кулаков знает о поэзии все. Не просто все, а абсолютно все. Знает, в какой последовательности истинный поэт должен перебирать разнообразные струны души — от самых грубых до самых тончайших, настроенных на гиперзвук, — чтобы получилось идеальное стихотворение.

Стихотворение стихотворений.

Квинтэссенция всей мировой поэзии от неандертальцев, когда впервые прозвучало «ба-бу-бы», до...

До самого ее конца. То есть до могильной плиты, которой ляжет на всю мировую поэзию стихотворение Владислава Кулакова. Потому что после этого идеального стихотворения сказать что-либо поэтическое ни одному поэту уже будет невозможно.

И поэзия умрет.

Казалось бы, да и хрен с ней.

Однако без поэзии, без, казалось бы, этой абсолютно необязательной и даже бесполезной материи россияне окончательно и бесповоротно опустятся на четвереньки и захрюкают. И родная земля зарастет чертополохом, а с неба будут сыпаться пустые банки из-под пепси-колы.

Кулаков прекрасно понимает сокрушительную мощь оружия, которым он владеет. И она аналогична мощи ракетно-ядерного потенциала России. То есть это оружие сдерживания, а не нападения. Которое, будем надеяться, никогда не будет применено.

Такая же функция и у ненаписанного стихотворения Кулакова. Опасливо поглядывая в его сторону, российские так называемые поэты не бегают по улицам нагишом, не сношаются в публичных местах, не обливают прохожих мочой и не мажут кашками, как это принято в среде так называемых современных российских художников.

\* \* \*

Многие ломают свой ум, пытаясь выяснить, что же столь крепко связало поэтов Игоря Левшина и Игоря Сида, что они в нашем сознании уже стали почти как Бойль с Мариоттом или Гей с Люссаком?

Ведь не только же одноименные имена. Потому что разница между ними во всем остальном существенна.

Левшин пишет радикальные стихи, которые, минуя органы чувств, попадают прямо в мозг. И это в значительной мере объясняется тем, что когда-то он был металлическим физиком: то есть изучал свойства проводников, полупроводников и четвертьпроводников. Вот и теперь он ловко пользуется приемами проводимости. Но уже не из положительного пункта А в отрицательный пункт Б, а прямо из своего мозга в мозг потребителей его поэзии.

Сид плетет причудливые метафоры, которые напоминают чудищ морских, обитающих на страшной глубине, не видя божьего света. И это у него тоже профессиональное — Сид когда-то был ихтиологом и варил уху из таких тварей, которые не привидятся нам и в кошмарном сне.

Так вот эти двое, основываясь на своем естественнонаучном опыте и нездоровой тяге к сомнительным экспериментам, решили проводить опыты над отечественной поэзией. Для чего вступили в сговор, получивший название «Номинальная инициатива».

Смысл, если таковой вообще имеется с точки зрения здравого смысла, данной инициативы состоит в том, чтобы классифицировать современных русских поэтов на основании различных не вторичных даже, а непонятно какой степени признаков.

«Инициатива» проводит литературные чтения авторов, имеющих одно и то же имя. Вечер Иванов, Петров, Анастасий, Людмил... А затем при помощи произнесения различных слов выясняется, что же общего в их поэтике-эстетике. Устраивает чтения родившихся под одним знаком зодиака, и с той же самой целью.

«Номинальная инициатива» возникла недавно. Так что можно от нее ожидать множества самых неожиданных группирований: по уровню доходов, по отношению к религии, по росту и весу, по остроте зрения...

В общем, этим двоим не дает спокойно спать слава Карла Линнея. И они всяческими путями пытаются выстроить свою систему классификации поэтического мира.

Надо сказать, что в эпоху тотальной и агрессивной политкорректности занятие это небезопасное. Вычленение групповых отличительных особенностей немедленно объявляется расизмом. Даже если исследователи не измеряют линейкой размеры черепов классифицируемых.

Естественным следствием столь опасной инициативы должны стать суды Линча, которые будут введены в поэтическом сообществе.

Это, конечно, ужасно. Ужасно во всех отношениях.

Однако положи руку на сердце должен признаться: уж слишком у нас много развелось поэтов. Неплохо бы этот круг обуздать.

\* \* \*

Поэт Алексей Сосна, известный также в качестве директора Зверевского центра современного искусства, — очень приятный человек. Мягкий, улыбчивый, с белокурой бородкой, которая то появится на его лице, то внезапно исчезнет.

Одним словом, интеллигент в двадцать пятом поколении. Да, именно так: тут еще никакой Москвы не было и в помине, топь да бурелом, а древние предки Сосны уже обитали в селе Кучкове. И не просто обитали, а, будучи интеллигентами, сильно при этом переживали за судьбу русского народа. И пытались облегчить ее посредством сочинения душеспасительных произведений.

Поэтому Алексей Сосна, будучи продолжателем семейных традиций, тоже переживает. И тоже пытается облегчить народную участь при помощи стихотворений, в которых бичует неправду нынешней жизни.

И если обычно Сосна мягок, улыбчив и лексически богат, а то и избыточен, то в стихах он страшен!

Лично я побаиваюсь, когда он эти стихи декламирует. Вид его ужасен, на лице блуждает злоеющая улыбка, которая резко сменяется гримасами боли, отчаяния, ярости. Не слова он швыряет в оробевший зал, а булыжники. И многие из них матерного свойства, чего обычно, в устной речи, за Сосной не водится.

И какое счастье, что мне ни разу не довелось наблюдать процесс сочинения этих стихов. Наверно, умер бы от страха.

Не, ну а так, говорю я вам под присягой, — мягок, улыбчив, обаятелен. Одним словом, интеллигент.

\* \* \*

Если увидишь в каком-либо литературном месте Москвы Владимира Герцика, то нужно немножко повертеть головой во все стороны. И непременно обнаружишь поблизости Александра Воловика.

Несмотря на то что они не братья-близнецы, не полицейский и вор, не скованные одной цепью каторжане, не альфа и омега, и не мать их Софья.

Воловик и Герцик — орлы. Нет, не двуглавые, которые попирают когтями все живое, чувствующее и мыслящее. Они — орлы гнезда Эпштейнова, которое именуется столь серьезно, что постороннего созерцателя немедленно охватывает робость, когда он слышит: Литературно-Творческий Клуб «Образ и Мысль».

Михаилу Эпштейну что: назвал да и укатил себе в Америку. А нам, простым смертным, приходится всякий раз вздрагивать и снимать шляпу, слышав эти пять слов, каждое из которых начинается с очень большой буквы. Некоторые даже вскакивают, словно им в уши насильно вдувают третью опцию гимна страны.

И у Воловика, и у Герцика образов в избытке. Поскольку они — поэты, тонко чувствующие, остро переживающие, звонко вибрирующие фибрами души, отчего в стихи складываются точные слова.

Не одни и те же, а разные.

У Воловика — изящные, с ироничной грустинкой, легкие: «слагать не кирпичи, а легкие слова...».

У Герцика — с пританцовыванием, с умеренным заумническим выкаблучиванием, с тяготением к парадоксу на фоне китайского — КИТАЙСКОГО! — мировосприятия.

Ну, а мыслей у обоих пре-дос-та-точно!

Потому что один — математик. Другой — физик. У каждого в кармане диплом соответствующего факультета МГУ.

И если бы не были поэтами, то ужас что могли бы сотворить. Вплоть до бомбы неведомой еще силы, которая разнесла бы этот прогнивший мир в щепу, расчленила бы его до уровня таких элементарных частиц, из которых невозможно было бы сложить ни одного образа, ни одной мысли.

\* \* \*

Может ли один и тот же человек быть одновременно и бомжом, и профессором Российского государственного гуманитарного университета? Может. И я прекрасно знаю этого человека — это поэт Юрий Орлицкий.

Вообще, конечно, слово «бомж» я тут употребил не вполне корректно — для пущего эффекта, без чего жанр инсинуаций теряет всякий смысл. Про Орлицкого говорят, что он «живет на литературоведческих конференциях». И это действительно так: завершилась конференция по Ивану Тургеневу в Орле, он садится в поезд и едет в Феодосию, где начинается конференция по Александру Грину, после Грина профессор летит в Новосибирск, где намечается конференция по Анатолию Маковскому. И так нон-стопом по городам и весям, по гостиницам, вокзалам, аэропортам... Это может продолжаться и месяц, и два, и три. Типичный бигфайер, который барражирует над необозримыми просторами отечества, совершая периодически заправку топливом в воздухе.

Однако и в Москве случается что-нибудь интересное и достойное внимания профессора, специалиста по русскому верлибру и поэта-же-верлибриста Ю.Б. Орлицкого. И порой кто-нибудь из счастливых может лицезреть его, бодро вышагивающего по какой-либо столичной улице с профессорским рюкзаком за плечами.

Встречаемся мы с ним, как правило, на каких-нибудь поэтических вечерах, где он присутствует либо как слушатель, либо как теоретик свободного стиха, либо как декламатор самим собой сочиненных верлибров. Однако он не догматик и вполне способен вернуть что-нибудь зарифмованное.

Я подхожу к нему и шепотом, на ухо говорю: «Здравствуй, Юра!». Поскольку назвать профессора прилюдно не по имени-отчеству — моветон.

Он столь же тихо, чтобы никто не услышал, отвечает мне: «Здравствуй, Владимир Яковлевич!». Ведь и это также противоречит общепринятой морали: назвать поэта по имени-отчеству означает публичный вызов общественным вкусам.

Минут тридцать, пока распорядитель вечера, как правило, это Данил Файзов или Юрий Цветков, вызванивает выступающего, а при необходимости опохмеляет его, мы с Орлицким ведем степенные беседы о том, как быстро вырастают дети, как в свое время литературная жизнь была ключом в Самаре, что стало с литературным салоном «Классики XXI века» с пришествием этого самого XXI века, сколь виртуозны верлибры Арво Метса, не дожившего до астении русской поэзии...

А потом слушаем того или иного выступающего поэта.

И по реакциям Орлицкого я все более прихожу к выводу, что введенный лет двадцать назад в повседневный обиход термин «свободный русский стих (СРС)»<sup>1</sup> не только крайне неточен, но и вредоносен.

<sup>1</sup> Свободный русский стих — стих, насильственно лишенный своих первичных признаков: размера и рифмы.

В былые годы выдающийся поэт-верлибрист Владимир Бурич, до конца своих дней признававший право на существование только лишь за СРС, терял всяческий интерес к автору, у которого на протяжении хотя бы пяти — семи слогов вдруг вытанцовывался какой-нибудь амфибрахий, не говоря уж о ямбе или хорее.

Я украдкой подсматриваю за Орлицким, сидящим со мной рядом. У него такие вытанцовывания никакого протеста не вызывают. Болезненно он реагирует — сдавленными охами, произвольными сжатиями кисти правой, ударной, руки в кулак, негромким покрякиванием — на вульгарные жаргонизмы. А паче всего — на матерную брань, которая рядится в шутовские одежды художественно достоверной необходимости.

— Ну, Юра, — шепчу я ему на ухо, — доволен ли ты плодами?

— А что такое? — старается он меня не понять.

— Вот они, плоды свободного стиха, — не позволяю ему увильнуть от ответа.

— Ну, это частный случай.

— Да нет, дорогой, придем с тобой завтра сюда же или в какое другое место, где будет выступать другой «свободный поэт», и — все будет то же самое. И так можно ходить неделями, месяцами. И не только в Москве. Ничего иного мы с тобой не обнаружим в любом губернском городе. Да что там — в любом уездном. И лишь в деревнях, где любят поэтов Есенина и Рубцова, такой разнузданности не встретишь, — заканчиваю я свой страстный монолог, продекламированный трагическим шепотом.

Орлицкий подавленно молчит.

— Здесь, в этой стране, все понимают свободу как вседозволенность, — продолжаю я. — А вседозволенность неизбежно трансформируется в распущенность. И в первую очередь это относится к поэтам. Будь моя воля, я бы свободных поэтов сек на конюшне. Для выправления нравов и последующей профилактики. Согласен?

— Да, сечь, — тяжело вздохнул профессор Орлицкий. А потом добавил: — Но ты об этом, пожалуйста, не распространяйся. Потому что, сам понимаешь, в этом случае я должен отказаться от своей докторской диссертации.

— Конечно, конечно, — согласился я, поскольку Юрий Борисович Орлицкий — мой старинный друг. Зачем же ему ломать судьбу?

Поэтический вечер, как обычно, завершился фуршетом. Первый тост, естественно, был предоставлен самому почетному гостю мероприятия.

Юрий Борисович был лаконичен: «За свободный русский стих!» — воскликнул он с изрядным пафосом.

«За СРС, за СРС!» — весело подхватило шалопутное застолье. Ну, естественно, и я в том числе: «За СРС!».

Вот так научные заблуждения входят в нашу повседневность, а вскоре становятся частью нас самих.

\* \* \*

В густых металлургических лесах, где непрерывно идет процесс создания хлорофилла, не всяк не только заметит, но и обнаружит Александра Еременко. Но даже и обнаруживший не всегда сможет постичь смысл его бытования в пейзаже, которого, в сущности, нет.

Точнее, он — пейзаж — когда-то, может быть, и был. Но лишь до той поры, до той безвозвратной пространственно-временной границы, как Еременко упа-

ковал его в силлабо-тоническую коробку, нашлепнул сургучовую блямбу и отнес в почтовое отделение связи.

Осталась видимость и отчасти слышимость. Без осязаемости и обоняемости.

Ну а в центре, в самой чаще этой густой металлургической видимости и слышимости — то не волны морские бьются о борт корабля.

И не звуковые бороздки на виниловой пластинке.

И не уходящие за горизонт толстовские борозды.

И не кольца годовые на пне от спиленного Болконским и Безуховым при помощи двуручной пилы дуба.

То Еременко в тельняшке.

То Еременко в тельняшке сидит и медитирует.

То Еременко в тельняшке сидит и медитирует, отслаивая от себя то, что неумные люди называют жизнью.

И внутри него гремит истинное «Будда жил, Будда жив, Будда будет жить!» вместо девальвированного «Ом мани падме хум».

Подойдешь к нему, царапая щеки о густые металлургические заросли. Подойдешь и спросишь:

— Саш, а что есть современная поэзия?

Спросишь, несмотря на то что доподлинно известно: за такие вопросы Еременко сломал немало бамбуковых палок о пустые головы учеников.

Но я как бы и не ученик, из одного стакана в свое время было немало выпито.

Потому и спрашиваю без особого риска.

И в ответ громоподобное молчание, заволакивающее густым туманом и без того густые металлургические леса, в которых бессилен даже вмонтированный с такой ужасной силой бинокль полевой.

Владимир Жбанков  
**памяти лета 2010**

\* \* \*

Берегись трамвая, автомобиля не берегись,  
по этим дорогам автомобили не ездят.  
В трамвае не вздумай ни с кем говорить за жизнь,  
здесь твоя жизнь даже поручням неинтересна.

Будь осторожен, вежлив и обращай  
пристальное внимание на забытые вещи.  
В них живёт смерть. Вот сумка — в ней спички и чай,  
а в них, как иголка в яйце, взрыватель трепещет.

Обратись к машинисту, он вызовет МЧС,  
ФСБ и начальника прокуратуры.  
И пока те спускаются вниз со своих небес,  
молись, чтобы если убьют, то не очень грубо.

Если останешься жив, то выпей валокордин,  
осознай, что пешком до работы — морские мили.  
И когда пойдёшь вдоль дорог, по морозу, один,  
не бойся трамвая, бойся автомобиля.

\* \* \*

Памяти лета 2010.

*В ожидании перевозки оставьте тело в отдельной  
комнате, закройте там окна. Боритесь с запахом,  
сжигая кислород свечкой. Обложите тело льдом в  
пластиковых бутылках. Накройте ему лицо марлей,  
смоченной водкой, а то оно потемнеет.*

© Председатель профсоюза ритуальных  
работников Антон Авдеев

Те, кто не переносит жару,  
кто не обучен, как жить в дыму,  
те, кто родился не в том году.

**Об авторе** | Владимир Жбанков родился в 1985 году в Москве, по образованию — юрист, кандидат наук. Работает преподавателем права Европейского союза МГЮА им. О.Е. Кутафина. Стихи публиковались в журналах «Пролог», «Кольцо А», «Студенческий меридиан» и др., в различных альманахах. Участник форума молодых писателей в Липках в 2011 году (поэтический семинар «Знамени»). Живет в Москве.

В морге штабели жёлтых тел,  
тех, за кем он недоглядел,  
синих тел и зелёных тел, —  
к этим он совсем не успел.

Тот, кто снизу, так говорит:  
эй, кто сверху, что там за вид?  
Как погода? Никто нейдёт  
нас вести в земляной народ?

Тот, кто сверху, не говорит,  
он зажат и не видит вид,  
что оставшимся не до них.  
Схоронить бы своих.

А погода-то хороша,  
если можешь ты не дышать:  
солнце, ласковое для глаз,  
в нежной дымке не видно нас,

тех, кто не переносит жару,  
кто не обучен, как жить в дыму,  
кто родился в своём доме,  
кто лежит ни гу-гу, ни му-му.

\* \* \*

не всё ли равно Горноалтайск, Анадырь  
тьма Подмосковья, тоскливая, как Сибирь,  
в баре играют на банджо и по-английски поют  
местные пляшут. я ненадолго тут

вот один мечется между одной и другой  
вот у другого нету уже никого  
нас здесь не ждали, здесь никого не ждут  
тьма под мостами, а над мостом — салют

паспорт в кармане — брошюра моих грехов,  
дымно и людно — вот он, мой стол и кров  
счёт невелик и я ухожу полупьян  
дядя у входа на снег выливает кальян

Брюгге и Лёвен, ну, наконец, Брюссель  
можно в гостинице, а можно и так, у друзей  
ветер с реки, всё потому что февраль  
Боинг-543, пожалуйста, не улетай



Виктория Козлова

## Воробьи-слова

рассказ

*Не скрою, что мне очень приятно представить Викторию Козлову, нового автора нашего «Знамени». Она обладает прицельным зрением и чутким слухом. Своих героев, бесспорно, знает. Она не любит и не снисходит — живет среди них и пишет для них. Не только не смотрит на них сверху вниз, но чувствует тесную с ними связь. Тот случай, когда у героев и автора общие радости, общая боль.*

*Козлова еще молодой литератор, но ей уже есть с кем познакомиться, о ком рассказать своему читателю — это серьезное достоинство и, должен сказать, не такое уж частое.*

*Думаю, что не ошибусь, если предположу, что Козлова сумеет ввести в нашу словесность новые, незаимные судьбы, не примелькавшиеся лица. Я крепко надеюсь на то, что Виктория с ее наблюдательностью и отзывчивостью, с ее врожденным демократическим — в лучшем значении этого слова — ощущением народной жизни сумеет извлечь еще не раз из этой мощной полифонии запомнившиеся голоса.*

Леонид Зорин

Ночь не спавшая, растрепанная, с торжественной алой каймой по краю век — Геша, оседлав промерзшую до железного хребта электричку, мчалась по заснеженным полям. Летела деда хоронить.

Решила, что поедет сама в ту самую секунду, как в ночной квартире раздастся звонок. Она корпела над легким, но, на удивление, не идущим в руки переводом, утомленная, злая. Любовь выдыхается быстро, как флакончик духов с потерянной пробкой — даже если это просто любовь к языку, хотя когда-то обещала самой себе, что уж его-то не разлюбит. Ну, в общем, — тут телефон. Врач говорил сипло, спокойно и не особенно церемонясь — скончался такой-то, от того-то, тогда-то. Приезжайте.

Удивления не было, она давно уже предвидела, что дед умрет и вестником будет старинный, дисковый еще аппарат, визжащий, как испуганная барышня, — сбилось, как по написанному. И озноб бессонной ночи, и шипение плохой связи, и даже чекушку коньяка — наивное средство от потрясений — заранее купила. Да и вообще готовилась давно, уже который год, например, не ездила в отпуск. Куда я поеду, думала, у меня дед старый. И когда думала про будущее, всегда делила его на две половинки, мысленно спрашивая — будет это, пока дед жив, или случится, когда дед станет мертв?

**Об авторе** | Виктория Козлова родилась в 1989 году. Закончила Институт журналистики и литературного творчества. Работает в сфере PR. Живет в Москве. Прозу публикует впервые.

Бесконечное ожидание, казалось, сжирало подошлуку, и голосок совести все тончал, тончал. Как будто подготовка к его смерти оправдывала абсолютное неучастие в его жизни.

Но, конечно, оказалось, что все напрасно. То ли люди вообще не умеют к такому готовиться, то ли Геша оказалась в этом бесталанная. Села по-турецки у виды выдавшего трюмо, сжала когтями предательницу-трубку и заскулила, пытаясь обеими руками то ли обнять саму себя, то ли задушить.

Злость и ужас — напитки, содержащие градус повыше коньяка, так что уже на следующий день, истратив первую его половину на скорые, обязательные в таких случаях звонки, Геша мчалась в той самой электричке. Прислушивалась к хриплой, как будто с похмелья дикторше, объявляющей никчемно мелкие остановки с причудливыми названиями — Соловьи, Грибная, Зимовка, — чтобы сойти на нужной.

Лучше бы назвали станцию — Беспробудная Тоска. А как не тосковать было ей, шагая второй километр по унылой, обледеневшей, старательно кем-то утоптанной тропке, все приближаясь к голубеющим вдали горбатым крышам?

Добралась до деревни, отыскала дедов дом и застыла, унимая сжавшееся сердечко. Скромный пятистенок с каждым редким Гешиным приездом казался все меньше, усыхал с годами, как старичок. Теперь он вовсе скопился на один бок и вообще вид имел убогонький, но чья-то заботливая рука подновила краску, подперла ухнувшую влево веранду свежими досочками, замотала полиэтиленом стволы дряхлых, давно не плодоносящих яблонь, и от всех этих беспомощных хлопот в желудке подвело ледяной рукой. Геша подошла ближе, неуверенно, заискивающе смахнула навалившийся снег с почтового ящичка, как погладила неприрученного зверя. На ящичке значилась фамилия, которая теперь составляла часть дедова наследства и, как скажут позже в нотариальной конторе про прочее его имущество, становилась нераздельной Гешиной собственностью.

Первый шаг за порог дедовой смерти оказался непреодолимой трудностью — ключей от дома у Геши не было. Спасение бесшумно подкралось по утоптанному снегу.

— Агнешка, ты, что ли? Ты? — голос Лелы Семеновны, дедовой соседки, еще с детства запомнился Геше густым, как дым от лапника в костре. Теперь так и хотелось разогнать ладонями его, превратившегося на холоде в натуральные клубы. Глаза у старухи были ясные, заиндеветшие, волосы, как всегда распущенные, подкрашенные синькой, змейками выползали из-под шапки.

Геша-Агнешка развела руки, показывая, мол, я, и приготовилась к стандартным старушечьим причитаниям, ясно прописанным в программе. Но Лела Семеновна будто бы даже не интересовалась, на кого дед их покинул. Казалось, на втором, чуть удивленном, «ты» все любопытство соседки исчерпалось. Она глядела пристально и просто, как птичка, потом сказала, немного ворчливо, будто стесняясь своего радушия:

— Пошли, чаем напою, холод какой.

Избушка Семеновны была такой же старой, ветхой и никчемной, как большинство домов в умирающих Малых Грязях. Внутри Гешу встретили ожидаемая жара, скромное освещение и даже электрический чайник.

— А ты думала, я из самовара пью? — Лела Семеновна стащила ватник, толстую шерстяную кофту и оказалась юркой, приятно худенькой старушкой из детских книжек со сказками. Она ворковала, мурлыкала, даже меленько хихикала над городским простодушием. Все это заставило Гешу, холодея, предположить про себя, что старушка еще не знает про деда. Может, из больницы не успели сообщить? Но тут раздался решающий вопрос:

— Значит, дачку продавать будешь?

Геша помолчала, раздумывая, что сказать.

— Пока не знаю, — решила. — Но, вернее всего, буду.

— Понимаю, — кивнула старушка. — Понимаю, да вот только не знаю, кто польстится, такая у нас глушь.

Напоив чаем, Лела Семеновна проводила Гешу в дедов дом. Перед этим она с торжественным скрипом выдвинула широкую деревянную челюсть комода и, опустив туда по локоть руку, выудила замотанный тряпкой запасной комплект ключей.

Двор стоял одичавший, равномерно засыпанный снегом повыше щиколотки. Лела Семеновна высоко поднимала ноги в валенках, а Геша покорно топала по ее следам, разморенная от горячего чая и долгой дороги. На пороге остановились — Семеновна, подбирая ключ, Геша, подготавливаясь к давно знакомым запахам, обещавшим разорвать ее изнутри. Задержала дыхание, шагнула в темноту, вдохнула. И — ничего. Ни стариковской затхлости, ни нафталина, ни пыли. Только чуть-чуть сырого дерева и какой-то тонкий, сливочный привкус, как будто час назад здесь варили тыквенный суп.

— Обогреватель ему приперла свой, масляный, чтобы печь лишний раз не топить, — ответила Семеновна на Гешину дрожь, внутри дома стоял уличный холод. — Щас включим, прогреется скоренько.

Обогреватель и впрямь быстро раскалился, и стало можно снять куртку, разуться. Когда соседка ушла, Геша забралась на дедову кровать и недолго полежала в тишине. Дед был тем особенным человеком, которого единственного можно было порадовать одним своим присутствием. Мир ощутимо пустеет без таких людей.

И, кстати, ожидаемых упреков от Лелы Семеновны в том, почему не приезжала, не было. Оказалось, дед выбирал дни, когда та отправлялась в город, очевидно, выполнял втрое больше работы во дворе, чтобы по приезде похвастаться соседке — Агнешка, мол, приезжала, помогла. В эти «приезды» Семеновна, разумеется, почти не верила, иначе бы не сказала, но и упрекать вроде было не в чем.

Вот как, значит, ты. Отказывался принимать меня, когда я предлагала, говорил, что дома бардак, что на огороде дел много, защищал от лишней работы, но перед соседями своего одиночества стеснялся. Выдумывал меня.

Гешу дед иногда называл Атаманом. Как ей всегда казалось, были в этом прозвище и твердость характера, и кураж, и самоконтроль, именно поэтому сейчас пришлось встать с продавленной кушетки, зацепить обстриженные локоны за широкие, красные на просвет уши и походить туда-сюда под разномастный скрип половиц. Атаман твердо знал, когда придет время по-девичьи раскисать, погружать себя в горе, как в ртутную ванну, вдыхать его яд, давиться. Сейчас это было совершенно не к месту.

Дедово жилье и в лучшие-то времена ничего особенного собою не представляло, а сейчас и вовсе имело вид жалкий и потрепанный, как будто, постарев, дом тяжело заболел и надежды нет, но из последних сил приходится улыбаться стираными занавесками, хотя кособоких стен и распухших от сырости рам уже не скрыть.

И все равно, было же в тебе что-то, старый ты черт! То ли эти стены — вроде дубовые — темные, гладкие, как будто масляные, как будто самой уверенной рукой положенные гуашевые мазки. То ли подслеповатые глазенки-окошки, хитро скошенные, замершие в лихом прищуре, именно что атаманские какие-то. И все устройство — сени, да квадрат «зала», да хрупкая лесенка на чердак, где хранится вроде убранный в мешки пыльная картошка — держится плотно, крепко, подбоченясь. Не склонная к романтике, Геша не могла все же не отме-

тить, каким прочным узлом связаны человек и его жилище, — пустоту дома, которого хозяин бросил навечно ни с чем не спутаешь.

Темнота разлилась с востока чернильным пятном и наполнила стремительно. Вышедшая покурить Геша с рассудительной грустью заметила, что между Грязями из детства и сегодняшними Грязями находится все меньше сходства. Даже воздух какой-то другой, обычный. Какой эгоизм, думала Геша, мне в своей теплой московской квартире жарить на модной плоской сковородке яичницу и надеяться на тихий, нетронутый, безэлектрический остров Ирий, докуда езды — шесть часов. Хотя вот дед, насколько теперь можно было судить, жил своей такой мечтой вполне успешно.

Вообще, как теперь оказалось, о деде было как-то совсем мало известно — цветистое одеяло из лоскутков и обрывочков не особо ценных и, быть может, совсем неверно интерпретированных детских воспоминаний. Дед курит папиросу. Дед умеет играть в шахматы. Дед говорит Геше «Здрасте-мордасте». Еще было как-то ясно, что дед был злой. Не любил, не понимал, не уважал людей, не было в нем этой сказочной, пряничной уютности, какая ожидается от деревенского дедушки — однажды погнал со двора натурально босую нищенку, которая не денег пришла даже просить — хлебушка. По вечерам люто, густо матерился, подливая в стопку самопальной вишневой наливочки. Животных не терпел, даже пса не держал. А больше всех презирал свою дочку, Гешину непутевую мамашу. И сама Геша, по правде сказать, тоже теплом и душевностью не болевшая, деда совсем не осуждала. Считала, они были злыми по одну сторону, а не друг против друга — и это очень сближало. А что еще нужно для крепкой дружбы?

Пока Геша была маленькой — жить с матерью не могла, та вроде как работала, но, по ясно чьим словам, все больше «широебилась». Посему дед с внучкой сидели себе мирно, по уши в Малых Грязях. И маленькому Атаману в Грязях было просто чудовищно, бесстыдно хорошо. Просыпались рано, когда за окном все еще сумеречно-синее, не просветлевшее, и открывали свое утро, как духовку с пирогом. Еще до жара обдавало запахами — сладкой колодезной сыростью, еще не нагретой, свежей жимолостью, дикой мятой, ромашкой аптечной, расцветшей расторопшей.

Споро собирались, шли, скажем, за грибами — не из праздного городского любопытства, а чтобы кормиться — вываривать, жарить с густой сметаной, мариновать с чесноком и перцем. Пересекали узкий ледяной ручей, заспанное, усеянное драгоценными росинками поле, березовую рощу, где в утреннем тумане деревца такие изящные, нервно изломанные, и где, если повезет, могли увидеть мелькнувший белым бархатом заячий хвостик, спугнуть изящную, серенькую, в черное пятно цаплю, которая, плотно подтянув голову, удобно ляжет на попутный ветер, редко взмахивая крыльями.

Одним из самых ярких Гешиных воспоминаний был тыквенный суп — местное блюдо, простое и сытное. Ели его в основном по осени, когда нарядные оранжевые мячи придавливали грядки. Следовало выбрать самую спелую тыкву, срезать с нее верхушку, выскрести семена, залить молоком, добавить чеснок и сушеные травы, а после поставить в печь. Тыква пропитается молоком, молоко смешается с тыквенным соком — и дом разбухнет изнутри от терпкого, сливочного запаха. Тыквенный суп был какой-то квинтэссенцией настоящего, неподдельного счастья, и нигде после Геше не удалось отведать чего-то хотя бы отдаленно похожего.

Геша принялась и снова самой себе подтвердила, что в доме пахнет тыквой так же ясно, как пахло ею во время сбора урожая. Чудеса!

Детство было коротким, но насыщенным спокойным медленным дыханием деревенской жизни, будто Он милостиво давал отдых перед бурной истерией

кой взрослости. Закончилось все внезапно и как-то безлико, скромно в сравнении с вечным праздником Малых Грязей. Очередная осень, как заблудившуюся перелетную какую-нибудь утку, принесла в деревню мать. Как она сама впоследствии утверждала — приехала с твердым намерением забрать наконец дочь из деревни и жить вместе в городе, «как белые люди». Однако, пораскинув мозгами, Геша довольно скоро сообразила, что вряд ли мать имела такие далеко идущие планы — скорее, просто надеялась передохнуть в Грязях, оказавшись в ситуации любовного простоя, губительного для такой романтически настроенной одинокой женщины в опасном возрасте за тридцать.

Геша запомнила, как мать стояла у калитки: запыхавшаяся, красная, вскипевшая от пешей прогулки, с потешными, круто взбитыми пуделиными кудрями — носить кудри тогда было в моде — аккуратными, ухоженными, как у всех полных женщин руками, туго запеленутая в цветастое платье. Дед полон грядку, поднял голову, увидел дочь, в момент рассвирепел:

— Наблюдавалась?

На что рассчитывала мать, когда ехала? Неясно. Ссора завязалась продолжительная, но вялая, как будто давным-давно наскучившая. Геша, по малолетству не понявшая предмета спора, как водится, играла роль зрителя Уимблдонского турнира — тупо вертела головой туда-сюда. Когда стало со всей определенностью ясно, что в Грязях ее не ждали и разбор полетов грозит затянуться, мать метнула в деда последний аргумент — ярко-оранжевую узкую дамскую сумочку. До деда сумка не долетела, упала в траве, откуда ее по-обезьяньи ловко и стремительно выудила Геша. И до сих пор она не могла избавиться от мысли, что мать, драматически развернувшись, чтобы уходить насовсем, забрала дочь с собой только довеском к дорожному аксессуару. Словно, заручившись сумочкой, Геша обрела и сама хоть какую-то ценность.

Так или иначе, стали жить в городе, наложив табу и на Грязи, и на деда. Жить, как «белые люди», означало помирать от скуки в группе продленного дня, носить, как корону, обидные прозвища одноклассников (из-за интеллектуального прозябания в деревне Геше удалось поступить в первый класс только в девять лет и «дылдой», «деревенщиной» не дразнил ее только ленивый), обедать невкусно и раз от раза, ложиться поздно, просыпаться, по старой привычке, рано и снова скучать. Потом, конечно, стало полегче — Геша вымахала под метр семьдесят с лишним, стала заниматься спортом, завоевала любовь одноклассников виртуозной игрой в волейбол, много читала, выучилась игре на гитаре, звучно, нервно пела под ее аккомпанемент. Тогда же проявилась и эта болезненная, безусловная влюбленность в немецкий. Геша до ночи засиживалась над учебниками и крепко засыпала с ними в обнимку. *Schlaf, mein liebes Mädchen*, спи, моя девочка...

Спустя время материна обида повыветрилась, стало разрешено деду звонить, по желанию — даже навещать. Лет до восемнадцати Геша каждое лето приезжала в Грязи — и деревенька встречала ее трепетно, восторженно, как никогда не разлюбившая старую хозяйку собака. Геша приезжала без звонка, легко проходила путь от станции, неся на спине полотняный рюкзачок со всякой городской снедью — дед любил вкусный чай и равнодушен был к овсяному печенью — забегала во двор, чуть скрипнув калиткой. А сразу на участке пахнет, разит даже оранжевой сладостью, рано поднимается солнце, тяжело обдает полынью, холодит ноги речная вода. Настоящее, неподдельное счастье, которое охота закатать в банки, чтобы намешивать в чай зимой, когда простудишься.

Первый раз поездку пришлось отменить из-за вступительных, на следующее лето попала в больницу с гайморитом, на третий раз одноклассники позвали

в Крым. Теперь приходилось любить деда издали, причем не столько в географическом плане, сколько во временном — любить прежнего деда, из детства, ведь время шло, Гешина жизнь раскручивала обороты, и уже невозможно было выкроить месяц, неделю на Малые Грязи, узнать, что там творится новенького. Иногда удавалось урвать десятиминутку на торопливый звонок. Все.

Через всю жизнь пронесла Геша странную смесь жалости и безразличия, которую испытывала к матери, — высокая, плотная, непрошибаемая, с кожей, любящей солнце, и глазами цвета липового чая, она просто понять не могла, как это любой встречный вышибает дух и здравый смысл из этой женщины, просто оказываясь мужчиной. Мать всю жизнь находилась в поиске властелина, короля и, когда встречала, становилась податливой и противно-мягкой, как постоявшее на солнце сливочное масло.

Когда и в ее жизни возник наконец претендент на власть, Геша никак не могла избавиться от всплывающих, как пузыри в подходящем бульоне, вопросов, самым понятным из которых был равнодушный «ну и что теперь?».

Вначале был студентиска-архитектор. Нескладный, встрепанный, со спелыми, набухшими губами и тяжелыми веками, бурлящий идеями, мыслями, бесстыдно выливающий на Гешу весь этот кипятилок. Она все больше молчала и, как оказалось впоследствии, этим бездеятельным молчанием пообещала студенту свое сердце, обе руки, длинные сильные волосы и прочее. Его логику можно было понять — невыраженный отказ суть согласие. Их отношения развивались нервным и скорым галопом, в котором Геша чувствовала себя крайне некомфортно — как будто камешек в ботинке застрял. Наконец, поняла, в чем дело, — она воспитывалась дедом в жесткой строгости, правила поведения были регламентированы и утверждены раз и навеки, а студентова любовь была, что называется, «свободной», хотя и с далеко идущими намерениями. Заскучав без запретов и нравучений, Геша порвала свободную любовь в клочья буквально за несколько недель до почти без ее ведома назначенной свадьбы.

Второй был много старше, водил автобус. Он был невозможно высокий — как только высиживал весь рабочий день за баранкой? — и чуть шутка, забавная оговорка, взрывался неутихающим, перекачивающимся гоголом, да и сам умел рассмешить так, что только за живот держись. Слыл ревнивцем, злился, когда Геша вовремя не звонила, сходил с ума, когда задерживалась, наливался кровью, когда проявляла самостоятельность в важных решениях. Из-за чего, в отличие от архитектора, расставлял везде силки-правила, через которые невозможно было прорваться, ни разу не оступившись. А там — скандал, ссора, бедствие. Зато именно с ним впервые в жизни жадная Геша поделилась детскими воспоминаниями — конечно, по крупицам. А он проявил лестное любопытство, все время расспрашивал подробности, интересовался деталями — а почему мать с дедом не общались? А когда дед оказался в Грязях? А электричество там у вас было?

Про электричество Геша не помнила совсем — вроде было, а вроде и со свечками иногда сидели. Да и про отношения матери с дедом известно было скудно, ясно только, что куда эти отношения не годились. Кажется, после смерти бабушки-жены дед воспитывал дочку один и до конца жизни не смог смириться с тем, что ответственность за ее бесконечные ошибки пришлось бы взваливать на себя. Стрекоза-мать встала поперек горла муравью-деду, глупо и бесстрашно забеременев в свои двадцать, как водится, в попытке переманить женатого. Дед, узнав о скором прибавлении, собрал нехитрые вещички и уехал в Малые Грязи, в недостроенный еще дом, оставив дочери в распоряжение квартиру и свое бесконечное презрение. Стояло лето, ночевал в шалаше на участке, а днем строил. Таким образом, дачке напророчено было стать крепостью, обителью, закупоренной от всех неурядиц, законопаченной от всего нового, заслоненного куста-

ми смородины от всего внешнего. К октябрю, когда грянули по ночам серьезные заморозки, дед с этой миссией как раз и управился.

Не разговаривали они с матерью, не виделись, зная друг друга не хотели около года или более. И, однако же, именно к нему, к деду, перевезла мать маленькую Гешу, когда стало ясно, что женатый к переманиваниям остался глух.

Кстати сказать, Гешин водитель тоже, как оказалось, не мог похвастаться чистым паспортом. И даже растил двух сыновей — Колю и Толю. Хотя, казалось бы, — ревность, вечные сцены. Узнав о положении дел, Геша пообещала ему, что это никак не повлияет на их романчик и что невозможность его развития ее целиком устраивает, но эти Коля и Толя, погодки, смешливые белобровые двоичники, никак не шли из головы. За несколько недель до дедовой смерти она совсем перестала отвечать на мelenько позвякивающий мобильный. От общих знакомых знала, что разрыв водитель переживает трудно, пьет, залез в долги. Сама оплакивала распавшийся роман, не ведая, сколько слез еще прольет над его последствиями. Жалела своего водителя всей душой. Скучала. Но от Коли и Толи никуда не деться, объясняла она себе со всей честностью.

Но еще была причина, почестнее — он все-таки был так высок, так умильно страстен, так играл на гитаре с Гешей дуэтом, что еще чуть-чуть и появилась бы опасность пропасть без памяти. А сдаваться в своей борьбе с материнской кошачьей влюбчивостью Геша не собиралась.

И именно матери, кстати, хватило наглости обвинить ее в том, что она слишком много обещает и слишком мало сдерживает из обещанного:

— Сказанное слово надо держать, Глашенька! — заводила она пластинку. — Если уж решила что-то — будь любезна поступай в соответствии... и бу-бу-бу, бу-бу-бу.

Гешу раздражали скука и злость.

Теперь, к слову будет сказать, мать ее не особенно раздражала по причине того, что вот уже три года как перебралась в Германию, на ПМЖ, как говорят. ПМЖ имело место быть в лице Подлого Маминоного Женишка, который пропадал целыми днями на работе, ухитрялся изменять по какой-то наипошлейшей схеме — с секретаршей, что ли? — и презирал Россию как явление, называя «никчемнейшим из государств». Но мать, судя по кратким телефонным разговорам, была вне себя и вне рассудка от счастья, гладила Женишку немецкие рубахи и безуданно готовила курицу в томатном соусе, выдавая ее почему-то за чахохбили — единственное блюдо нерусской кухни, которое знала. Раз в два месяца Геша позванивала по международному номеру и, систематически хмыкая, выслушивала восторги.

Перед отъездом в Грязи пришлось совершить внеурочный звонок. На смерть деда мать отреагировала, как и предполагалось, без лишней суеты, сухо, сдержанно.

— Понятно, — как стеклянную бусину изо рта уронила. Помолчала и добавила капризным, сытым голосом: — Разберись там сама, дочка. Не срываться же мне с места?

Геша вспомнила письма, которые дед иногда присылал ей. Во многих из них он называл мать «конченной шалашовкой», а в некоторых «никчемной эгоисткой».

— Нет, срываться с места не дело, мама, — ответила Геша.

\* \* \*

Невропатолог городской поликлиники Шилина называла напасть сонным параличом и повода для паники в ней не видела. Попробовала бы сама по три

раза в месяц недопросыпаться. Именно с таким постоянством Геша могла ощутить себя ночью не во сне, но и не очнувшейся, обездвиженной, беззащитной, с разлитым по телу ужасом высочайшей пробы. Сверху навалилось что-то тяжелое, влажное, душное, дует в самые легкие, не дает вздохнуть, а в комнате, около окна, чуть прозрачный на просвет — стоит человек. Стоит и тяжело, долго смотрит, пока наконец не сделает шаг к Геше, и уж тогда ужас становится физическим, впивается под бок — и получается проснуться. Неудивительно, что вошло в привычку засиживаться над переводами за полночь, пить такие таблетки, от которых голова — не твоя и спишь ночь беспробудно, на боку да так, что под утро вся кровь, по ощущениям, густеет, и сложно пробудиться, и кружится голова.

В Малые Грязи ночной человек с Гешей не поехал, однако Шилинский паралич все же дал о себе знать. Уже утром Геша вспомнила, что среди ночи очнулась в состоянии не совсем для себя обычном, но почти знакомом — встала, как сомнамбула и немного походила по комнате, щедро облитая то ли лунным, то ли фонарным светом из узкого окошка. В мозгу, разорванном сном и не сном, настойчиво крутилось имя, почему-то женское, которое нужно было вспомнить во что бы то ни стало:

— Аня, Света, Лиза, — бормотала Геша, уставившись в стену стеклянными глазами. А потом неожиданно вспомнила. Степан! Степан — вот как звали дедушку. Потом легла, успокоенная, и тотчас заснула.

Утром поехали в райцентр, где с трудом отыскали ветхую и грязную больницу под гордым первым номером, заполнили желто-пыльные бумажки, утрясли все вопросы. Потом даже договорились об отпевании в небольшой часовне — помогла телефонная договоренность с главврачом и рассованная по всем подвернувшимся карманам щедрая благодарность. Вечером все втроем — Геша, Лела и урна с пеплом оказались в слишком теплом Лелином доме, где на скорую руку были сымпровизированы поминки. Позвали бы еще соседей, но знакомые были в городе, а незнакомых звать не хотелось, да и притаились в такую стужу все по своим избушкам, пряником не выманишь, не то что чужими и скучными поминками, даром что пол-литра хорошего коньяка прикупили в ларьке рядом с больницей. Очумевшие от тяжелого, промелькнувшего, как на перемотке, дня, уселись теперь за стол, заварили чаю, повели беседу на самых тихих, почтительно-скорбных тонах.

— Получается, буду теперь с ноября по март одна куковать, — грустно заметила Лела, выставляя на стол нехитрые закуски — кабачковую икру в угловатой «розетке», тощие, маслянистые рижские шпроты, пористые ломти серого хлеба, влажную колбасу в белых прожилках, нарядно блестящие соленые помидоры. Геша зажмурилась, пытаясь представить себе космическую пустоту, царящую в заметенных, едва мерцающих одиноким фонарем Грязях, из которых исчез теперь последний Лелин друг — некого позвать на чай с сухой мятой, некому сбавить пропадающую картошку, не с кем перекинуться в домино. Вдруг подумалось, что Лела и сама, должно быть, недолго протянет.

Старуха была сделана крепко, на совесть, и не ее скульптора вина, что со временем покрылось его творение мелкими трещинками — просто обветшало, устарело наружное покрытие, сморщилась кожа. Зато внутри она оставалась мраморной твердости, все-таки в ее очень русскую кровь была крепко вбита татарская, причем по женской линии, что испокон веков выявляло в людях стойкость перед обстоятельствами. Это именно старая бабка Агиля, совсем уже слепая, сжираемая болезнью, впервые дотронувшись до сопящей, теплой ото сна внучки, велела назвать ту Лелой, «ночью», в попытке отпугнуть, наверное, свою приближающуюся ночь — вечную.



Она как будто всегда была одинаково благородно старой, с самого первого Гешиного воспоминания, а тут очевидно стало, что сдала. Лела-ночь еще уменьшилась в росте, ссохлась, пообтерлась, веки обмякли, тонкий рот закрывался неплотно, дрожал. Накрывала Лела медленно, путанно, поставила в центр стола будильник, а потом смотрела на него, не мигая, забыв, зачем он ей тут понадобился. Геша здоровая, молодая, обнимая ладонями кружку с горячим чаем, щедро сдобренным коньяком, смотрела внимательно, а потом спросила:

— Лела, а где все ваши? Ну, родственники... вроде дочка у вас была?

Лела откашлялась, подбоченилась и повела свой рассказ путаным, перемешанным вздохами, щелчками артритных пальцев путем. История была скучная, на века постарее старухи Лелы, но Геша слушала внимательно, так как с первых слов уже уловила что-то знакомое, неуловимое, глубоко впитавшееся. Запах тыквы.

— С Матвеем Петровичем (упокой Господи его душу) мы расписались поздно, я уже записной старой девой слыла. Я-то сирота, теткой воспитывалась, которая переживала страшно мое... это самое... безбрачие, вот и нашла женишка. Почтения к мужу я не испытывала, честно скажу. Даром, что третий десяток разменяла, а все для меня в этих отношениях было непонятно, всего стеснялась. Подумывали даже разбежаться, как вдруг — на тебе! — беременность. Докторша местная (мы тогда здесь уже жили, дом этот еще Матвея Петровича дядьке принадлежал, после войны его сюда распределили, как туберкулезника) кудахтала надо мной, как та квочка, — ах, старородящая, ах, плохие анализы. А я твердо решила — анализы, не анализы, а я этого ребеночка выношу. Дорешалась — на пятом месяце уже в той больнице лежала, куда мы с тобой сегодня ездили, в родильном отделении на сохранении. Ноги отекали, как у слона, еле ходила, страшная была, вся в пятнах, нос — и тот поплыл, десны кровоточили, страх Господень, короче! Пока рожала — двадцать часов! — два раза с этим миром прощалась, думала — все. А потом мне ее на грудь положили, Светку-то. А она вся лиловая, как инопланетянка, визжит, заходится, икает. И такая маленькая, такая дохленькая — о-о-о-й. Я ее держу, а у меня слезы из глаз текут. Два дня подряд плакала, с перерывами, как говорится, на сон. Да и потом — стоит только посмотреть, какие у нас маленькие ножки, какие маленькие ручки — сама захожусь, как новорожденная. Матвей Петрович с ума от нас, ревущих, сходил, не знал, что делать. Но помогал, ничего, хоть и работал много. А потом вдруг, на третий месяц, р-раз — то ли удар сердечный, то ли еще что, не помню за давностью — скончался. Остались мы со Светкой вдвоем — а я работала тогда сторожихой при складе, в райцентре тут был, пшено хранили. Работа посменная, платят крохи, все «подкожные» на похороны спустила, не поняла еще, что нищая, родственники далеко, в Чистополе, дом содержать надо, у Светочки — то бронхит, то краснуха. Короче, начала меня моя сменщица подбивать на ужасное дело — у нее пара одна знакомая, приличные люди, богатые, но, как бывает, бездетные. Ну, и намекали, что взяли бы младенчика за большие деньги. А мы ведь почти с голоду умирали — я на неделю покупала себе одну морковку, одну луковичку, да крупу, благо, молоко не пропадало, даже докторша удивлялась. Так вот, Агнешка, я с тех пор больше всего жалею, знаешь о чем? Что сторожихе этой, Аринкой звали, сразу в лицо не плюнула, а взяла ночь на раздумье. Пришла домой, тут со Светланкой бабка Лида сидела, соседка, померла уже давно, взяла дочку на руки, а она такая капризная была, все время ныла, вертелась. Я ее на руках держу и думаю, что ж ты, несмышлениш, крутисься? Может, тебе у богатых лучше будет? Я тебя так люблю, сердечко мое, что на все, мол, готова, лишь бы тебе полегче. А она знай, ревет, не понимает, что я решаю. Короче, так и не продала дочку, не сумела.

Как только полегче с деньгами стало (в Татарстане родственница богатая померла, хоть и нашему забору двоюродная плетень, а, поди же, на меня переписи-

сала), я уж ей все на блюдечке с каемочкой стала приносить, любую звездочку с неба доставала. Знала же, что не помнит того времени, а все равно хотела, знаешь, чтобы такого у нее в жизни не повторилось. Разбаловала, что ли? Такая стала колочая, и так к ней не подойди, и не возрази, и наперекор не сделай. Потом выросла она, в девятнадцать уже замуж выскочила, в Калуге живет, внуков не народила, говорит, нет в ней материнского инстинкта. Я сначала радовалась — пускай живет в свое удовольствие, потом еще захочется малыша, но вот уже к сорока ей, развелась, конечно, давно — а все не захотелось. Хотя, по правде-то сказать, я не очень и в курсе, может, родила все-таки от кого? Я к ней на порог не допущена, четырнадцать лет уже как. Изволила, видите ли, в ее личную жизнь нос совать, в гости напрашиваться, муж, оказывается, от моих визитов сбежал. Ну а я не на том положении, как говорится, чтобы спорить. Одинокая она больно, я ей как-то в запале крикнула, что, мол, всему старалась научить — и по библии, там, и наукам, только вот любить других людей, тепло к ним относиться не научишь никак. Стыжусь теперь своей грубости, хоть и правду сказала.

Я тут приноровилась иногда в райцентр ездить, на почту и ее номер набирать, слушать, чтобы ответила — значит, жива-здорова. А я что? Я уж как-нибудь, доживу... Ты чего это, Агнешка?

Геша положила голову на руки и вверила себя в волю коньяка, усталости, обиды, вины. Она выла, как раненая, вцепившись руками в волосы, сжавшись в напряженный ком. Лела суетилась вокруг, огорошенная, приговаривая какие-то традиционные беспомощные глупости, пытаясь погладить плечо или затылок.

— Да как вы не понимаете, Лела Семеновна-а? — плаксиво, по-бабьи растягивая последнюю «а», вопрошала сорвавшаяся со скользкого края прямо в темную пропасть Атаманка. — Да Светка ваша — стрекоза, гадина! А я ведь, как она, всю жизнь поступала, даже хуже! Да как я могу по-другому сейчас чувствовать, когда столько времени потратила впустую? Занималась своей жизнью, своей жизнью, каково? Как будто там было чем заниматься! Вместо того чтобы звонить, навещать, помогать с огородом. Господи, да ведь в город могла его перевезти, давно уже не завишу от маминого мнения, а веду себя, как нашалившая девчонка — все боюсь лишний раз выступить, на скандал нарваться. А он тут жил один, прекрасно представляю, с какими трудностями! Да он в городе бы, может, еще лет десять протянул.

Он же меня любил, Лела, дорогая, он меня любил больше жизни, он ради меня, может, погибал в этом захолустье. Он без меня жизни не представлял. Знаете, какие он письма писал? Я вам найду, привезу эти письма — все называл Атаманочкой, спрашивал, как я живу, не помочь ли чем. Он мне помочь, понимаете? А я сама, как та стрекоза — лето пропела и деда своего пропела, дедушку-у-у....

Лела смотрела на нее, как в первый раз видела. Потом прокашлялась раз, другой. Села на краешек стула и принялась жевать губы. Геша, увидев, что ее единственный зритель не впечатлен мощностью чувств, развелась пуще прежнего.

— Вот что я тебе скажу, Агнешка, — начала вдруг Лела глухо, таким тоном, от которого Геша в миг заткнулась и принялась слушать, тихонько всхлипывая. — Ты брось эти переживания мне, слышишь? Не стоит того. Ну, умер и умер, ему это только лучше, и так подзадержался, а ведь старше меня на семь лет. Я тебе так скажу — ты свой долг ему отдай, похороны устрой чин по чину и езжай спокойненько домой, так оно правильно будет.

— Да вы что, Ле-Лела Семеновна? — захлебнулась Геша. — Да я единственного человека потеряла, кто меня в этой жизни любил! Своими руками, считай, загубила! Что значит — езжай спокойненько?

— Ох, дети, дети, куда же вас дети? — Лела тяжело втянула в себя воздух, шлепнула ладонями по коленям. — Ох, молодежь! Всегда у вас все на любви завязано. А вы с ней справитесь, с этой любовью? Вот у меня была любовь, к Све-

точке. Это такая сила, которую в узде не удержишь, только разрушает. Так зачем вы все на нее рветесь напоротьясь?

Геша, сосредоточенная в своем горе, начала раздражаться на захмелевшую старуху. Та — пронизательности не занимать — быстро продолжила:

— Вот ты говоришь, любил он тебя, мучаешься, реवेशь. А по мне — может, это, конечно, не старухино дело, но я так, по-соседски — никого он не любил. Ни-ко-го. Бросил дочь на произвол судьбы — раз. Я твою мамку помню, хорошая была девочка, разве что чесалось в одном месте. Но они все в том возрасте легкомысленные. А как она к нему тянулась, как его вернуться упрашивала, когда он в Грязи переехал! Да если б моя Светка меня хоть пальцем поманила — я бы примчалась поездом! А этот только хмыкнуть был горазд да обматерить. Ну, подумаешь, залетела девка от любимого — это разве повод проклинать? Он ведь по инстанциям ездил — не лень было! — узнавал, как от дочери официально отказаться, по всем бумажкам. Ну, чего ты притихла, не говорил твой дед такого?

— Что там у них с матерью было, мне дела нет, она та еще штучка, уж поверьте, — спесиво буркнула Геша. — Он меня воспитывал с малолетства и ни разу не пожаловался!

— Конечно, воспитывал! — мелко раскашлялась смехом Лела и тут же закашлялась, спрятала глаза, пальцем выписывая на столешнице невидимые круги, словно застеснялась. — Мне бы такую прибавку к пенсии — я б тигренка африканского воспитала. Я ему говорила: «Степан, да разве можно за внучку, за родную кровь денег брать?» А он знаешь чего отвечал? «Она мою кровь с болотной водой смешала, пускай платит теперь, я в бесплатные няньки не нанимался». А она, мамка-то твоя, еще каждый месяц кульки со снедью привозила — у порога ставила — и назад, в Москву. Он ей в дом заходить не разрешал — стоял на крыльце и крыл на чем свет стоит матами, как очередью пулеметной. И какая она шаловщина, дура-баба, и что мать, бабу-то твою, угробила своими закидонами. Небось, и сам порой спохватывался, когда брал лишку — да ведь слово не воробей, мамка твоя все на ус мотала, уезжала красная, зареванная, не думаю я, что даже когда-нибудь потом простила, так ведь?

А потом, когда у нее простой на работе случился и она три месяца его «жалованье» не привозила — он тебя решил в детдом отдать. Опять по кабинетам пошел, но, слава Господу, не успел довести дело, там как-то хитро нужно было — при живой-то матери...

— Замолчите, Лела! — не то вскрикнула, не то всхлипнула наконец Геша. Поднялась со стула, рукой задела чашку, вскинулась — все как полагается. Только внутри ничего вдруг не всколыхнулось и что дальше сказать, какими словами оскорбиться, чтобы правдоподобнее, пока не придумала и потому стояла молча. Ну, подумаешь, получила подтверждение того, что и так всем было известно, и только она одна отрицала по вредности. Да, побольнее, чем думала, получилось, но ничего, переживет потихонечку. Странно, урна тускло блестит на полке, а отголоски давно замолкших бесед все еще держат свою силу, бьют наотмашь. Ну, так уж этот мир устроен, что такие невыносимые странности допускаются и вполне сходят ему с рук.

— Так я, значит — кровь пополам с гнилой водой, так он думал? В этом оправдание всей его строгости, нелюдимости, которая меня, честно говоря, всегда пугала, хоть я тоже к людям не очень-то тянусь? В этом мой грех? — Тихо и очень медленно, чеканя каждое слово, уточнила Геша.

— Ты горячку особенно не пори, Агнешка, — тяжело, медленно заканчивалось откровение. Лела щадилась ее, смотрела с беспокойством. — Люди, они разные бывают, двух похожих не найти, и не всегда, ой не всегда им другого чело- века простить легко, даже если он не виноват, в целом-то. Понимаю, ты сейчас

обиду затаила, но, может, он тоже ее не очень-то заслуживает, слышь? Может, просто любить не умел, как моя Светка?

— Я только понять не могу, раз он так меня ненавидел, то чего ж терпел, когда я к нему приезжала уже взрослая, все школьные каникулы тут гостила? Он же мне письма писал...

Геша говорила все спокойнее, только потрясла кулаком, как будто зажав в нем эти самые письма, последний свой аргумент. Хотя, если подумать, что особенного-то в них было, в этих письмах? Так, стариковское бурчание на весь свет, перетирание маминых костей, а под конец — пара дежурных вопросов.

— Спустя время привык к тебе, это ясно. А может, испугался в старости один остаться? На меня посмотрел? Не знаю, милая, врать не буду. Рассказала все, что известно было, а дальше — сама суди. Ну, поешь шпрот-то хоть, чего сидишь. Губы толще, брюхо тоньше...

Геша кивнула куда-то в пустоту, села к столу, держа руку на животе, глядя перед собой, думая.

Вышла из дома Семеновны, сильно захмелевшая, уставшая, как вагоны разгружала, сонная, с покорной урной под мышкой. Встала сразу за калиткой, воткнула в свежий снег свою ношу, нетвердой рукой зажгла непокорную, виляющую сигарету, жадно вдохнула сладкий с мороза дым. Тусклый фонарь раскачивало сильным ветром, и оттого в глазах рябило.

Прощаясь, Лела положила Геше на плечо сухую ручонку-веточку и, сверля глазами, вновь просила:

— Ты, небось, обижена, Агнешка, я тебя очень понимаю. Но, пока ты здесь, выполни последний свой долг — устрой похороны, как полагается, на родной ему земле, а потом уж езжай домой с Богом, не мучайся. Обещаешь?

Слова, вылетающие из клетушек, как пресловутые воробьи, даже если сказанные просто за распитием горячего коньячного чая, стоят дорого. Особенную ценность приобретают они, когда переворачивают твою жизнь с ног на голову и немного тряснут, пока из карманов не посыплется мелочь.

И просто баловства ради, просто чтобы не думал никто, что обида, пусть и давняя, сойдет ему с рук, Геша, возможно, впервые в жизни заставила сказать себя просто и без обиняков:

— Обещаю.

И добавив зачем-то по-немецки *ich schwöre*, поняла, что не дающийся перевод, плотно засевший в голове, неожиданно тронулся и лениво пополз, как тонкий весенний лед по Неве.

Внезапно почуяв чужое присутствие, Геша резко повернула голову и увидела за самым фонарем, за покачивающейся блямбой желтого света на снегу чуть прозрачный, нечеткий силуэт. Ночной человек. Подкрался-таки.

Геша смотрела на него нагло, в упор. Ни разу еще не являлся он ей в абсолютном бодрствовании, осмелел, что ли? Или имеет особенную цель?

Геша смотрела и чувствовала, что и он смотрел, изучал, ждал. Можно описать в деталях убийцу, преследующего тебя в ночном кошмаре? Если можно, то Геша сказала бы, что у незнакомца фигура плотная, высокий рост, а ноги и руки будто чуть длиннее, чем того требует физиология, спина сгорблена, как у чело-века, порядком пожившего, сдавшегося земному притяжению. Знакомая такая фигура, вполне родная.

И, задним часом удивляясь своей непривычной смелости, Геша вдруг поняла, что само то, как приняла она сегодняшние откровения, и, главное, на что они ее сподвигли, и призвало сюда, в реальность, привычный кошмар. Нужно же было ему прийти попрощаться.

Теперь оставалось вернуться домой и, набрав номер, отменить одно назначенное дело. Врачиха сердиться не станет, сама отговаривала ее на пару с невропатологом Шилиной. В конце концов, решение бывает просто вылетевшим словом, которое — какое облегчение! — иногда предоставляется возможность запереть обратно в клетку.

А потом все, Карит, она сама станет взрослой, и новый поток понесет ее безвольное тело и очистит, наконец, плотно приставшие Малые Грязи, оставит их, столько лет тянувших назад, в далеком прошлом. Забавно было осознать, что вся их история была как прийти в нежеланные гости, а потом обнаружить, что и тебя там не ждали, а позвали из вежливости.

Вот как оказалось просто и пусто.

— Вот и чудненько, вот и проваливай — размазанно, пьяно крикнула в пустоту заметенной деревенской улицы Геша. — Перевод закончу и, наконец, на море улечу, мне сейчас полезно...

Утром Лела Семеновна вышла из дома пораньше — вчерашняя снежная ночь намела необходимость почистить тропку перед избой. В обычные дни Лела не торопилась покидать жарко натопленную комнату, залезать в твердые ворсистые валенки, накидывать промерзший в снях, пахнущий прошлогодней картошкой ватник, но расчистка снега сулила хоть какое-никакое развлечение, валюту крайне ходовую в вымирающей деревне.

Наперевес с лопатой пройдено было уже полпути, когда глухим хлопком двери, нервным звяканьем ключей, снежным скрипом объявилась Геша, полностью собранная, в вязаной лыжной шапочке, с жалким полотняным рюкзачком за плечами. Лела снова подивилась, до чего неуклюжая девка — руки-ноги длинные, уши торчат, щеки красные. Даром что ростом вышла.

— Ты куда, Агнешка, в магазин, что ли, собралась? — в душу закралось нехоршее подозрение.

— Никак нет, Лела Семеновна, вот, уезжаю. Домой пора!

Лела помолчала, пожевала губы, будто в раздумье, что бы такого крепкого на это сказать. Геша, не теряя времени, уже миновала ее калитку.

— А похороны, Геша! Как с похоронами-то? — крикнула наконец Лела беглянке в спину. Геша остановилась, повернула голову, подумала несколько секунд, насмешливо покусывая губы, будто передразнивая, потом с сожалением огляделась вокруг, ища подсказки у молчащих, покосившихся, так раздувшихся изнутри от пыли, что, казалось, вот-вот лопнут, домов, и сказала легко, даже весело:

— Ты держись, Семеновна! Вернись летом — ремонт у тебя затеем. А похороны, какие похороны, Господь с тобой? Земля промерзла, сейчас уже не хоронят.

И, махнув рукой, зашагала по дороге просто и пружинно — уверенно. Рюкзачок радостно, нетерпеливо подпрыгивал на худой спине.

Утро вечера мудренее — и будущее было для Геши теперь чисто вымытым стеклышком. Ребенка — будущего маленького Колю или Толю, а может, Свету или даже Лелу-ночь — она сохранит, он ее одинокой душе подарен весьма кстати. Потому что на кого нам, если не на собственных детей, переложить свои ошибки, когда устанут плечи, да так их там и оставить?

Малые Грязи запорошило снегом, занесло сухой землей, смыло летним дождем.

Константин Ваншенкин  
**В мое время**

Мне думается, что у нас и у Соединенных Штатов есть немало общего — в национальном характере, в территориальной протяженности, в исторических подробностях и пр. И там, и здесь существовало рабство. Я еще до войны, мальчишкой, однажды подумал: как же так? В России было множество по-настоящему блестящих, замечательных, гениальных людей, и почти все они одновременно владели крепостными душами. А в Америке, на Юге, — жестокий рабовладельческий строй, плантации, надсмотрщики, работорговля. И у них, и у нас была гражданская война. Прогрессивный Север в США не сразу, но все же победил южан и отменил рабство. А у нас, фигурально выражаясь, победил Юг и учредил, утвердил рабство. Может быть, кому-то слышать об этом неприятно, но ведь правда.

\* \* \*

У нас существовало страшное обвинение: измена Родине. А Андрей Битов недавно сказал в интервью: «Родина нам изменяла всю жизнь». Обидно? Но ведь правда.

\* \* \*

Население нашей страны резко разделено — на богатых и бедных. Власть на стороне богатых, потому что она сама богатая.

\* \* \*

«Бедные в России стали за последние годы намного беднее» («Российская газета»). Богатые — богаче. Это статистика.

\* \* \*

У нас нет уверенности в завтрашнем дне, о чем без конца повторял министр финансов Кудрин, и что вредно для здоровья.

\* \* \*

Любая власть не может в принципе ничего дать — только отнять. Если что-то дано — смотри, где отнято.

\* \* \*

Молодые в ту пору «шестидесятники» (В. Аксенов и др.) любили такие сокращения: «Твард», «Солж». Даже Твардовский, отчасти их пародируя, не раз

**Об авторе** | Константин Яковлевич Ваншенкин (род в 1925 г.) — поэт, прозаик, мемуарист, постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация в нашем журнале — «Из лирики» («Знамя», 2011, № 12). Начало заметок «В мое время» см.: «Знамя», 1999, № 3; 2000, № 5; 2002, № 8; 2009, № 9.

именует в записных книжках своего заместителя А.Г. Дементьева — Дементом.

\* \* \*

Вообще А.Т. был одним из самых умных людей своего времени — и просто в житейском плане тоже. Солженицын был хитрее — эдакой зэковской хитростью, которой очень гордился. Ал. Тр. ведь, без преувеличения, вытащил его, а тот, уже впоследствии, когда Твардовского не стало, демонстрировал эту свою хитрость: «...ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчетов, ходов была скрыта от него и проступала неожиданно». Но Твардовскому раскусить эти его «ходы и замыслы» большого труда не стоило. Он понял А.С. и еще за три года до своей смерти писал: «Для него мы, т.е. “НМ” и я, — одно из звеньев враждебной ему системы, которое ему удалось прорвать и которому он не чувствует себя сколько-нибудь обязанным». Сколь точно!

\* \* \*

Часто почти необъяснимо бьются самолеты, вертолеты. Вырабатывается ресурс, не обновляется парк. Устаевают военные корабли, ракеты, оборудование предприятий. В какой-то момент выяснилось, что обветшала государственно-партийная система, что она ни на чем уже не держится и готова рухнуть. И рухнула, морально и физически устарев.

\* \* \*

«В конце рабочего дня люди хуже устают» (из разговоров в больнице).

\* \* \*

Схема смеха.

\* \* \*

Уникальный голос «безголосого» Бернеса, сразу различаемый, узнаваемый, запоминаемый навсегда.

\* \* \*

Ив Монтан был моложе Марка Бернеса ровно на десять лет. Их профессиональные контуры жизни вполне совпадали: каждый был популярнейшим киноактером и замечательным исполнителем песен с эстрады, которые часто бывали написаны специально для них.

\* \* \*

Злодействующие лица (в театральной программке).

\* \* \*

Церковные иерархи крестятся и осеняют крестом с некоторой долей условности, даже небрежности в движениях. Здесь велика привычка выработанной годами индивидуальности. Так же отдают честь (приветствуют) большие военачальники — каждый в своем стиле. И те, и другие заставили прихожан или подчиненных смириться с их вольностями, ибо заслужили это другим — положением, именем.

\* \* \*

Слушать легче, чем читать. Именно этим объясняется сверхуспех недавней эстрадной поэзии и теперешней песенной «попсы», названной Ростроповичем

«помойным корытом». К тому же в песне тоже невозможно вернуться к началу, к повторному восприятию, и тем самым проверить себя. Кстати, этому издавна служит только припев.

\* \* \*

«Вкралась ошибка». Или опечатка. До чего ловко они прокрадываются!

\* \* \*

### ЗАГАДКА

Самое любимое слово  
Раневской и Смелякова.

\* \* \*

Многие замечательные песни состоят из стихов и мелодии, по отдельности как бы не представляющих какой-либо ценности, но вместе создающих впечатление шедевра.

\* \* \*

Эту ошибку при якобы цитировании с удивительным упорством повторяют многие. Вот и Андрей Хржановский в своих живых воспоминаниях вдруг приводит булгаковскую осетрину — ту самую, что «не первой свежести». А ведь у Булгакова-то: «Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик». Совсем другое дело.

\* \* \*

Черчилль о Ленине: «Его рождение и смерть были одинаковым несчастьем для его народа».

\* \* \*

«Сталин не оглядывался назад, но и не смотрел далеко вперед. Он стал во главе новой власти, которая зародилась в то время, — власти нового класса, политической бюрократии и бюрократизма, и сделался ее вождем и организатором. Он не проповедовал, он принимал решения» (Милован Джилас).

\* \* \*

«Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось» (про Остапа Бендера, взявшегося поработать художником).

\* \* \*

Когда умер В.С. Черномырдин и на ТВ концентрированно появилась масса кадров о нем, я вдруг понял, кого же он мне решительно напоминает. Да это же абсолютный Жванецкий! Я бы еще уточнил: «Жванецкий для народа!» Ведь все эти «в греческом зале, в греческом зале», «но у нас было» и прочее — совершенно его репертуар. Так и вижу В.Ч., читающим «с листа» в зале Чайковского свои «МО».

Думаю, что эта параллель — комплимент для обоих.

\* \* \*

Ю. Лужков навязывал Москве свой отсутствующий вкус.

\* \* \*

Газманова и Резника с базара понесли.



\* \* \*

«Детство» Л. Толстого и «Детство Никиты» А. Толстого. А ведь не путаются.

\* \* \*

У государства есть две основные статьи дохода: нестабильная и стабильная. Первая — убаюкивающе-высокие цены на нефть, и вторая — отнимание денег у бедной части населения путем поднятия цен и налогов — на все.

\* \* \*

Есть полезные у нас  
Ископаемые.  
Этим и живём, подчас  
Успокаиваемые.

\* \* \*

Внук, лишь изредка звонящий деду, подсознательно подготавливает себя к мысли, что эта его обязанность, возможно, довольно скоро и естественно отпадет.

\* \* \*

Спортивный комментатор заканчивает репортажи словами: «До будущих побед, друзья!» Что сие значит? Чьих побед и над кем? «Шинника» над ЦСКА? Или Португалии над Россией? А почему вообще не приходит в голову руководителям каналов приглашать профессиональных режиссеров и редакторов, которые проводили бы регулярные мастер-классы для комментаторов, чувствующих себя корифеями без всяких на то оснований. Как высшая похвала спортсмену у многих звучит слово «грамотно». «Сыграл грамотно!» — говорят они о Зидане. Пора бы уже, наконец, заняться их грамотностью. А все эти «умничка», «наградка», «молодчинка», «полторашка» (дистанция 1500 м, тараканье слово), или «закончу мысль» (а не фразу) — все это просто пошлость, а не принятый жаргон.

\* \* \*

Билл Клинтон — «Моя жизнь», почти 1000 страниц, написана от руки. (Автор боялся утечки из компьютера.)

\* \* \*

Жизнь — это наше основное занятие. Предпочтение. Наше высшее предназначение. Наша память о тех, кого уже нет, и тем самым — их воскрешение. Профессия. Самое личное и самое общее.

\* \* \*

«Революция всегда будет с му́кою и будет надеяться только на “завтра”. И всякое “завтра” ее обманет и перейдет в “послезавтра”. В революции нет радости. И не будет» (Василий Розанов, «Опавшие листья»).

\* \* \*

«Публика хочет еще, а всё!» (Пав. Вл. Массальский). Это один из законов искусства. И вообще жизни.

\* \* \*

Странно после восьмидесяти пяти лет осознавать, что средняя продолжительность жизни у мужчин в нашей стране — менее шестидесяти. Но в моей юности она была еще значительно ниже — я имею в виду войну.

\* \* \*

Когда мы с Инной поженились, то жили в бараке. Туда же привезли из род-дома нашу дочку. Жили скудно, но до конца не осознавали этого, ибо перед тем было еще хуже.

\* \* \*

Война еще и потому казалась столь долгой, что она действительно была длинней жизни многих из нас.

\* \* \*

Знаменитая гандбольная команда называется «Чеховские медведи». Все давно привыкли, и мало кого удивляет это, прямо скажем, несколько нелепое наименование.

\* \* \*

Внучка Катя, желая приободрить меня, сказала:

— Толстой в твоём возрасте еще пахал...

Я (смеясь):

— Нет, он уже умер.

Галя (дочь, назидательно):

— А дедушка и сейчас еще пашет...

\* \* \*

«Кажется, я неплохой голкипер», — В.В. Сирин (Набоков). Он же: «В Кембридже я писал русские стихи и играл в футбол».

\* \* \*

— Что он принес в подарок?

— Букет цветов.

— Лучше бы принес корзину фруктов.

— Потребительскую корзину?

\* \* \*

Песенка двоечника: «Я спешу, извините меня».

\* \* \*

«Право же, дурная поэзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как всякая бесхозяйственность» (О. Мандельштам, «Письма о русской поэзии»). Но какой государственный подход!

\* \* \*

Когда в печати появился заинтересовавший многих детективный роман некоего Б. Акунина, а потом выяснилось, что под этим псевдонимом скрывается известный японист Георгий Шалвович Чхартишвили, я тут же невольно вспомнил стихи Мандельштама:

Татары, узбеки и ненцы  
И весь украинский народ,

И даже приволжские немцы  
К себе переводчиков ждут.  
И, может быть, в эту минуту  
Меня на турецкий язык  
Японец какой переводит  
И прямо мне в душу проник.

Согласитесь, весьма к месту.

\* \* \*

Всем известно, что когда корабль Гагарина уже пошел со старта, космонавт сквозь рев и свист воскликнул:

— Поехали!

А, между прочим, это словечко заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза М.Л. Галлая. Его пригласил С.П. Королев в Байконур в качестве инструктора-пилотажника по космическим полетам при первой группе космонавтов. Это слово Марк всегда произносил при начале разбега в своих бесчисленных испытаниях, и ребята его знали. Юра выкрикнул «Поехали!» подсознательно, на вершине эмоций.

\* \* \*

Пожалуй, тверже всего нам запоминается то, с чем мы совершенно не согласны. Вот у Л.Н. Толстого: «Нельзя соединять два искусства — поэзию, музыку. Я на слова, когда поют, никогда не обращаю внимания» (4 мая 1908).

\* \* \*

Ожидание обещанной радости — самое тягостное занятие.

\* \* \*

Во всем мире время, когда молодой человек должен уходить в армию, безжалостно совпадает с периодом первой серьезной любви.

\* \* \*

В. Аксенов сказал про А.С., что не знает другого случая, чтобы кто-нибудь с такой помпой переезжал с дачи на дачу.

\* \* \*

Существуют различные эмоциональные оценки происходящего с человеком: удовольствие, наслаждение, счастье. Большинство применяет их неточно, как попало.

\* \* \*

Ликующее, звенящее ощущение собственного здоровья можно вполне оценить, только уже имея противоположный опыт.

\* \* \*

Мне доводилось говорить, что я в своей жизни нигде никогда не служил (кроме четырех лет армии, куда был призван из десятого класса).

Недавно наткнулся на просьбу флигель-адъютанта А.К. Толстого об отставке. Он так обращается в письме к Александру II: «Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей природе... Я надеялся победить мою природу художни-

ка, но опыт доказал мне, что я боролся с ней напрасно. Служба и искусство несовместимы. 1861».

Император его просьбу удовлетворил.

\* \* \*

А вот как воспринимал подобную проблему Казимир Малевич: «Наступило адское время службы, а я не понимал, как дикая птица не понимает, зачем ее держат в клетке».

\* \* \*

«Женой и другом Сергея Михалкова на протяжении 53 лет была детская писательница, поэтесса и переводчица Наталья Кончаловская, дочь художника Петра Кончаловского и внука живописца Василия Сурикова. На момент свадьбы Кончаловская была старше Михалкова на 10 лет» («Неизвестный Михалков», «Российская газета»). А в дальнейшем?

\* \* \*

Испытал краткий (к счастью) испуг, наткнувшись в роскошном альманахе «Подмосковный летописец» на заметку (с фото) «Открытие памятной доски Олегу Чухонцеву»...

Жив, жив, это они так, к 70-летию, не волнуйтесь!

\* \* \*

Человек в старости, желая подняться с дивана или со стула, представляет себя Юрием Власовым со штангой над головой.

\* \* \*

Старинное игроцкое выражение о хорошо одетом, уверенном в себе человеке — «собран на выигрыш». Я его позаимствовал у своего старшего друга Андрея Петровича Старостина.

\* \* \*

Любопытно, что на старом Севере большинство ударений в словах перенесено на первый слог — как в английском. В названиях, фамилиях. Например, у нас в Сибири — «Олёкма», а на Северной Двине — «Олекма». У нас — Камёнский, Бурко́в, Дроздо́в, у них — Ка́менский, Бу́рков, Дро́здов, что им кажется вполне и единственно естественным.

\* \* \*

Из, я бы сказал, философских формулировок моего близкого однополчанина Борислава Буркова (г. Котлас):

«У меня и в моей семье все по-старому. Пока все живы, и каждый по-своему здоров».

«Здоровье посредственное, но не болею».

\* \* \*

Из письма его вдовы Таси, увы: «Дедушка Борислав (Бурков), будучи на пенсии, пять лет работал на медскладе рядом с нашим домом сторожем. Все деньги отдавал внукам».

Ранее он был зав. горторготделом, членом бюро горкома и проч. Но эта последняя должность — это же унижение. Разве нет?

\* \* \*

Сэр Уинстон Черчилль в бытность свою военно-морским министром Англии (у них это называется Первый лорд Адмиралтейства), задолго до войны, выступая на очередном выпуске лейтенантов Королевского флота, среди прочего сказал: «Для того чтобы чего-то добиться в жизни, нужно *всегда* очень серьезно относиться к своему делу и *никогда* к самому себе». Это один из лучших известных мне афоризмов. К сожалению, большинство руководителей разного ранга придерживается прямо противоположных принципов.

\* \* \*

Лица, одобряющие массовые репрессии и другие сталинские злодеяния, порой подсознательно относятся к категории всевозможных стукачей, тюремщиков, расстрельщиков, а люди, ужасающиеся при мысли о тех временах, — сами потенциальные жертвы.

\* \* \*

Замечательное стихотворение Георгия Иванова гораздо сильнее, пронзительней, значительней самих портретируемых. Так бывает в искусстве.

Эмалевый крестик в петлице  
И серой тужурки сукно...  
Какие печальные лица,  
И как это было давно.

Какие печальные лица,  
И как безнадежно бледны —  
Наследник, императрица,  
Четыре великих княжны.

\* \* \*

М. Луконин как-то сказал, что Евтушенко проводит по отношению к советской власти политику кнута и пряника. Остроумно.

\* \* \*

Сереза Луконин небрежно сообщил в печати, что его образцово-волжский отец не умел плавать. Ничего себе, опустил папочку.

\* \* \*

Хорошо написанная, но слабая поэма А. Недогонова «Флаг над сельсоветом». И так бывает.

\* \* \*

О смене политических привязанностей:

Нужно влево повернуть,  
Повернул направо.  
(Довоенная песенка, слова М. Исаковского)

\* \* \*

До войны. Я в восьмом и в девятом. Директор школы всегда начинал любую собственную речь словами: «Если так можно выразиться, а именно так и можно выразиться...»

А комбат в 4-й гвардейской воздушно-десантной бригаде имел свой знак: «Не в порядке запугивания, а в порядке наведения порядка».

И то и другое осталось в памяти на всю жизнь.

\* \* \*

Заголовок: «Ценники и циники».

\* \* \*

Былая школьная пятибальная система оценок. Они выражались и цифрами, и словами. Однако, скажем, 3 («птица-тройка») расшифровывалась то как «удовлетворительно» (уд.), то как «посредственно» (пос.). Но ведь это совершенно разные вещи.

\* \* \*

Мрачные новобрачные.

\* \* \*

Мастерская «Перегибание палок».

\* \* \*

«Ехал на ярмарку Букер-купец».

\* \* \*

Реклама: «Пишу, читаю без лампады».

\* \* \*

Время всеобщего увлечения НЛО. Возбужденный вечер в Дубовом зале ЦДЛ. Выступают очевидцы, свидетели. Знаменитый полярный штурман Аккуратов рассказывает, как он наблюдал стремительно удаляющийся объект. Из зала спросили: — Как выглядит?

Аккуратов ответил: — Задняя часть волнующая.

\* \* \*

Популярный артист М. Боярский, отвечая на вопрос, нужна ли сегодня поэзия, утверждает: «Читать поэзию нельзя, ее можно либо знать, либо слушать...» Саморазоблачительное заявление. Только слушать стихи предпочитают жертвы т.н. эстрадной поэзии, не имеющие потребности оставаться с нею наедине, возможности вернуться к началу, к наиболее задевшему. Стихи почти всех поэтов-шестидесятников публика воспринимала только со слуха и зрительно.

\* \* \*

О юморе. Инна Лиснянская сказала мне однажды, что вот у меня в стихах есть юмор, а у нее — нет. Просто как факт. А Гриша Бакланов признавал, что у него вообще нет чувства юмора.

\* \* \*

Некоторые редакторы наивно полагают, что у них есть право печатать или не печатать того или иного автора, ту или иную вещь. Они заблуждаются: у них нет такого права, у них есть такая возможность.

\* \* \*

Крупные, выдающиеся математики или физики не только решают, но и сами выдвигают, формулируют, создают сложнейшие задачи для решения, над ко-

торыми впоследствии бьются (иногда успешно) многие блистательные умы. Примеры имеются.

В искусстве (в частности, в поэзии) сама задача появляется уже в виде решения, т.е. уже решенной.

\* \* \*

Был юбилей композитора Д. Тухманова. Я утверждаю, что эта песня («День Победы») зацепила столь многих не только (и не столько) своей действительно замечательной мелодией, но еще в большей степени своими пронзительными словами. Каким же нужно обладать осознанием собственной значительности, чтобы ни разу даже не упомянуть автора «текста» (Вл. Харитонова)!

\* \* \*

Женщина долго не могла вспомнить название регулярной передачи на телевидении. Наконец радостно вскрикнула:

«ПТУшники!..» Это были «НТВшники».

Но ведь как точно!

\* \* \*

Литературоведы большей частью читают книги очень подробно, литературные критики чаще всего — по диагонали.

\* \* \*

А. Гладилин — о себе и своем поколении: «Мы первыми сказали правду». Правду? Первые? Толя, ну нельзя же так подставляться.

\* \* \*

Говорят: «написано левой ногой». То есть кое-как, халтурно, неумело. А вот в армии левая нога — главная. Именно с нее начинается всякий шаг — одного человека и всего строя; так командир подсчитывает «ножку»: левой, левой!..

И песня в строю обязательно звучит под левую ногу, и запев, и припев...

А писать левой ногой стыдно, некрасиво, не рекомендуется. Однако сколько их около литературы, этих левоногих, — батальоны, полки.

\* \* \*

На международном симпозиуме в Ярославле некоторые иностранные выступавшие говорили по-русски. Одного из них я за такового и принял. И вдруг он сказал: — Потому что без воды ни туда и ни сюда... (В войну ходили рассказы, как на таких мелочах попадались немецкие шпионы, — например, милиционер, взявший в трамвае у кондукторши билет).

\* \* \*

Были «Дни «Литгазеты» в Болгарии. Белла Ахмадулина, одна из нашей большой компании, обратила внимание на то, что в Софии и в Пловдиве нет на улицах собак — ни случайных, ни выгуливаемых.

\* \* \*

Любопытно, что очень внимательные ко мне Исаковский и Фатьянов никогда не посоветовали мне попробовать написать песню. Не то что Бернес, которому это было нужно.

\* \* \*

Песня — не просто соединение стиха и мелодии, а уже некий результат их отношений, нечто уже нерасторжимое, их взаимная интимная удача, неожиданность.

\* \* \*

У многих прекрасных поэтов не получилось написать ни одной поющей (мой термин) песни.

\* \* \*

Песни чаще всего бывают известнее книг.

\* \* \*

Позволю себе привести фразу из адресованного мне письма М.В. Исаковского, опубликованного в пятом томе его «Собрания сочинений»: «В этой области Вы, как никто другой, также показываете пример, как надо писать песни» (15 сент. 1966 г.).

\* \* \*

Наивный ученический лозунг: «Мы не рабы, рабы не мы». Женщина в зоне: «Мы не рабы. Рабыни мы».

\* \* \*

Что такое футбол? Это, по сути, забивание голов в чужие ворота и, увы, никуда не денешься, пропускание в свои. Так вот, по первому компоненту что-то у нас не клеится, зато по второму — все в порядке.

«Команда играет хорошо. Во всех матчах была максимальная самоотдача, все были мобилизованы. Никто не может бросить камень в наш огород, что кто-то из ребят не старался. Обидно. Мы все стоим за Родину, а болельщики против нас, что ли?»

А? Из каких-то былых времен отписочка. Подпись, однако, современная. Председатель РФС Сергей Фурсенко.

После нескольких подряд проигрышей и ничьих. Этот человек обещал нам выиграть в 2018 г. чемпионат мира по футболу.

\* \* \*

Я демобилизовался в конце сорок шестого года и вскоре стал исправно посещать вечера стихов в Политехническом. Народ валил уже тогда. Я и сам потихоньку сочинял — начал неожиданно для себя, последней военной весной, в Венгрии.

А здесь сразу попал на «Вечер трех поколений». Это третье поколение тоже представляли трое: С. Гудзенко, М. Луконин, А. Межиров. Маленькие книжечки двух первых у меня были, межировская уже разошлась. Все понравились. Гудзенко даже воевал рядом, под Веной.

Теперь многие забыли тогдашнюю ситуацию. Только-только (1946) прогремели страшные постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь» (постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» слегка задержалось и появилось в начале 1948-го). По сути, все искусство попало под безжалостный асфальтовый каток. Но на 1947 год было запланировано «Первое Всесоюзное совещание молодых писателей». И оно состоялось, аккуратно после только что упомянутых постановлений.



А ведь сама война уже выбросила в жизнь чудом уцелевших художников, прежде всего поэтов, ощущавших жгучую потребность написать о себе и погибших товарищах. И такие их лучшие строки уже появлялись, становились известными.

Это хотя бы: М. Луконин — «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой», С. Гудзенко — «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем» и «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели», М. Львов — «Чтоб быть мужчиной, мало им родиться», М. Дудин — «О мертвецах поговорим потом», С. Орлов — «Его зарыли в шар земной», Ю. Друнина — «Я только раз видала рукопашный»...

Эти их лучшие афористичные строки так и остались лучшими строками в их дальнейшей жизни — после получения ими чудовищных идеологических инъекций ЦК и Первого совещания. Единственным уцелевшим оказался Александр Межиров.

(Замечу в скобках, что Б. Слуцкий и еще два-три поэта из участников войны к тому времени не успели начать, эта буря прошла над их головами, они не отнесли ее к себе и поэтому не испугались.)

\* \* \*

А познакомились мы с Межировым темным осенним вечером сорок восьмого года в «Комсомольской правде» (редакции тогда работали поздно). «Комсомолка» помещалась, как обычно, на своем шестом этаже, а четвертый и пятый занимала «Правда». Мы спустились на этаж и попали в «правдинский» буфет (я — впервые). Там мы взяли бутылку водки (да, да, трудно поверить!), несколько бутербродов, нам пожарили две яичницы, и мы долго сидели за столиком. Потом шли пешком к метро «Белорусская», и он, слегка заикаясь, продолжал рассказывать мне свои межировские небылицы о том, как поэт Павел Шубин был чемпионом Европы по боксу, и тому подобное.

\* \* \*

А. Межиров, конечно, по-настоящему замечательный поэт — упрямый, бесстрашный. Блестяще владеющий стихом. И лучшие его стихи — о войне. «Артиллерия бьет по своим», «Музыка», «Воспоминание о пехоте», «Календарь», «Полумужчины, полудети» (памяти С. Гудзенко). И ведь рядом — не о войне, а так же больно: «Памяти А. Фатянова», или «Напластованье» (стихотворения 2-е и 3-е), или «Через костер...». Перечислять можно без конца.

И есть одно совершенно особое: «Коммунисты, вперед» — стихотворение-плакат. Он сам иногда серьезно и грустно говорил, что всё у него забудут, а это останется. Он сам в глубине души слегка гордился им и отчасти его стеснялся. И многие говорили: хороший поэт Межиров, даже очень, но вот зачем он про этих коммунистов написал!

А может, они не совсем поняли? И он тоже?

Ведь он пишет здесь об узловых, смертельных, катастрофических моментах нашей жизни и истории: ужас Гражданской войны, жестокие стройки тридцатых, Отечественная — и везде вперед, вперед! — то есть на верную гибель посылают именно коммунистов. Как штрафников!..

\* \* \*

И еще хочется сказать вот о чем. Межиров по натуре был игрок. В литфондовой, почти игрушечной его дачке весь второй этаж занимал настоящий бильярд. Нет, Саша играл весьма средне (сильнейшим среди писателей был, думаю, Вадим Сикорский). Но настоящие профессионалы глубоко уважали межировскую игроцкую суть, ощущали его как бы эталоном, неким

образцом. Ведь игроков у нас всегда было немало — и в картах, и на Бегах, и проч.

Я написал эти стихи об одном из них.

### Ашот

Мы повстречали Сашу и Ашота  
Когда-то в Переделкине зимой.  
Стал Межиров рассказывать нам что-то,  
Замерз и потащил к себе домой.

Там у него бильярд приличной марки,  
Который он назвал, конечно, «стол».  
Вошли мы. Батареи были жарки,  
А за окном покачивался ствол.

Я с Инной пил из одного стакана.  
Густело солнце зимнее вдали.  
Рассматривал Ашота Потикяна,  
Чьи пальцы до сих пор не отошли,

И он бил мимо и смеялся тихо,  
Поскольку мазать вовсе не привык...  
Он был боец особенного типа,  
К элите приближавшийся впритык.

Был коренаст бильярдный Марадона,  
Отнюдь не худощав, не длиннорук, —  
Но у него просил уже пардона  
Игроцкий мир, клубящийся вокруг.

Когда спросил я: — Как играет Игорь? —  
Ашот свой кий едва не уронил  
От смеха... а снежок с морозных игл  
Сверкал, порхал над гладкостью перил.

\* \* \*

Когда умер Сталин, редакция «Правды» предложила нескольким поэтам написать об этом стихи. Написал и Твардовский. Его дочь Валя видела, как он, еле сдерживаясь, диктовал их утром по телефону.

В этот день всенародной печали  
Я тех слов не найду,  
Чтоб они до конца выражали  
Всенародную нашу беду.

Всенародную нашу потерю,  
О которой мы плачем сейчас.  
Но я в партию Сталина верю —  
В ней опора для нас.

Стихи напечатали. Но одно слово было опущено, даже ритм изменился. Видимо, сокращали не в редакции, а где-то выше. Да, вы угадали: это слово было —

«Сталина». То есть руководство сразу же озаботилось не посмертным воспеванием, а вопросом — кому достанется власть.

\* \* \*

В то утро состоялся писательский траурный митинг, в тогдашнем Доме кино на Воровского. Дело в том, что в старый олсуфьевский особняк писатели не умещались. Перед этим мне встретился Твардовский. На нем была какая-то несуразная шапка с опущенными наушниками без тесемок, лицо опухшее.

Митинг был искренний, со слезами. Вели Фадеев и Тихонов. В конце писатели пели «Интернационал». Запевал А. Софронов.

Вышли на улицу. К нам с Инной прибились Винокуров и Межиров, и мы медленно пошли в сторону центра. Неожиданно Саша предложил зайти к нему на Солянку. Там у него в малонаселенной квартире была комната для работы. Он уточнил: для переводов. Мы купили водки, колбасы, еще чего-то (тогда все было).

Комнатка действительно оказалась крохотной: стол, стул, тахта. Над столом полка, и на ней большая книга. Нет, это была не Библия, не сталинские «Вопросы ленинизма», а словарь Даля.

Мы пили водку и говорили о том, что будет дальше.

Елена Скульская

**«Изе Мессерер»,**

**или**

**«Стихотворения чудный театр»**

От того, что Белла Ахмадулина всегда стояла на пуантах в речи, многие, особенно при начале знакомства, взбирались вокруг нее на котурны, табуретки, подоконники, падали потом в неудачи и ушибали гортани; поднимались с попыткой достоинства, но все-таки продолжали подслащать суффиксами и разными приставочками свои плоскостопные танцы.

Во время первой нашей встречи, в семидесятых еще годах минувшего века, я брала у нее интервью в Таллине. Сидели в роскошной по тем временам гостинице «Олимпия», на двадцать четвертом этаже с видом на город — черепичные крыши, отливающие под дождем серебром рыбной чешуи; Борис Мессерер заказал щедрый завтрак. Я задала тщательно подготовленный и изысканный, как мне казалось, вопрос с цитатой из Цветаевой: может быть, все женские стихи написаны одной женщиной? Что вы об этом думаете?

— Творчества не будет! — словно рысь взглянула в глаза. И весь зефир, все придыхание осенней листвы моментально исчезло из ее голоса.

— О, вопрос мой не отраден вам? — вполне вероятно, что я как-то даже заломила руки или сжала их «под темной вуалью»...

— А чему это я должна радоваться?! — и уже была в голосе хрипотца московского подростка, шестерочки с чинариком, прилепленным к припухшей губе; в пиджаке не по росту, в кепочке воробьиной, поигрывающего ножичком... Бьющим степ во втором отделении концерта по заявкам.

«Как вы относитесь к пародиям на вас?» — спросили ее в телевизионной передаче тех далеких лет. «Благосклонно», — отвечала она. Ловила на готовности прислуживать ей всякими «как хороши гортензии в саду...», «позвольте поднести вам анемоны...», «вдыхая аромат забытых встреч...», сбивала на лету просторечным словечком, но иногда и сама попадала в собственные изящные капканы. Мы были с ней в гостях у моей приятельницы в большом, старинном деревянном доме среди деревьев, дом шел вразвалочку на снос, приседал на нижний этаж, книжные полки повсюду нависали тяжелыми бровями, кипел самовар, мне кажется, Белле было хорошо, и она на мгновение отвлеклась от себя, оставила себя без присмотра. И тут же хозяйка, грузная, разумеется, женщина, опустилась перед ней на колени и, тяжело всхлипывая, запела:

— Белла, умоляю, прочтите нам «Сластену»! Просит «Сластену» мое естество! Жаждет мое ненасытное сердце!

**Об авторе** | Елена Скульская родилась и живет в Таллине. Автор четырнадцати книг стихов и прозы, драматург, лауреат премии Союза писателей Эстонии и фонда «Капитал эстонской культуры». Сборник рассказов Елены Скульской «Любовь» и другие рассказы о любви удостоен Международной «Русской премии» за 2007 год. Предыдущая публикация в «Знамени» — «Буквальные истории» (2011, № 8).

А речь-то шла о Мандельштаме:

В моем кошмаре, в том раю,  
где жив он, где его я прячу,  
он сыт! А я его кормлю  
огромной сладостью. И плачу.

И Белла растерялась, не нашлась, что ответить...

\* \* \*

В Абхазии, в Пицунде, у Дома творчества советских писателей был свой маленький пляж. В необыкновенной тесноте, стучаясь локтями, наступая друг другу на полотенца, соприкасаясь потными спинами, принимали солнечные ванны писатели. Они были так близко друг от друга, что когда в одной компании выкрикивали: «Семь трэф!» или, там, «Девять бубей!», то в другой какой-нибудь начинающий преферансист успевал взвизгнуть: «Вист!», пока его не приводили в порядок более опытные игроки.

Пляж никак не был огорожен или закрыт, и границы его проходили исключительно в воображении. Он был так же каменист, как и весь окрестный берег. В теплой воде плавали те же мучнистые медузы, что в любой точке побережья создают ощущение супа с клецками. В камышах, как и положено, попискивали те же водяные крысы, селившиеся порой в писательских номерах и выкармливавшие свое потомство в писательской столовой; однажды такое семейство оказалось в моем номере, и я долго наблюдала за веселой возней котят, идиллически прикидывая, кто же именно мог их из жалости подобрать и приютить у меня, пока один из них не развернул ко мне свою острую, как карандаш, мордочку крысы...

Так вот, пляж писательский был крохотным, а рядом, по обе стороны, сколько хватало глаз, простирались необозримые прибрежные пространства покоя и воли, куда каждый мог удалиться в поисках свежих впечатлений или уединения. На этом пространстве куда менее излученно, а точнее, совершенно не беспокоя друг друга, загорали дикари. Но никто из писателей ни разу на моих глазах не решился перейти Рубикон, отделяющий его от читателей.

— Ты пойми, — объяснял мне Эдвард Радзинский, — здесь, на своей территории, все лежащие знают друг друга и помнят, что они — цвет литературы. Особенно цвет литературы — секретари Союза писателей, редактора журналов и издательств. Не какие уж есть писатели, а — писатели! Но как объяснить это дикарям?

Итак, на писательском пляже лежали в тесноте. Но и в обиде: почти всем хотелось перебраться из своей социальной группы в другую: выйти замуж с повышением или удачно пристроить рукопись. Когда появлялся над шевелящимся пляжем фарфоровый профиль Беллы, все земное исчезало. Она шла всегда в сопровождении большой свиты, в белой блузе и белых брючках, не оскальзываясь, в отличие от всех остальных, на крупной прибрежной гальке, но проплывала как во сне, как в рапиде, и все понимали, сколь они нелепы и неуклюжи рядом с ней.

Никто и никогда в Пицунде не смел читать при ней свои стихи. Милейший Роман Сеф, выпустивший новую чудесную детскую книжку, дарил ее всем на пляже с прелестными четверостишиями. Белле и Борису Мессереру он написал:

Дарю я осторожненько  
Смешную книжку эту  
Белле — как художнику,  
Боре — как поэту.

Собирались по вечерам в номере Беллы и Бориса. Борис рассказывал, как однажды в июльскую жару в Ялте встал в безнадежнейшую очередь за пивом; солнце шипело над головой, подступала дурнота. И вдруг Борис увидел, что огромная бочка

с пивом, из которой пивница лениво цедила в кружки пенистую влагу, украшена плакатом с изображением Беллы Ахмадулиной. Борис выбежал из очереди и закричал: «Да вы знаете?! Да я же!!!» И осекся. «А что, собственно, я бы мог сказать?!»

Все вежливо засмеялись.

Борис внимательно следил за тем, чтобы аристократизм хозяйки оттенялся его ласковостью и не приводил к излишнему холодству гостей.

Слушали Беллу с замиранием, восторгом, шевеля губами в такт стиху, а потом шли в какой-нибудь другой номер и уж там, размахивая руками и форсируя хрипы, читали собственные сочинения и чувствовали себя анархистами, подпольщиками, готовящими заговор против императрицы, а утром вновь рассыпались в прах.

Приезжали в Пицунду налегке, с какой-нибудь дорожной сумкой, только жена Романа Сефа Ариэлла прибывала из Парижа с огромными чемоданами на колесиках, из которых добывались неведомой нам красоты одежды. Послушав однажды стихи Беллы, она выбежала в волнении из ее комнаты, метнулась к себе, распахнула чемоданы и вернулась к Белле с белоснежным комбинезоном с еще не снятыми бирками Армани или Диора. Белла надела подарок, все спустились в бар выпить кофе, Белла вертела в руках сигарету:

— Ну и как ей объяснить, что мне нужны маленькие линялые джинсики, и больше ничего! Неужели она не понимает?!

— Завтра же Белла передаст эту роскошь, — подтвердил Борис.

Она знала, что рампа горит всегда, сцена не меркнет ни на секунду, и счет обязан быть сухим — в ее пользу. При любых обстоятельствах.

\* \* \*

...У меня дома висит большая фотография, на которой Белла Ахмадулина снялась с Эдиком Елигулашвили. Они снялись обнявшись, с рюмками в руках, и смотрят друг на друга с такой нежностью, что я как-то спросила Эдика:

— Может быть, у вас был роман?

Он ответил:

— Ты думаешь, что может быть роман с иконой?

«Дорогой Эдик, благодарю тебя за долгие годы нашей дружбы, ни разу ничем не омраченной», — написала она ему в 1995 году, спустя не одно десятилетие после начала знакомства.

Белла очень тонко и точно чувствовала, в каком литературном жанре должны складываться отношения. С Эдиком Елигулашвили, которого Евгений Евтушенко прозвал «Ели-гуляли-пили-швили», проводившем половину жизни в грузинских застольях, где нежность нарастает по законам мастерства и ритуала, — жанр должен был соответствовать краткости и афористичности тоста, с броским, запоминающимся финалом, допускающим многократное цитирование.

Эдик, как многие грузины, охотно гулял по берегу моря, но не заходил в воду.

— Неужели, Эдик, ты никогда не купаешься в море? — удивлялся Борис Мессерер.

— Никогда!

— Даже в такую жару?!

— В любую. Я не могу войти в воду, в которой уже кто-то побывал...

— Нет, Эдик, я все-таки не понимаю, — продолжал Борис, — как это можно — всю жизнь провести на берегу Черного моря и ни разу в него не окунуться?!!

— Что же тут непонятного, Боря? — вступилась за Эдика Белла, — вот ты, Боря, живешь в Москве, но ты ведь не бегаешь каждый день в Мавзолей?!!

\* \* \*

К Белле, сидевшей в баре в Пицунде в большой компании, подошел местный сочинитель и, не веря своему счастью, попросил разрешения поднести ей свой сборник стихов. Ахмадулина с ласковостью медсестры заверила его, что подарок будет

принят. Ошарашенный свалившейся на него удачей, поэт остолбенело держал в руках сборник, не в силах приступить к написанию слов восторга.

— Значит, вы разрешаете надписать вам свою книгу?! — все переспрашивал он.

— Ну конечно, — утешительно кивала ему Белла.

— Прямо вот сейчас вот так возьму и напишу прямо: «Изабелле Ахатовне Ахмадулиной» (Белла Ахмадулина по паспорту, действительно, Изабелла. — Е.С.)? Прямо так и напишу?

— Можете написать: «Изе Мессерер», — улыбнулась Ахмадулина.

\* \* \*

...Сидели в духанчике недалеко от Тбилиси. Произносили бесконечные тосты, выпивали. В углу сидел какой-то старик со слезящимися глазами, сидел один, среди шума и веселья, никто к нему не подходил, никто не звал его за свой столик.

— Бедный дедушка, — сказал Белла.

— Не жалея его! — ответили Белле. — Он был подручным Берии, все это знают!

— Бедный дедушка-убийца, — отозвалась Белла.

\* \* \*

Еще одна домашняя фотография: мой отец стоит, обнимая Беллу Ахмадулину. Это 1962 год, писательская поездка в Югославию, мой отец, прозаик Григорий Скульский, включен в делегацию, Юрий Нагибин был с Беллой Ахмадулиной.

Спустя много лет Белла сказала мне:

— Хотите о моей матери? Она писала в ЦК письма с просьбой помочь ее заблудшей дочери встать на правильный путь!

В той югославской поездке она, может быть, скучая среди слишком взрослых людей, по-детски приникла на несколько дней к моей матери. И послала в Таллин, в подарок какой-нибудь из дочек мимолетной покровительницы свой голубой костюмчик с золотыми пуговицами. Он достался мне, двенадцатилетней, и я долго его носила тряпичным предисловием к стихам.

Я очень рано вышла первый раз замуж. Мой товарищ по полудетскому браку к стихам был равнодушен, к моим особенно, и сколько бы я ни ходила с загадочным видом по квартире, кусая карандаш, непременно устраивал скандалы из-за невымытой посуды.

— Я — поэт, понимаешь, поэт! — кричала я.

— Вот станешь Беллой Ахмадулиной, тогда и не будешь мыть посуду! — парировал муж.

При этом «Белла Ахмадулина» была для него не реальным поэтом, а неким собирательным «Пушкиным». «А посуду за тебя Пушкин будет мыть?» — мог бы он спрашивать меня на манер классного руководителя.

И вот однажды Белла Ахмадулина с Борисом Мессерером оказались в нашей квартире. Мой муж был так потрясен этой встречей с «Пушкиным», что буквально лишился дара речи, он только что-то шептал, лепетал и припадал к ручке. Уходя, уже в дверях, Белла обернулась:

— А вдруг ваш муж, Лиля, лучше моего? Не прихватить ли мне и вашего с собой?

И мой, сорвав с вешалки пальто, кинулся за ней по лестнице...

\* \* \*

...Дома у моих родителей Белла была беззащитна и состояла только из стихов.

— Григорий Михайлович, — говорила она моему отцу, — ведь вас никто, наверное, не называет «товарищ»? Вам, наверное, говорят «сударь», «милостивый государь», признайтесь!

— Кошечка, прелестная кошечка, — расплывался отец.

Борис Мессерер нарисовал в альбомчик маме традиционный граммофон из своей коллекции, а Белла вскочила из-за стола, ушла в отцовский кабинет и оставила такую запись в семейном альбоме:

«Милому и родному семейству Скульских — слабоумный медленный экспромт.

Увы! Нашлась на козочку управа.  
Охотник — меток, если незлобив.  
Стал Ревель там, где козочка упала.  
Печаль, апрель, прощание, залив.

Дом в Ревеле. Прелестна, одинока  
Душа весны и города в окне —  
Ужель нужна погибель олененка  
Дню, Ревелю и мне в апрельском дне.

27 апреля 1986 года»

Скульптура черного олененка стоит у крепостной стены; всякий, кто идет с вокзала к центру, непременно видит эту фигурку. Но мало кто обращает на нее внимание: у нас сейчас на центральной улице сидит на скамье бронзовая корова с золочеными копытами, сидит, закинув ногу на ногу, и туристы непременно присаживаются к ней и фотографируются на память. А неподалеку, буквально за углом, на булыжном возвышении стоит бронзовый трубочист с позолоченными пуговицами; не сразу и не вдруг сможешь с ним сфотографироваться — очередь.

\* \* \*

...О смерти Беллы Ахмадулиной я узнала из короткой записки Тээта Калласа: «Жаль, что больше нет Беллы... Почти все они уже ушли».

В 1980 году Белла пришла с выступлениями в Таллин. Как-то поздним вечером, собственнo говоря, ночью ей вдруг пришло в голову, что она должна познакомиться с каким-нибудь настоящим эстонцем. Только настоящим, Лиля! В таком хемингуэевском свитере крупной вязки с оттянутым воротом, с бородой, с трубкой; чтобы попыхивал, а в промежутках тяжело и важно ронял слова — сплошь философские максимы.

Ночью и к тому же выпив, можно было позвонить только Тээту Калласу. Тээт тут же откликнулся:

— Невероятное везенье! Приехала мама Аллы, и они напекли столько пирогов, что можешь вести за собой всю компанию!

Стали собираться, решили пройтись по ночному Таллину.

— Только, Белла, — говорю, — Тээт хоть и настоящий эстонец, хоть и в свитере, хоть и курит, а, боюсь, он совсем не тот, кого вы хотите увидеть. Он яростный. Ради любимой женщины вошел в клетку к тигру. Да-да, к тигру. И тигр отгрыз у него палец...

Белла поморщилась, моя выдумка отдавала безвкусицей.

— Он уговаривал Аллу выйти за него замуж, — напирала я, — пытался завоевать расположение ее шестилетнего сына. Мальчик пообещал: «Если ты подаришь мне настоящего живого зайца, я все устрою!»

Поехали в зоопарк, директор был давнишним приятелем Тээта. Алла с сыном остались ждать на скамейке возле клетки с тиграми, а Тээт отправился к начальству. Выпили с директором коньяка, директор вник в проблему и распорядился принести зайца. С зайцем под мышкой Тээт победно подошел к скамейке. Однако шестилетний Роман вовсе не имел на маму того влияния, на которое они с Тээтом так рассчитывали.

— Если ты не выйдешь за меня, — сказал Тээт, — то я открою сейчас клетку с тиграми и войду к ним. Может быть, они снисходительнее и сговорчивее, чем ты.



Директор, во всем сочувствующий Тээтовой любви, моментально отпер клетку. Тээт пошел на тигра, тот кинулся, сосредоточив, впрочем, внимание на зайце. И вырвал добычу, и проглотил вместе с одним пальцем Тээта.

Все произошло за секунду. Алла с сыном успели только вскочить со скамейки и медленно на нее опуститься. Тээт стоял перед ними. Из руки хлестала кровь.

— «Скорую!» — орал протрезвевший директор.

— Не надо, — возразил Тээт, — я буду стоять так, пока она не выйдет за меня замуж...

— И вот, — завершила я рассказ, — у них в доме повсюду только книги и тигры, книги и тигры, ну, разумеется, мягкие такие тигры, игрушечные...

Белла раздраженно молчала.

Пришли. Нас ждали пышные горячие ночные пироги и охлажденная выпивка. Тээт рассказывал, как он переводил на эстонский язык Юрия Казакова. Когда они вместе приезжали поработать в какой-нибудь Дом творчества, администрация принимала против них самые решительные меры. Им категорически запрещалось употреблять и проносить на территорию спиртные напитки. Это было во времена пишущих машинок. Писатели брали с собой пустой чемоданчик от «Эрики» и задумчиво выходили за ворота, чтобы постучать по клавишам на природе. Спустя час возвращались с заметно потяжелевшим чемоданчиком, набитым бутылками, и продолжали пьянствовать. Близкая и искренняя дружба не мешала им часто ссориться:

— Не смей со мной спорить, — орал Казаков, — ты же знаешь — я великий русский писатель!

— Я-то знаю, — кричал в ответ Каллас, — а вот ты не знаешь! Я тебя читал, а ты меня — нет! Я сам — великий эстонский писатель!

— Все равно, — гремел Казаков, — я больше тебя!

— Почему же это?

— А потому что Россия больше Эстонии!!!

А Белла очень по-домашнему рассказывала, как в один из приездов в Таллин она захворала: кашляла, поднялась температура. Нужно было вызвать терапевта, но день был воскресный, и поликлиники закрыты. Белла попросила меня, если возможно, все-таки найти какого-нибудь толкового врача. Я позвонила домой Александру Левину — прекрасному доктору и одновременно — поэту и переводчику. Через полчаса в гостиничный номер Ахмадулиной постучали, я открыла дверь, доктор Левин стоял в проеме с огромной, заслонявшей его лицо, стопкой книг: тут были и его сочинения, и сборники переводов, и просто книги, достойные внимания Ахмадулиной.

— Видимо, болезнь помешала мне внятно сформулировать свою просьбу, — покорно принимая книги и столь же покорно готовясь слушать стихи, сказала Ахмадулина.

У Тээта с Беллой оказалось много общих знакомых, одним из самых близких друзей обоих был Василий Аксенов, словом, очень быстро они заговорили, как старые давнишние приятели. Под утро стали надписывать друг другу новые книги. Тээт взял ручку, и тут Белла заметила, что у Тээта не хватает на руке пальца; Тээт перехватил ее взгляд:

— Это у меня была не очень удачная встреча с тигром...

Белла воскликнула:

— С какой стремительностью в Эстонии литература становится фактом жизни!..

\*\*\*

В один из следующих приездов, тоже в начале 80-х, Белла захотела пойти в клуб художников и литераторов «Куку», который и тогда был на нынешней площади Свободы. Сейчас это просто подвальчик с удушливой комнатой для курения, — именно в ней вечно проводятся конференции, с которых не сбежишь; чувствуешь себя рыбой в аквариуме (прозрачная стена в соседние залы), — только нет тебе, рыбе, воды. А тогда в ресторанчик пускали только членов клуба, а принимали в клуб почти как в масонскую ложу — со сложной системой рекомендаций и проверок. Считалось, что

именно там, в «Куку», художник может не только напиться (это-то везде!), но и болтать безнаказанно.

Белла моментально почувствовала себя своей в «Куку»: словно внешняя, кажущаяся жизнь осталась за дверями подвала, наступила жизнь иная, подлинная, хранящая тенистые недомолвки. И эти недомолвки, эту тайну, скрытую в табачном дыму, в чуть оплывших от выпитого лицах известных писателей и артистов, Белла прочитала. На нашем столике сменили уже несколько графинчиков; вдруг Белла поднялась, вышла в центр зала, поклонилась до земли и буквально пропела-проплакала, как стихи: «Простите меня! Простите, что я ничего не сделала для того, чтобы ваша прекрасная страна стала независимой! Простите, что я ничего не сделала для вашей свободы, которая непременно придет к вам!»

Стоп-кадр. Выключенный звук. Никто не шелохнулся. Белла растерянно посто-яла в центре зала и вернулась понуро за столик. К нам подошел один из завсегдаев клуба и тихо, но категорически посоветовал нам уйти. Борис Мессерер нервно и с вызовом принялся объяснять: Белла — великий поэт, сам он — художник, он потрясен подобной реакцией на искренние слова своей жены.

— Вам лучше уйти! Поверьте, вам лучше уйти. — И нас уже теснили к дверям, и взгляды нас провожали жесткие и холодные.

И только спустя четверть века я узнала, что же тогда произошло. Я рассказала эту историю эпатажному и дерзкому литературному критику Ваапо Вахеру; он угрюмо кивал, вздыхал и сказал, наконец:

— Я ведь тоже выпивал в тот вечер в клубе. Понимаешь, мы тогда все были на заметке в КГБ, а Белла Ахмадулина говорила так вдохновенно и открыто, что мы решили: органы подготовили очередную провокацию...

\* \* \*

...Помню несколько ее коротких новелл. В Америке какой-то человек устроил скандал на заправке, всех терроризировал, а она опаздывала на выступление. Белла выскочила из машины и вступила в перепалку.

— А, — заорал тот, — ты смеешь так со мной разговаривать потому, что я черный!

— Я не вижу, какого ты цвета, но я вижу, что ты идиот, — спокойно отвечала Белла. И скандалист сник.

Советских поэтов принимал в Штатах Рейган. Он спросил у Беллы:

— Какой поэт у вас считается самым лучшим?

Белла — под пристальными взглядами сопровождающих гэбистов — ответила:

— Наш лучший поэт находится у вас — Иосиф Бродский.

Подобные истории, наверное, хранятся в памяти у всех тех, кто был с ней знаком или дружен. Но самое главное — нет историй других, в которых она выглядела бы как-то неприглядно. «Главное для поэта, — повторяла Белла, — приглядывать за своею нравственностью!»

\* \* \*

...Однажды мы сидели в Таллине в кафе, и к Белле все время подходили какие-то люди за автографами. И Белла всякий раз вскакивал из-за столика, чтобы их благодарить.

— Даме вовсе не нужно вскакивать, — удерживал ее Борис Мессерер.

— Даме не нужно, — оборачивалась Белла, — а поэту, Боря, совершенно необходимо!

\* \* \*

Для одного из интервью фотограф очень долго фотографировал Беллу. Снимал в гостинице, водил по парку. Когда снимки были проявлены, то оказалось, что почти везде Белла снята на фоне каких-то решеток — парковой ограды, ресторанного ограждения, но именно — решеток. Бдительный художник газеты «Советская Эсто-

ния» Стас Маклаков побежал к главному редактору и, заикаясь и пришепетывая, рапортовал:

— Опять Скульская хочет протащить на наши страницы антисоветчину! Смотрите, поэт у нее за решеткой. Это в нашей советской стране, значит, у него, у поэта, нет свободы слова.

Редактор побледнел и интервью снял. На следующий день Беллу Ахмадулину наградили Орденом дружбы народов. Интервью опубликовали. Там она говорила, что «Таллин — подарок для глаз».

Я рассказала как-то про эти решетки Евгению Рейну. Он тут же ответил. Пришел он в гости к Белле Ахмадулиной. Поднялся на шестой этаж и видит, что вход на лестничную клетку забран решеткой. Стал кричать, звать хозяев; из квартиры вышла Белла и говорит, что Борис ушел, а ключ от решетки унес с собой. Рейн хотел распрощаться, но Белла его удержала: она принесла столик, накрыла скатертью, Рейн открыл принесенный коньяк, сели они по разные стороны решетки, выпивают. Вечером вернулся Мессерер и говорит: «С какой стороны ни посмотри, а поэты у нас сидят за решеткой...»

\* \* \*

Пытаться понять ее лирическую героиню по законам реальности невозможно. Особенно тогда, когда автор сам настаивает на реальности, низведенной до быта, до обыденности. Почему ее героиня все время ходит в гости к немилым людям, которые чужды ей и которые не любят ее?

К Белле обращается хозяйка дома:

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

Белла комментирует:

— Когда-нибудь, во времени другом,

на площади, средь музыки и брани,

мы б свидетеля могли при барабане,

вскричали б вы:

— В огонь ее, в огонь!

За все! За дождь! За после! За тогда!

За чернокнижье двух зрачков чернейших,

за звуки, с губ, как косточки черешни,

летающие без всякого труда!

В другом стихотворении Беллу Ахмадулину приглашают в гости к литературоведу. И она говорит, что в этом доме она поест и отогреться за «Мандельштама и Марину»...

В третьем стихотворении Ахмадулина просит читателя не плакать о ней, поскольку она постарается как-то выжить, быть «веселой нищей, доброй каторжанкой».

Вероятно, она была убеждена, что всякий Поэт разделяет судьбу всех Поэтов и несет на себе груз страданий и бед, выпавших на долю предшественников. В одном из разговоров она утверждала:

— Никто, как поэт, не умеет радоваться любому проявлению жизни, любому знаку всего живого на земле. Но у поэта разверстая душа, вбирающая благородное страдание, вбирающая боль мира, за который поэт ответствен. А коли груз ему покажется непосильным и он ослабит ношу, то и его звезда-поэзия скажет: «Ступай и благоден-

ствуй, но без меня». Судьба и творчество — неразделимы. Сам дар, само призвание как бы изначально закладывает в художнике сюжет его судьбы. Но это, конечно, не значит, что поэт может быть совершенно безогляден в своих поступках, полагаясь только на путеводную звезду своего таланта. За душою, за совестью своей, за честностью нужно приглядывать, нужно уметь делать выбор и нужно уметь решаться. Важнее всего для меня — не провиниться перед всеми теми, кто мне доверился...

\* \* \*

Ахмадулина единственный, наверное, поэт в истории русской литературы, который не нажил себе за жизнь ни одного врага. О ней никогда не сказала ни одного худого слова критика, не ходят о ней в литературных кругах сплетни.

— Сам о себе не расскажешь, никто о тебе не расскажет, — говорила она. — Сплетничают о тех, кто сам о себе распускает сплетни.

\* \* \*

Как-то в Москве я была звана в гости в мастерскую к Борису и Белле, где висят штандарты с ее стихами, написанными от руки, где висят прекрасные ее портреты и стоят многочисленные патефоны. Я радовалась встрече, пришла, предвкушая славное и долгое застолье. Но Борис сказал, что Белла даже не выйдет из своей комнаты ко мне, что через несколько часов она должна быть на телевидении, она готовится, и мой коньяк совершенно сегодня неуместен — ей выступать, а ему ее везти. Впрочем, он пытался занять меня разговором и чем-то накормить; отбыв неловкие полчаса, я уехала.

Решила никогда там больше не бывать, но чувство собственного достоинства было обретоено все-таки на лестнице, что временами дергало, как больной зуб. Спустя неделю пришла от Беллы книжка: «Милая Лиля, в знак моего искреннего расположения и признательности, во искупление моей случайной неуклюжей негалантности — решаю послать Вам бедную книжку». То была «Тайна», вышедшая в 1983 году.

По разным причинам люди приносят извинения: кому-то жаль обиженного ими, кому-то жаль себя, оступившегося в нанесение обиды.

\* \* \*

Я бы сравнила пластический дар Беллы Ахмадулиной с пластическим даром Майи Плисецкой. Плисецкая расширила возможности балета, опустившись с небесных пуант на полную ступню, внеся в балет трагическую драматургию пантомимы, жар площадного танца, гомон прозы, бокалы и сигаретный дым; она может выйти в длинном вечернем платье, встать неподвижно и станцевать одними руками. Ахмадулина перевоплощается в ручей, который не разрушает почву, но течет только по тем местам, какие не противоречат ландшафту, и от этого смирения перед миром, от этого не-бунтарства вода ручья оказывается (парадокс!) прозрачней и чище, чем в бурлящих потоках; в этом ручье нет сорванных веток и раздробленных камней с острыми краями, но можно разглядеть каждый камешек на дне, можно выпить этой холодной чистой воды и прикоснуться к гениальному ребяческому простодушию поэта-артиста, который расширяет поэзию до возможностей балета.

\* \* \*

Есть только один повод для слез, — любила повторять Ахмадулина, — искусство!

Светлана Шишкова-Шипунова  
**Смотритель кладбища**

(постскрипtum к старому рассказу)

1.

Этой весной обнаружила в своей электронной почте странное письмо:

«Уважаемая Светлана Евгеньевна!

Прочитал ваш рассказ о Веревкине Е.Н. Так уж случилось, что я был знаком с ним. В вашем рассказе почти все, что говорил Веревкин, — неправда, если это говорил он, а не художественный вымысел.

Я располагаю некоторыми документами из жизни Веревкина, которыми решил с вами поделиться, возможно, вам пригодится это в работе.

Если, что неясно — пишите. Все объясню. Александр»

Я перечитала письмо раз, второй... Что бы это значило? У меня действительно есть небольшой рассказ<sup>1</sup> о человеке по фамилии Веревкин. Я написала его больше десяти лет назад, после поездки во Францию. В тот раз мы с мужем несколько дней отдыхали в Ницце и не могли не побывать на знаменитом Русском кладбище Кокад, там и познакомились с этим самым Веревкиным.

К письму неизвестного мне Александра были прикреплены три файла, в них — отсканированные, судя по виду, с подлинников — документы: заполненная от руки анкета советского образца, такая же рукописная автобиография и справка на бланке какого-то советского предприятия. Беглое чтение этих документов еще больше меня озадачило. Да тот ли это Веревкин?

Тот был смотритель Русского кладбища, который, когда мы пришли туда, поначалу ни за что не хотел нас пускать (было воскресенье), но муж сумел его уговорить и даже расположить к себе — не деньгами, нет, боже упаси. Он просто дал понять, что интерес у нас не праздный, что мы знаем многое об этом кладбище — кто тут похоронен, и все такое. Смотритель смягчился и открыл нам, мало того, взялся показать самые знаменитые могилы — Екатерины Долгорукой, Юденича, Раевского...

На самый верх (кладбище расположено на склоне холма) он не пошел, предоставив нам самим побродить среди старинных могил, ждал нас внизу, у своего домика, там и случился у нас разговор о нем самом — кто он, откуда, как тут оказался...

Чтобы дальнейшее было понятно читателю, воспроизведу фрагмент своего рассказа, касающийся как раз биографии героя<sup>2</sup>.

(...) Наконец возвращаемся в тот самый дворик, куда выходят окна и двери двухэтажного дома, одна дверь в первом этаже, другая — наверху, от нее ведет вниз

1 «Смотритель кладбища». В сб. «Дети солнца», М., Олма-Пресс, 2001 г.

2 Полностью рассказ можно прочитать на моей страничке в «ЖЗ» — <http://magazines.russ.ru/znamia/avtory/shipunova/>

наружная лестница. Дворик наполнен разной домашней утварью, из чего можно заключить, что это никакая не контора и не сторожка, здесь живут. Смотритель кладбища возится с цветами и, кажется, поджидает нас.

— Можно тут присесть на минутку? Ноги устали.

— Прошу, садитесь.

Я буквально падаю на деревянную скамейку у стены дома. Муж остается стоять, с интересом разглядывая дом и двор.

— А жена у вас на казачку похожа, — вдруг говорит смотритель, поглядывая на меня, но обращаясь к мужу. — Она случаем не казачка?

— Казачка, — улыбается муж, а я слегка краснею.

— Не донская ли?

— Нет, — говорит муж. — Кубанская.

Смотритель тоже улыбается и, обращаясь уже ко мне, говорит:

— Вы на мою бабушку в молодости похожи. Бабушка моя была казачка.

— Да что вы! — всплескиваю я руками. — Вот это да!

— Только она родом была с Дона, из станицы ... — тут он слегка запинаяется и видно, как трудно произнести ему это длинное непонятное название, он выговаривает его осторожно, по слогам: — Кал-ни-бо-ло-цкой. Ударение он делает на втором слоге, у него получается: Кални-и-и...

— Калниболо-о-о-тской? — хором восклицаем мы, усиленно ударяя на «о».

— Так Калниболотская — это не на Дону, это у нас, на Кубани, — говорит муж.

— Как на Кубани?!

Видно, что он сильно удивлен и даже как будто озадачен этим простым обстоятельством.

— Большая, кстати, станица, зажиточная, — добавляю я.

— И сейчас зажиточная? — спрашивает он недоверчиво.

— И сейчас, — говорю я уверенно, будто сама там живу.

Смотритель кладбища делается взволнован и несколько раз повторяет:

— Вот так да... Вот так да...

Потом он идет в дом и через некоторое время выносит оттуда несколько старых фотографий, коричневых, с изломанными краями, на них какие-то люди, мужчины в гимнастерках и сапогах, женщины в длинных темных юбках, в белых платках. Он тычет пальцем в фотографию: вот она, бабушка из Калниболотской. Я заглядываю с любопытством. С чего он взял, что я на нее похожа, и близко ничего нет.

— Значит, Кал-ни-и-и-болотская на Кубани находится? А я и не знал, всю жизнь считал, что это на Дону.

— А может, она раньше и была на Дону? — шепчу я мужу. — Сколько ж раз все перекраивали!

Он одергивает меня: помолчи!

— А отец мой и дед — донские, — говорит смотритель. — Дед до революции школьным учителем был в Батайске. Знаете Батайск?

Ну конечно, мы знаем Батайск. Муж начинает методично выспрашивать подробности, и постепенно выясняется вот что.

Отец этого человека в 18-м году записался в Добровольческую армию, воевал под началом у Врангеля, а после разгрома ушел с белыми за границу. Там он оказался сначала в Галлиполи, потом в Сербии, словом, помыкался по разным странам, пока не осел во Франции, в городе Лионе. Человек он был еще молодой, дома, в России, ничему, кроме как воевать, научиться не успел, и пришлось ему идти в шахту каменотесом. Это была очень тяжелая работа, подорвавшая его здоровье. Лишь через несколько лет он смог найти себе работу полегче — на ткацкой фабрике. Там он познакомился с одной работницей, француженкой, влюбился и женился, в результате чего родился на свет наш собеседник. (То-то я смотрю, что он ни на русского, ни на француза толком не похож, а он, значит, полукровка и есть.) Родители отца, то есть нашего смотрителя дед и бабка, остались, между тем, в России. Первые годы они изредка переписывались, но в 34-м году от деда пришло из Батайска письмо, в котором он просил сына прекратить с ними всякую связь, потому что в России наступают суровые времена и такая связь чревата.

— И что же, они перестали переписываться?

— Перестали. Отец говорил, что это опасно.

— А что было потом?

— Потом... Он больше ничего не знал о них, даже не знал, живы они или умерли.

— И отец никогда больше не был в России?

— Нет, не довелось. Он умер довольно молодым, перед самым началом Второй мировой войны.

— Это отец научил вас говорить по-русски?

— Сначала он научил мою маму, и, когда я появился на свет, в доме у нас уже говорили на двух языках, но больше все-таки по-русски. Отец и в православную церковь приучил меня ходить. И еще, знаете? Он ведь завещал мне непременно жениться на русской.

— А вы?..

— Я так и сделал.

— Так у вас русская жена! Она, наверное, тоже из эмигрантов?

— Нет-нет, я привез ее из Советского Союза.

— Как это?

— Очень просто. Купил тур, поехал в Россию, нашел там себе жену и привез ее сюда.

Мы с мужем переглядываемся: «Вот дает!».

— И... где же она?

— Здесь, — он поднимает глаза вверх, где на втором этаже приоткрыто окно и виден край тюлевой занавески. — Она сегодня немного нездорова.

— И вы с ней тут и живете?

— Тут и живем.

— Но... как это случилось, что вы стали смотрителем кладбища?

— О, это отдельная история, — говорит он, усаживаясь рядом со мной на скамейку.

Выясняется, что перебраться из Лиона в Ниццу заставила его болезнь суставов, врачи посоветовали сменить климат. Но, с детства приученный ходить в церковь, он и здесь, в Ницце, стал исправно посещать православный храм Святого Николая. А храм этот держит над Русским кладбищем опеку. И вот, спустя некоторое время, отец-настоятель, как видно, заметил прилежного прихожанина и предложил ему должность смотрителя.

— И вы не испугались? — задаю я глупый вопрос.

— Я почел за честь и за долг.

Вдруг я замечаю, какой он старый. Ему, должно быть, лет семьдесят. У него выцветшие глаза и рябые руки. Интересно, есть ли у них дети?

— Бог не дал, — говорит он коротко и встает со скамейки.

Мы понимаем, что пора уходить, он ничего больше не расскажет. На прощание я спохватываюсь: целый час проговорили, а не спросили даже, как его зовут.

— Зовут меня Евгением Николаевичем, — слегка наклоняет он голову. — Фамилия Веревкин. (...) Мы прощаемся, и он запирает за нами калитку. Больше он никому не откроет сегодня.

— А жалко, что жена его не вышла, — говорю я, едва мы выбираемся из узкого переулочка на более или менее широкую улицу Шмен де Кокад. — Хотелось бы мне на нее посмотреть...

Мы живем в Ницце еще неделю, загораем на пляже, гуляем вечерами по набережной или, сидя в открытом ресторанчике с видом на море, попиваем красное французское вино и часто вспоминаем нашего Веревкина и говорим о нем.

— Кто же будет беречь это кладбище, когда его не станет? — сокрушаюсь я.

— Да брось ты! Он еще крепкий старик, еще поживет, — говорит муж.

А осенью, в пору затяжных дождей, сидим мы как-то поздним вечером дома, у телевизора, и идет передача из Франции, как раз из Ниццы и как раз о Русском кладбище.

(...) — Кстати, все забываю тебе сказать, — говорит муж. — Я ж навел справки. Нет в Батайске никаких Веревкиных.

— Как нет? Обманул, что ли?

— Да нет, они, конечно, жили там когда-то. А теперь — никого.

Перечитала я свой старый рассказ (да и не рассказ это, по большому счету, скорее — путевой очерк), припомнила наш разговор с Веревкиным и не нашла, в чем себя упрекнуть. Не дословно, конечно, но очень близко к тому передала я все, что он нам о себе рассказал. Разве что с интонацией слегка погрешила, хотелось мне представить его... более интеллигентным, что ли. Наверное, на самом деле он был проще, теперь уже и не вспомнить. Ведь стоит написать о чем-то — и дальше ты уже будешь помнить то, что написал, а не то, как было на самом деле. Впрочем, если я и погрешила против истины, изображая своего героя, то не слишком, речь его и правда была очень правильная, что называется, литературная, этим-то он меня и удивил. А еще тем, что хорошо знал историю могил и людей, покоящихся в них на Русском кладбище, рассказывал, как заправский экскурсовод, и более того — с любовью и гордостью.

В чем же он нас обманул?

Перечитываю присланные неизвестным корреспондентом документы.

*«Автобиография»<sup>3</sup>*

Я Веревкин Евгений родился в городе Лионе (Франция) в 1930 году.

Отец мой Веревкин Николай Семенович по национальности русский, уроженец станции Калниболочк. Кубанской области. В 1919 году в возрасте 17 лет будучи солдатом белой добровольческой эвакуирован за границу и с 1925 года до 1955 года проживал во Франции в городе Лионе. Моя мать Лонкан Бланш француженка, в 1930 году вышла замуж за моего отца, от этого брака я родился в 1930 году.

Со дня рождения и до репатриации моего отца в Советский Союз я жил с моими родителями.

С 1936 до 1950 я учился в начальной и средней школе в городе Лионе. В 1950 до 1951 г. я учился заочно на курсах подготовки в химический Институт. С 1951 до 1952 г. я учился в химическом институте города Лиона.

С 1952 до 1953 г. я учился на физико-математическом-химическом факультете города Лиона. С 1953 начинал учиться (неразб.) общая математика. Но в это же время ввиду крайне тяжелых материальных условий а также в связи с предстоящим переездом всей нашей семьи в Советский Союз был вынужден прекратить учебу и устроиться на работу.

Так как с 1950 г. я являлся советским подданным, то меня на работу в химическую промышленность не допускали. В 1954 г. в течение шести месяцев я учился на курсах мастеров по железо-бетонным конструкциям.

После окончания курсов я работал в качестве бетонщика на строительных площадках. В то же время я посещал вечерние чертежные курсы и типографические курсы.

Следует подчеркнуть, что во Франции в зависимости от способностей можно одновременно учиться в средней школе и в то же время состоять студентом консерватории независимо от имеющегося общего образования.

С 1949 я состоял членом французского республиканского союза молодежи.

С 1951 до 1955 г. я состоял членом французской коммунистической партии.

С 1946 до 1955 г. я состоял также членом общества «Франция — СССР» и членом союза советских патриотов гор. Лиона.

В 1955 г. 23 июня я со всей моей семьей: отцом, матерью, двумя братьями и их женами и детьми в качестве репатрианта выехал из Франции в город Алма-Ату, в Советский Союз на постоянное жительство.

Подпись — ВЕРЕВ...

При первом чтении больше всего уязвил меня в этом документе один, далеко не главный момент — почти правильно названное место рождения отца Веревкина —

3 Орфография и пунктуация автора сохранены.



«станция Калниболоцк. Кубанской области». Чего ж он тогда комедию ломал перед нами, удивлялся? А я, наивная, столько места этому уделила в рассказе! Потом, подумав, решила: да нет, он просто забыл все это. Полвека прошло! Возможно, тогда, в Алма-Ате, едва приехав и начав устраиваться, он писал автобиографию, — по крайней мере, то, что касалось данных об отце, — под его диктовку. Написал, да тут же и забыл.

Бог с ней, с Калниболотской. Тут другое открылось, чего я не знала и знать не могла, — репатриация! Это принципиально меняет дело.

Второй документ — «Анкета» — в основном повторяет автобиографию, но есть кое-какие дополнительные сведения. Так, в графе «образование», кроме колледжа и института в Лионе, назван и советский вуз — «*Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, инженер-строитель (специальность ПГС)*». В графе «отношение к воинской обязанности» собственноручно Веревкиным написано: «*военнообязанный. Звание — солдат. Род войск — ВУС 274*». Неужели ему пришлось служить в советской армии? В графе «семейное положение» значится: «*Жена — Тогмитова Люция Бато-Далиевна, 24 дек. 1930 г., Улан-Удэ (неразб.) библиотекарь*».

Вот такие документы.

Если верить им (а не верить оснований нет), отец Веревкина не только не умер перед войной, но и через десять лет после ее окончания, в 1955-м, был жив и здоров настолько, что смог поднять всю свою, как оказалось, большую семью (о братьях Веревкин в нашем разговоре не упоминал, и мне представлялось, что он — единственный сын своих родителей) и выехать с ней в СССР. «Может, это был уже не отец, а отчим?» — мелькнула спасительная мысль (очень уж не хотелось мне уличать своего героя в обмане), но никакого подтверждения ей не нашлось.

Выходит, и сам Веревкин не просто «съездил» однажды в Союз, чтобы найти себе жену, а какое-то время жил, работал и учился там, о чем вспоминать ему по каким-то причинам не хотелось. Что ж, его право.

А об обстоятельствах репатриации из Франции семьи Веревкиных можно только догадываться. К 1955 году, когда они выехали в СССР, репатриация, связанная с Великой Отечественной войной, в основном уже завершилась. По Ялтинскому договору из Европы возвращались в Союз военнопленные, оstarбайтеры и другие перемещенные лица (кто добровольно, а кто — насильно). Но Веревкины-то принадлежали к эмигрантам первой волны, жившим во Франции со времен не Великой Отечественной, а еще Гражданской войны.

Чтобы понять, как и почему они тоже стали репатриантами, судя по всему, добровольными, приведу здесь цитату (сокращенную) из книги Н. Кривошеиной «Четыре трети нашей жизни»<sup>4</sup>:

«...победы советской армии поразили умы, и многие считали, что это начало новой эры, что вот-вот будут и внутри страны перемены... И вот, на фоне этих чаяний, сомнений, споров и прений в парижской газете «Русские новости» 22 июня 1946 г. был опубликован «Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». Указ этот был подписан в Москве 14 июня 1946 года Шверником и Горкиным. Заявления об обмене паспорта можно было подать в посольство СССР во Франции вплоть до 1 ноября 1946 года.

Это было совсем неожиданно. Еще во время войны, в феврале 1945 года, группа видных эмигрантских деятелей была принята послом А.Е. Богомоловым, возглавлял группу В.А. Маклаков, были там два адмирала: Кедров и Вердеревский, известный общественный деятель А.С.Альперин и другие... Патриотические заявления были сделаны также Бердяевым...

Через неделю после опубликования (Указа) от 14 июня 1946 года мы... пошли в советское посольство... отдали там наши нансеновские паспорта и вскоре получили советские, дававшие право на проживание за границей... Говорят, во Франции око-

<sup>4</sup> Париж: ИМКА, 1984; М.: Русский путь, 1999.

ло 10000 русских эмигрантов тогда взяли советские паспорта; хорошо это или плохо, умно или непроходимо глупо? Теперь думается, что это была акция, нужная советской пропаганде...»

По сведениям исследователя этой темы В.Н. Земскова, на июнь 1948 года, кроме перемещенных во время войны лиц, в СССР репатриировались также около 107 тысяч человек, которые сами или их предки эмигрировали в разное время из царской России, а также в период Гражданской войны — из России советской. В это число вошли без малого 7 тысяч реэмигрантов из Франции<sup>5</sup>.

Это что касается послевоенной репатриации. Но она уже в гораздо меньших масштабах продолжалась и в 50-е годы. Новый всплеск ее пришелся, видимо, на период хрущевской оттепели. Вережкины выехали в 1955-м. Оказались, как ясно из документов, не на Дону, а в Казахстане.

«Справка

КазССР

Строительная контора

ХОЗУ Совета Министров Казахской ССР

28 июня 1957 г.

Дана настоящая ВЕРЕВКИНУ Евгению Николаевичу в том, что он действительно работает в Стройконторе ХОЗУ Совета Министров Каз. ССР в должности маляра.

Справка дана для предъявления в институт.

Начальник Стройконторы П. Калущкий»

Нетрудно понять, что все три присланных мне документа — автобиография, анкета и вот эта коротенькая справка — писались для предъявления в институт. Вережкин, как видно из этих документов, много учился, живя во Франции, и, приехав молодым еще человеком (25 лет) в Союз, видимо, пытался и здесь продолжить или заново начать свое образование. Справка из ХОЗУ похожа на ту, какие давали студентам-заочникам для подтверждения того, что они работают на производстве.

Удалось ли Вережкину закончить советский вуз? Где и кем он после этого работал? Оставался ли жить в Казахстане или сумел перебраться в Россию? Сколько лет длилась его советская одиссея, закончившаяся новой репатриацией, теперь уже на французскую родину? Неизвестно.

Можно лишь предположить, что ему совсем не понравилось в Союзе, в Казахстане, что он мечтал об ином и на иное рассчитывал, а встретил холодный и подозрительный прием. Теперь уже не узнать, воспользовался ли он первой же возможностью вернуться во Францию (репатриантам сохранялось двойное гражданство), или же, женившись то ли на казашке, то ли на бурятке, жил с ней какое-то время в Союзе и уехал, к примеру, только в семидесятые...

Мне почему-то представляется (возможно, я ошибаюсь), что родители его остались при этом в Союзе. А что стало с братьями, их женами и детьми?

Неизвестно. Знать бы тогда, на кладбище, расспросить бы...

Но может, этот таинственный Александр знает что-то еще?

## 2.

«Здравствуйте, Александр! Спасибо за письмо. Все это очень интересно, но, конечно, возникают вопросы. Во-первых, кто вы, где живете, чем занимаетесь и откуда у вас такие личные документы другого человека? (У меня есть на этот счет одна догадка, но хотелось бы ее проверить). Мы с мужем встречались с Вережкиным лет уже десять назад, именно при таких обстоятельствах, которые описаны в моем рассказе, и разговор наш с ним был именно таким. Неудивительно, что он не раскрыл перед нами — чужими, случайными людьми, которых он видел первый и последний раз в жизни (кстати, жив ли он сам сегодня?), все обстоятельства своей биографии

<sup>5</sup> «Репатриация перемещенных советских граждан». В сб. «Война и общество». М.: Наука, 2004.

(с чего бы, правда?). Мы на это и не претендовали, и рассказ я написала не о нем, а о русском кладбище и нашей мимолетной встрече. Теперь меня, конечно, интересует, что именно вы — как человек, видимо, более, чем мы, осведомленный, — считаете неверным в моем рассказе, то есть какие конкретно сведения о Веревкине неверны? Что они неполны — это ясно, но те, что изложены, в чем неверны? Я так понимаю, что он утаил от нас период своей жизни в Союзе и то, когда и почему он вернулся (с русской, или не совсем, судя по фамилии, русской женой) назад во Францию. Если вам это известно, будьте любезны пояснить — просто уже из «спортивного интереса».

И последнее: где вы прочли мой рассказ (в книге, в журнале, на сайте)? Буду ждать вашего письма. С уважением, С. Шишкова-Шипунова.

«Здравствуйте Светлана! Конечно, мне очень интересно было бы узнать вашу догадку, но это долго ждать. Итак: кто я — Александр Швец, смотритель русского кладбища в Ницце; откуда документы — после переезда Веревкина в муниципальное жилье мне пришлось убирать квартиру. На балконе нашел. Давно хотел вам послать, но, пока жив был Веревкин, не решался. Ну, а что неверно в рассказе — видно из документов, которые я вам прислал. Он создал миф о себе, как яркий антикоммунист, сын белогвардейского офицера — на самом деле, бывший член французского комсомола и французский коммунист. Да и отец его не офицер, а рядовой, и не работал на тяжелых работах, а пел и играл в маленьких ресторанах. Мне не хотелось, чтобы у вас создалось впечатление, что он меня чем-то обидел. Просто хотелось бы хотя бы у вас развеять миф о сыне «белогвардейского офицера», люто ненавидевшего большевиков. А миф этот гуляет в Интернете. А вернулся Веревкин, потому что вкусил прелести советской жизни. Рассказ ваш я нашел в Интернете. С уважением Александр».

«Здравствуйте, Александр! Догадка моя полностью подтвердилась. Я так и подумала, что такие старые и такие личные документы могли находиться только непосредственно в личных вещах самого Веревкина и при жизни его вряд ли могли быть кому-то постороннему доступны. Следовательно, самого его уже нет, а тот, кто занял его место и квартиру, нашел все это. Удивительным было для меня то обстоятельство, что этот «кто-то», то есть вы, оказался, к тому же, знаком с моим рассказом о Веревкине, даже подумала, что журнал или книга с этой публикацией тоже каким-то образом были в квартире среди его бумаг (может, думала, кто-то привез или переслал из России). Все это, повторяю, очень интересно, и я в любом случае признательна вам за то, что нашли меня и поделились этой информацией. Я даже подумываю теперь написать некое продолжение (или окончание) этого сюжета. И буду еще более благодарна вам, если вы мне поможете (раз уж начали) и ответите еще на несколько вопросов. 1. Когда примерно и почему Веревкин переехал в муниципальное жилье, то есть, как я понимаю, перестал быть смотрителем кладбища? 2. Известно ли, от чего и как умерли он и позже его жена? Где эта могила — там же, на Русском кладбище? 3. Общались ли вы лично с ним, говорили ли о его русских корнях и биографии? 4. Он что, был плохим человеком? Или обыкновенным? И, если позволите, еще вопрос касательно вас самого. Насколько я знаю, кладбище опекает православная церковь, и, видимо, там решают, кому быть смотрителем, из чего я могу заключить, что и вы — человек православный и воцерковленный. Родом-то вы из России или нет? Если да, то как оказались во Франции? Сколько вам лет? Есть ли у вас семья (русская или французская)? Как и почему вы стали смотрителем кладбища? На последние вопросы можете, конечно, и не отвечать, но все же мне и это очень интересно. Буду ждать вашего письма. Еще раз спасибо. С. Шишкова-Шипунова».

«Здравствуйте, Светлана! Я действительно занял место Веревкина, но не его квартиру. Он жил на втором этаже, а мне предоставили первый. Но убирать пришлось. Тогда и нашел документы. С вашим рассказом я познакомился, когда у меня появился Интернет, и я начал искать в нем все о нашем кладбище, была ссылка на ваши два рассказа. Мне понравилось, но, как вы уже знаете, возникли к вам вопросы. А теперь постараюсь ответить на ваши вопросы:

1. Вережкин переехал в муниципальное жилье в 2006 году, когда его наконец-то смогли выпроводить на пенсию. Ведь ему было 75 лет, и работать он уже не мог, но уходить не хотел. Возможно, вы не очень хорошо знаете, что такое муниципальное жилье. Лично ему с женой предоставили трехкомнатную квартиру, и плата гораздо меньше, чем если бы они снимали. Ведь на кладбище служебное жилье, и предоставляется тому, кто здесь работает. Ведь платят очень скромно, бесплатное жилье — это как прибавка к зарплате.

2. Я точно не знаю, от чего умер Вережкин, но, кажется, что-то сердечное. Уже когда я работал, Вережкины жили здесь более полугода, так он поднимался по кладбищу с тремя пересадками. Тяжело ему было. Чем болела его жена — не знаю, видел, что два раза в день к ней приезжал медик и делал уколы. Она пережила его на год. Похоронены они на нашем кладбище.

3. Конечно, мы с ним общались, когда он еще жил в нашем домике. Но не близко. В то время я не знал о нем то, что узнал в автобиографии и анкете. Он мне говорил, что поехал провожать отца на пароход, и тот буквально насильно его забрал с собой. Возможно, он хотел создать о себе миф антикоммуниста, который он развивал здесь. О своих корнях не говорил, упоминал, что отец играл в ресторанах, то ли на балалайке, то ли на гармошке.

4. О том, каким он был человеком, мне трудно судить. Мы с ним мало были знакомы, да и недолго. А слухов много не очень хороших, но я их передавать не буду. Ведь это слухи. А, как вы убедились, я пользуюсь только фактами. Что касается меня: родом я из СССР, родился на юге Одесской области, институт окончил в Одессе. 15 лет проработал в Якутии, потом с семьей вернулись на Украину, а в это время и Союз развалился. Когда совсем невозможно стало жить на Украине, уехали во Францию, но это уже другая история. Жена три года назад умерла, сын с семьей в Париже. Мне 61 год. Смотрителем стал, так как с моим знанием языка на другое не способен. Александр Швец.

P.S. (к фото): Вережкин Евгений 14.10.1930 — 5.12.2007, Вережкина Люся, урожденная Тогмитова 24.12.1930 — 10.02.2009».

К этому письму был вложен файл — фотография могилы Вережкиных. На старой надгробной плите из некогда белого, но сильно почерневшего мрамора полустертые, но вполне еще читаемые надписи: «...Воронина...1936», ниже — «...Томпофильская... 1951». Небольшая прямоугольная плита с надписью «VERIOVKINE» поставлена сверху, в изголовье.

«Уважаемый Александр! Простите, что не сразу отвечаю на ваше последнее письмо. Пасхальная неделя. Спасибо за дополнительные сведения о Вережкине и о вас самом. Вообще, чем больше новой информации, тем больше новых вопросов возникает. Их похоронили в чужую старую могилу? Там на плите другие имена. Если я действительно напишу какое-то послесловие к своему старому рассказу, вы не будете возражать против использования ваших писем (разумеется, без всяких изменений)? Еще раз спасибо за ваши сведения, желаю вам всего самого доброго! Светлана».

«Уважаемая Светлана! На нашем кладбище нет свободного места для новых захоронений. Да вы и сами, наверно, помните. Поэтому хоронят в другие могилы, где есть место. В некоторых могилах 10—12 похороненных. В могиле, где похоронены Вережкины, — семь человек, а моя жена — одиннадцатая в своей могиле. Раньше на нашем кладбище можно было купить либо целую могилу, что было дорого, либо место в могиле. Из-за этого много похороненных в одной могиле. Конечно, можете использовать все, что я вам присылал. У меня к вам просьба. Моя мама (в девичестве Медведева) родилась на хуторе Холодная Балка, Кушевского р-на, Краснодарского края. Можно об этом что-то узнать? Александр Швец».

Не странно ли? У обоих смотрителей Русского кладбища в Ницце — и у бывшего, Вережкина, и у нынешнего, Швца, корни — кубанские.

Я попросила Александра уточнить, что именно хотел бы он узнать о своей матушке — подтвердить факт рождения именно там, или что-то другое, например, жив ли еще кто-то из ее родственников... Чтобы найти все эти сведения, надо как мини-

мум знать имя-отчество и точную дату рождения. Но Александр больше не написал мне. Уж не знаю, почему.

Я тоже не стала больше писать и расспрашивать его о Веревкине, вряд ли он знает что-то еще.

### 3.

Зачем он вообще это сделал, какие чувства и намерения им двигали? Позавидовал, что ли, своему предшественнику? О Веревкине действительно писали многие из тех, кому довелось побывать на Русском кладбище Ниццы. Некоторые, как, например, Л. Черкашина, весьма восторженно:

«Его, простого кладбищенского сторожа, называют великим подвижником. Этот удивительный человек, самобытный философ, посвятил свою жизнь служению русской культуре. Ему, сыну офицера-деникинца и француженки, рожденному во Франции, суждено было стать проводником между двумя великими культурами — русской и французской»<sup>6</sup>.

Швец, заняв место Веревкина и начитавшись в Интернете восторженных отзывов о своем предшественнике, мог испытать что-то вроде... нет, не зависти, но — ревности. Между русскими эмигрантами первой волны и теми, кто уехал из России позже, всегда существовала эта ревность. Что уж говорить о последней волне — бежавших в 90-е из развалившегося Союза. Их эмигрантский статус не идет ни в какое сравнение со статусом белоэмигрантов, которых почти уже не осталось, и статусом их потомков, рожденных за границей.

Новый смотритель Русского кладбища Швец не мог похвастаться биографией, какая была у Веревкина. Его советское прошлое явно проигрывало (прежде всего в его собственных глазах) биографии предшественника. Может, поэтому пришла ему мысль по смерти Веревкина «развенчать миф» о нем?

Но что, собственно, развенчивают присланные им документы?

Что отец Веревкина был не офицером, а рядовым? Но нам, например, он этого и не говорил, и в рассказе моем этого нет. Другие авторы (та же Л. Черкашина) действительно называли его «сыном белого офицера», возможно, находясь в плену стереотипов. Вот и Швец, сообщая, что Веревкин-старший играл в ресторанах «то ли на балалайке, то ли на гармошке», вероятно, полагает, что белый офицер должен был играть на более благородных инструментах — рояле или скрипке. На самом деле это, конечно, не так. Из многочисленных мемуаров русских эмигрантов мы знаем: заниматься им приходилось всем чем угодно — работать швейцарами, таксистами, уборщиками... Веревкин-старший мог в молодые годы работать в каменоломнях, а на старости лет играть в ресторанах. Что это доказывает?

А сам Евгений Николаевич Веревкин разве не мог в годы своей молодости, на волне распространившейся тогда среди русских эмигрантов эйфории по отношению к родине, быть искренним приверженцем СССР и даже состоять во французской компартии, а в старости, уже имея за плечами личный опыт жизни в Союзе, изменить убеждения? Мог, конечно.

Но стал ли он «ярым антикоммунистом»? Сомневаюсь. Во всяком случае, никаких таких суждений мы от него не слышали, да и Швец их не приводит, получается голословно.

Веревкин показался мне довольно сдержанным и, как я теперь понимаю, скрытным человеком. Люди этого поколения вообще многое в своей жизни вынуждены были скрывать, в том числе и взгляды.

С другой стороны, у Веревкина наверняка были свои претензии к Шведу. Вряд ли он обрадовался появлению на «своей» территории чужака, которого к тому же привела сюда не любовь к «отеческим гробам», а всего лишь невозможность с его

6 «Русская Ницца». <http://ricolor.org/europe/frantzia/fr/rus/niz/>

знанием языка устроиться на другое место. Думаю, встретил он его неприветливо, да и потом, сколько довелось им жить рядом, не особо привечал.

Так они и жили — два русских человека, соотечественника, почти земляка, по возрасту — как отец и сын, но — чужие, совсем чужие. Обоюдная ревность, взаимная обида, недоверие друг к другу... Что там еще могло быть между ними? И вот один умирает, а другой достает давно найденные, но припрятанные бумаги и решает вывести «соседа» на чистую воду. Это очень по-советски.

А не все ли теперь равно, кем он был на самом деле? Нам ли его судить?

И все-таки я благодарна Александру Швецу. От него я узнала, как закончил свои дни герой моего рассказа Вережкин, где он похоронен.

И, думая теперь о его уже завершившейся жизни, я удивляюсь тому, с какой неизбежностью, после всех перипетий, судьба все-таки привела его к своим, к русским, на одно из православных кладбищ Франции, где с царских времен покоятся выдающиеся наши соотечественники, куда, как в места паломничества, идут приезжающие в Ниццу россияне.

Все последние годы жизни Вережкина прошли в заботе о русских могилах (он делал это добросовестно) и — поневоле — в общении с русскими посетителями кладбища. Лишенный этих забот и этого общения, через год он умер. И упокоился (вполне заслуженно) на том самом Русском кладбище, которое много лет ревностно охранял.

...Так же ли будет радеть о нем новый смотритель? Дай-то Бог.

Константин Фрумкин

## Цивилизации нужен другой человек?

Спрос определяет предложение — эта грубая рыночная мудрость во многом относится и к научному прогрессу. Конечно, без научных открытий развитие немислимо, но не меньшее значение имеют потребности и интересы, определяющие направление движения цивилизации. Если общество ощущает настоящую потребность в определенных научно-технических преобразованиях, то именно в этой сфере концентрируются и инвестиции, и усилия ученых. Напротив, там, где не существует социального заказа, научные открытия остаются невостребованными, и самих открытий становится меньше.

Весь XX век человечество мечтало об освоении космоса, о полетах людей к другим планетам, о создании инопланетных колоний и городов, о межзвездных перелетах. Между тем, действительные космические достижения на фоне игры воображения выглядели убогими: у правительств планеты просто не оказалось достаточных мотивов выделять на амбициозные космические проекты еще больше денег.

Сейчас примерно такой же «космический» прогностический энтузиазм окружает сферу биотехнологий. Реальные достижения ее не очень велики. Конечно, мы видим важные научные открытия, которые обещают многое, — но кто может сказать, когда, как и в какой степени будут выполнены эти обещания?

Но, не дожидаясь, пока наука подарит нам чудеса, фантасты и футурологи уже рисуют картину того, какими именно будут эти чудеса: преобразования человеческого тела; синтез человеческого тела и с компьютером, вживление в человека компьютерных чипов, «чипизация» мозга — и так далее, и тому подобное.

### В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ

В России вокруг ожидания биотехнологического прогресса возникло целое общественное движение. Например, известностью пользуется Российское трансгуманистическое движение (РТД), занимающееся изучением возможностей технологических изменений человеческого тела, желательно — для достижения бессмертия. Более того, трансгуманисты пытаются перейти от теории к практике и занимаются крионикой — замораживанием мертвых тел в надежде, что в будущем появится возможность их оживить, для чего учредителями движения создана специальная компания «Криорус».

В тесном контакте с РТД действует Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и научному иммортализму — ежемесячно он собирается, чтобы заслушать доклады о том, какие еще достижения сделало человечество на пути к бессмертию и замене мозга наноконピューтерами.

Наряду с термином «трансгуманизм» имеет хождение введенный философом Владимиром Кишинцом термин «поствитализм» — означающий, что после биологической жизни на земле появится некая другая жизнь, техногенная.

**Об авторе** | Константин Григорьевич Фрумкин, 1970 г. р., окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Журналист, культуролог, кандидат наук. Постоянный автор «Знамени».

Пропаганда трансгуманистов и поствиталистов имеет явный успех: такая, казалось бы, далекая от научной фантастики организация, как Ассоциация адвокатов России за права человека, вдруг стала говорить о праве человека быть крионированным для реализации его «права на жизнь». Подпавший под влияние трансгуманистов известный фантаст Юрий Никитин вдруг забросил писать приносявшие ему успех фэнтези и начал писать романы о людях, достигших преобразования личности с помощью биоактивных добавок и других техногенных средств. Определенную известность получил его роман «Трансчеловек».

Самое удивительное — в России даже появились предприниматели, пытающиеся приблизить обещанное наукой бессмертие и преобразование телесности. Например, костромской бизнесмен Михаил Батин, создавший фонд «Наука за продление жизни». Бывший топ-менеджер РАО «ЕЭС России» Александр Чикунов создал группу «Росток», которая финансирует, опять же, проекты по продлению жизни — иногда вполне фантастические, например «Таблетку против старости».

Но самый громкий проект такого рода — «Движение 2045», созданное медиапредпринимателем Дмитрием Ицковым и пытающееся объединить научные силы для конструирования искусственного тела, куда можно будет пересадить сначала мозг человека, а на следующем этапе — и отделенное от грешной плоти сознание. В рамках движения учреждается «Корпорация «Бессмертие» — название заимствовано у американского фантаста Роберта Шекли. Трансгуманистическое движение, со своей стороны, пытается предложить руководству страны Концепцию увеличения продолжительности жизни до 150 лет к 2030 году.

### **ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ**

Итак, многие умные люди всерьез ожидают, что наука превратит нас в предсказанных научной фантастикой киборгов. Эти ожидания — факт уже не науки, но нашей культуры и нашего общественного сознания. Однако у многих не охваченных биотехнологическим энтузиазмом здравомыслящих людей возникает вопрос: даже если бы это все было возможно — зачем все это нужно? Ведь далеко не всегда человечество реализует предоставляемые ему наукой и техникой возможности просто потому, что эти возможности есть. Кроме возможностей, нужны еще и потребности, и особенно в том случае, если реализация возможностей — вещь дорогостоящая.

Следовательно, размышляя о том, смогут ли биотехнологии радикально изменить человеческую природу, надо думать не только о том, до каких вершин смогут добраться наука и технология, но и о том, насколько остро стоит потребность в преобразованиях нашей телесности — и прежде всего общественная потребность.

И эта потребность действительно ощущается. Трудно сказать, насколько она реальна, насколько она способна двинуть вперед технический прогресс, но ощущение этой потребности — опять же несомненный факт культуры и общественно-го сознания. Может быть, многочисленные «трансгуманисты» и «поствиталисты» именно потому с таким восторгом встречают зарю «постчеловеческой» эры, что они, осознанно или бессознательно, чувствуют, что без серьезного подкрепления своей телесности с помощью технологий они рискуют оказаться лишними в собственной цивилизации. Человек не уверен в себе, он дезориентирован требованиями современности — и поэтому хочет стать техногенным «сверх-» («транс-», «пост-») человеком.

Человеческая цивилизация достигла такого уровня сложности, что человек не справляется с функциями, выполнения которых ожидает от него общество. Человек перестает быть исправным винтиком общественного механизма. У человека складывается впечатление, что он устарел для созданного им же общества. «Человеческий материал» задерживает развитие политических и экономических институтов, делает общественные процессы менее эффективными и управляемыми, порождает «заторы» и дезорганизацию информационных потоков и тормозит развитие некоторых областей техники.



В XX веке, в период между двумя мировыми войнами, появилось эссе философа Эрнста Юнгера «Рабочий», в котором было возведено о появлении нового человека, приспособленного к экстремальным ситуациям и войны, и новейшей тяжелой промышленности. Юнгер был известным «романтиком» войны, он был восхищен современным сражением, на котором сплелись жуткая мощь взрывчатых веществ и машин, — и при этом он обратил внимание, что обстановка на современном промышленном предприятии, где гремят машины, бушует пламя, льется раскаленный металл и летят искры очень напоминает обстановку боя, и вот образ воина, привычного к сражению, и образ рабочего, привычного к пылающей мартеновской печи, вместе породили ожидания некой антропологической реформации. Ожидания Юнгера оказались преждевременными, общий тренд развития промышленности был направлен скорее на повышение комфорта труда, война и сражения так и не стали источниками антропологических норм, обожженные войной солдаты порою оказывались изгоями в собственных странах — но, тем не менее, Юнгер описал очень точно ситуацию, когда человеческая цивилизация делает самого человека устаревшим, неадекватным и требует появления нового субъекта, с телесностью, более отвечающей возросшим нагрузкам.

Ситуацию эту можно было бы назвать «автохтонным антропологическим кризисом». Автохтонным в том смысле, что он возник без всякого падения метеорита, без всяких внешних катастроф — а просто собственное развитие человеческого вида стало вызовом, потребовавшим его видоизменения.

Но, прежде чем говорить о теле, поговорим о мозге.

### **БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ**

Начнем с самого простого — с политики.

Теория (да порою и практика) демократии предоставляет множество способов вовлечения людей в управление. Если прибавить к ним всевозможные методы прямой демократии с использованием Интернета — например, те, что пропагандирует социолог Игорь Эйдеман, автор книги «Интернет-революция», — то существует множество технических решений, как гражданину участвовать в управлении. Примером того, как Интернет может преобразовывать демократию, служит введенная в Великобритании система электронных петиций: петиция, набравшая подписи ста тысяч интернет-пользователей, автоматически выносятся на обсуждение в парламенте.

Разумеется, олигархии противостоят массы, но куда важнее другая проблема: возможности, таящиеся в демократических структурах, самими людьми не используются, поскольку у людей нет интереса, нет «драйва», им мешают всевозможные установки и предрассудки, у них нет времени разбираться во всех вопросах «повестки дня», они заняты другим, они хотели бы, чтобы государство работало само и не беспокоило их, они не хотят тратить нервы на вопросы, не влекущие непосредственной отдачи, и т.п. Получается, что, так же как и во многих технических системах, в политических структурах человек является «самым слабым звеном». Человеческая психика мешает раскрыться потенциалу демократии. «Политическая апатия — одна из центральных проблем современности, — пишет футуролог Ричард Уотсон. — Здесь есть большая доля нашей вины. Среднестатистического избирателя в настоящее время мало интересуют крупные общенациональные проблемы. Он по уши в долгах и полностью поглощен собственными материальными проблемами»<sup>1</sup>.

Социолог Ханна Арендт, разбирая проблемы, с которыми столкнулись республиканцы эпохи Французской революции, отмечает, что «постоянный тяжелый труд и недостаток досуга автоматически исключали большинство населения из активно-

<sup>1</sup> Уотсон Р. Файлы будущего: История следующих 50 лет. М., 2011. С. 73.

го участия в управлении»<sup>2</sup>. Однако то же самое относится не только к беднякам прошлых веков, но и к представителям современного среднего класса. Хотя их труд вроде бы и не так тяжел, как у каменщиков и ткачей во времена Робеспьера, но он так же навязчив, так же требует привлечения к себе всего человеческого внимания и зачастую так же лишает досуга.

Ввиду всего этого возникает политическая мотивировка для «поствитализма» и «трансгуманизма» — для технических преобразований высшей нервной системы. То есть необходимо усилить (если не заменить) мозг компьютерными чипами, чтобы он не отдыхал, а чтобы — может быть, по принципу «облачных» и «параллельных» вычислений — все время работал, разбираясь в вопросах государственного управления, ежедневно и ежечасно отдавая свой голос на опросах, референдумах, выборах и массовых дискуссиях. Иной человек захотел бы, чтобы его мозговой чип это делал сам собой, не тревожа его сознание. Но если так, то чип, то есть по сути персональный компьютер, присвоит себе права гражданина. Так или иначе, современный человек должен быть не только обывателем, но и гражданином, не только занимаясь личными делами, но и через всевозможные механизмы демократии участвуя в управлении. Чтобы делать это хорошо, он должен обладать умом, способным на широкий охват информации, а лучше «параллельно» думая и о своих личных делах, и о текущих вопросах общественной жизни — то есть наше сознание нуждается, чтобы его научили эффективному параллельному мышлению сразу в нескольких сферах.

### **НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИКА**

При этом речь идет не только о политике, но и, говоря шире, об участии человека в общественных делах. Интернет создает массу подобных возможностей. Например, предполагается, что все товары и услуги, курорты и рестораны, банки и страховые компании будут на специальных сайтах рейтинговаться и оцениваться клиентами, специальные сайты будут аккумулировать отзывы потребителей о фирмах и их услугах, и таким образом потребление станет более безопасным.

Футурологи уже планируют, что масса общественных дел будет решаться благодаря спонтанной активности, инициативе снизу, объединенной и организованной благодаря всевозможным социальным сетям. В частности, возникли понятия «краудсорсинг» — система работы неопределенного круга многочисленных добровольцев в обсуждении и решении какой-либо проблемы — и «краудфандинг» — совместное финансирование интернет-пользователями новых бизнес-проектов.

Энтузиазм по поводу новых общественных отношений такого рода выразил английский научный журналист Мэтт Ридли, в книге которого «Рационально мыслящий оптимист» можно прочесть: «Инициатива снизу, формирующая все мироустройство, — основополагающая тенденция нашего века. Врачам придется адаптироваться к тому факту, что пациенты хорошо информированы, сами собирают информацию о своих болезнях. Журналисты должны подладиться под читателей, которые сами формируют новостную ленту. Телекомпании приучаются к ситуации, когда право отбирать артистов перепоручат зрителям. Инженеры ищут решение задач всем своим сообществом. Производители откликаются на запросы потребителя, которому нужен товар с особым набором характеристик. Генная инженерия будет развиваться по принципу «открытого кода»: выбирать комбинацию генов станут отдельные люди, а не корпорации. Политики все больше напоминают щепки, дрейфующие по волнам общественного мнения. Диктаторы обнаруживают, что граждане их стран могут организовывать восстания посредством СМС»<sup>3</sup>.

2 Арндт Х. О революции. М., 2011. С. 88.

3 Ридли М. Каталлаксия: Рациональный оптимизм в 2100 году // The Prime Russian Magazine, 2011, № 5 (8). С. 51.

Однако, чтобы участвовать во всевозможных общественных делах путем интернет-опросов, интернет-голосования, рейтингования, оставления отзывов, участия в сетях, в краудсорсинге и краундфандинге, — нужны время и желание. А ни того, ни другого у современного человека нет. Можно сказать, что современный гражданин нуждается в «двухпроцессорном» мозге: чтобы одна его «субличность» занималась его личными делами, а вторая принимала активное участие в общественных делах — начиная с заседаний домового комитета и товарищества собственников жилья.

### СОЗНАВАЯ СВОЮ ГЛУПОСТЬ

Впрочем, недостаточно того, чтобы человеку хватило времени и желания заниматься общественными вопросами. Нужно, чтобы человек в них более или менее адекватно разобрался — ну хотя бы настолько адекватно, насколько позволяют интеллектуальные ресурсы общества, в котором он живет. Между тем, в современной жизни, как общественной, так и частной, человек сталкивается со столь сложными проблемами, что не может их адекватно обдумывать и обсуждать.

Выражением недостаточности человеческого разума является недостаточность человеческого языка и, говоря шире, дискурса. Человек сталкивается с реальностями такой сложности, что у него нет инструмента адекватного и, главное, функционального их описания. Конечно, жизнь была сложной всегда. Но не всегда в распряжении общества были столь развитые интеллектуальные инструменты для описания этой сложности — такие, как современная наука. Беда лишь в том, что наука — удел избранных, а разобраться в реальности должен каждый рядовой избиратель, а то и каждый рядовой потребитель.

Неадекватность используемого человеком языка описания мира является следствием не столько сложности этого мира, сколько именно достигнутого в современном обществе уровня понимания этой сложности. Вполне возможно представить себе счастливое в своей наивности состояние первобытного человечества, когда окружающая природа описывалась с помощью антропоморфных мифологических образов, и это не порождало никакого «вызова» и «кризиса». Но сегодня человеческая мысль наработала большое количество высокоизолированных интеллектуальных моделирующих систем, которые становятся попросту непереводаемыми на другие «языки» и «дискурсы» и лишь порождают критическое отношение к любым политическим высказываниям и практическим действиям: «по большому счету» всегда оказывается, что высказывание неточно, и действие совершено наобум. В любом обсуждении, проводимом за пределами узкопрофессиональных сообществ специалистов, люди вынуждены «недопустимо» упрощать вопросы, превращая в простейшие цепочки причинно-следственных связей, в бинарные оценки типа «хорошо — плохо» те реальности, для которых подходят лишь сложные многофакторные модели и каскады вероятностных оценок.

И проблема не в том, что человек недостаточно умен, — проблема в том, что он знает об этом недостатке. Человеческая культура располагает мерилami — например, наукой, — которые позволяют оценивать большинство «практических» и «политических» высказываний как недопустимо упрощающие. Иными словами, человечество уже в упор видит недостаточность свойственного людям интеллекта. Вследствие этой недостаточности люди не могут обсуждать жизненно важные для них вопросы на том уровне, на каком, как они же сами знают, должны его обсуждать. Человек нуждается в интеллекте, который бы, например, мог обсуждать действия правительства через сотни и тысячи взаимосвязанных параметров, причем, обсуждая каждый параметр отдельно, обсуждать их все вместе и с той легкостью, с какой сегодня на предвыборных дискуссиях обсуждают «интегральный» вопрос — честно ли и компетентно ли наше правительство.

«Обесмысленные, электронноуправляемые математические мыслительные процессы дали политической экономии иллюзорную возможность преобразовывать

общественные отношения посредством вычислительных абстракций. Они создали отрезанный от животного опытного знания, недоступный чувствам системный мир. Человек в нем предстает устарелым, не отвечающим новейшим требованиям, неприкаянным существом. Ему требуются химические и электронные протезы, чтобы справиться с технической окружающей средой. Проекты искусственного интеллекта и искусственной жизни направлены на преодоление биологической ограниченности человека. Первопроходцы искусственного интеллекта — Минский, Моравек, Курцвейль, де Гарис — не скрывают своего презрения к человеческой «Плотской машине». Природа, считают они, наделила вид «человек» способностью отказываться от самого себя в пользу постбиологических форм жизни и разума, и даже с помощью компьютерной обработки раствориться в космосе в виде бессмертного духа» — не без иронии писал французский философ Андре Горц<sup>4</sup>. Но ирония здесь неуместна — проблема действительно серьезная. Человеческая мысль достаточно выросла, чтобы поставить проблему адекватности понимания окружающей реальности, но у человеческой плоти нет средств, чтобы эту проблему решить. Таким образом, человечество само себе делает вызов — или, если угодно, сложность социальной системы делает вызов сложности мозга индивида.

### **СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ**

Одна из составляющих этого вызова — потребность в многозадачности. Современный человек вынужден постоянно делать несколько дел, и самый классический пример этого — когда любая работа прерывается телефонными звонками, проверкой электронной почты или разговорами по ICQ. Прекрасно сказал о нынешнем состоянии цивилизации английский писатель и специалист по информатике Майкл Фоли: «Образы времени: потная и растрепанная фигура на тренажере — бежит изо всех сил, чтобы оставаться на месте, при этом смотрит на большом экране открытый чемпионат Франции по теннису, а в наушниках звучит рок-группа... Женщина в кресле у парикмахера пролистывает фотографии со свадьбы знаменитостей в журнале «Hello!», покуда ей моют волосы и одновременно делают массаж головы, одной ухом она прислушивается к болтовне радиодиджея, в другое вливается печальная повесть парикмахерши... Молодой человек раскинулся на диване, попивая водку с «ред булл», он смотрит жесткое порно, пока ему энергично отсасывает коленопреклоненная блондинка. Всякий, кто не пытается делать три дела одновременно, не живет полной жизнью, не извлекает никакой пользы из века синхронных множественных отвлечений и перманентных множественных связей: мир мультизадачности, гиперссылок — всепроникающего мира Интернета»<sup>5</sup>.

К сожалению, как показывают последние исследования, мультизадачность вовсе не способствует росту эффективности и производительности человека — совсем наоборот. Об этом, например, свидетельствует американский писатель и ученый Николас Карр, в течение трех лет проводивший исследования для написания книги «Отмени: как Интернет меняет принципы нашего мышления, чтения и памяти». В ней он приходит к выводу, что люди, постоянно отвлекаемые электронными письмами, мгновенными сообщениями и обновлениями, понимают меньше, чем те, кто способен сконцентрироваться. Люди, которые привыкли заниматься одновременно множеством задач, часто гораздо менее творческие и менее продуктивны, чем те, кто занимается только одним делом за раз.

И другие психологи также приходят к выводу, что те, кто вроде бы умеет легко заниматься сразу несколькими делами, делает их в итоге медленнее, чем те, кто по старинке делает все по очереди. Говорят, что этому есть нейрофизиологическое объяснение: наше сознание является «узким горлом» для информационных пото-

4 Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. М., 2010. С. 15—16.

5 Фоли М. Век абсурда: Почему в современной жизни трудно быть счастливым. М., 2011. С. 111—112.

ков, мозг, точнее, его кора, может сознательно заниматься в каждый данный момент только одним объектом. «Мы настолько заняты наблюдением за калейдоскопическим разнообразием, которое нас окружает, и одновременно решением множества разных задач и вопросов, что, по сути, не способны ни на чем по-настоящему сосредоточиться. Из-за этого на самые простые задачи уходят подчас целые часы» — подводит итог подобным исследованиям Ричард Уотсон<sup>6</sup>.

На первый взгляд это означает, что мы должны отказаться от мультизадачности — отключить электронную почту, выкинуть мобильный телефон... К сожалению, у людей часто просто нет выхода. Люди отвлекаются не только потому, что им так нравится, а потому, что их отвлекают.

Если человек откажется от интенсивных коммуникаций с внешним миром, он все равно окажется неполноценным элементом социальной системы — хотя это будет и неполноценность другого рода. Служащий, который не отвечает в течение рабочего дня на телефонные звонки и не проверяет электронную почту, так же не подходит современному миру, как и тот, кто тормозит работу из-за того, что занимается тремя делами сразу. И, кажется, он не подходит в еще большей степени.

Возникает неразрешимая дилемма. Современный человек, разумеется, не может себе позволить, чтобы мультизадачность снижала его эффективность. Но он одновременно не может выпадать из постоянной коммуникации с внешним миром. От мультизадачности никуда не деться — современный работник одновременно занимается «несколькими проектами», он получает множество разнообразной информации из разных каналов, он имеет дело с многогранными задачами. Таким образом, мозг человека не подходит для мира мультизадачности, в котором мы все вынуждены жить. Он должен превратиться в более многозадачный.

### **ВНИМАНИЕ КАК ДЕФИЦИТНЫЙ РЕСУРС**

Если человек недостаточно эффективен в насильственно навязанных ему ситуациях мультизадачности — если, например, он не может совмещать интерес к своим личным и общественным проблемам и не может вникать в стоящие перед ним сложные вопросы достаточно глубоко, — это значит, что он оказывается не способным уделять должное внимание тем реалиям, к которым подводит его современная жизнь. Ключевое слово здесь — «внимание». Важнейшим ресурсом в современном обществе становится человеческое внимание.

В условиях избыточного информационного шума, страшной конкуренции раздражителей и источников информации успеха может достичь только тот, кто привлечет к себе внимание — покупателей, избирателей, инвесторов, должностных лиц, политиков, членов экзаменационной комиссии, жюри конкурса, экспертного сообщества, прессы, и т.д. и т.п. За внимание конкурируют не только политики, корпорации, но и такие безличные сущности, как «темы» и «сегменты культуры», экология конкурирует за внимание с кинематографом, забота о низкокалорийном питании конкурирует за него же с заботой о выборе высокотехнологичных гаджетов.

Важнейшей задачей всех, кто нуждается в привлечении внимания, становится уже не столько повышение качества своих предложений и проектов, сколько оперирование специальными раздражителями, рассчитанными на привлечение внимания любой ценой и не имеющими отношения к истинной ценности предлагаемого. Во всех областях и на всех уровнях социальной жизни царит вакханалия рекламы, когда внешняя яркость важнее внутреннего содержания, когда достоинства любой вещи настолько возможно фальсифицируются или сенсационно преувеличиваются. Те, кто выбирает предлагаемое: товары, проекты, кандидатуры, идеи, книги, темы для размышления, — вполне принимают эту ситуацию и даже не пытаются оценить любое предложение по достоинству, ограничиваясь только теми, кто в условиях

жесткой конкуренции попал в зону их внимания, ограничиваясь краткими резюме вместо полного текста, и т.д. и т.п.

Пока объемы человеческого сознания остаются столь неуместительными по сравнению с мощностью обрушивающихся на каждого индивида информационных потоков, человек не может прорваться сквозь рекламу к смыслу предлагаемой информации. По сути, несопоставимость объемов циркулирующей информации и возможностей индивидуального мозга приводит к тому, что в обществе прерывается коммуникация — поскольку один человек не способен услышать то, что говорит ему другой человек. Неспособен отчасти потому, что собеседник, оттесняемый конкурентами и заглушаемый всеобщим информационным шумом, просто не может прорваться в поле внимания слушателя, отчасти же из-за того, что, даже и прорвавшись к уху слушателя, он обязан сделать не то сообщение, которое он хотел бы, а лишь его краткую и предельно искаженную законами рекламы «аннотацию».

Теоретически «отправляемое» и «принимаемое» послание — одно и то же, но ситуацию избыточной конкуренции источников информации порождает острый конфликт между интересами отправителей и реципиентов. Говоря проще, отправитель заинтересован в том, чтобы сделать послание более длинным и скучным, чем в этом нуждается получатель. Приспосабливаясь к вкусам получателя, отправители любых посланий вкладывают в свои сообщения не то содержание, которое они исходно хотят сообщить. Конкуренция в буквальной степени затыкает рот всем без исключения говорящим, заставляя вкладывать в свои сообщения не то, что они хотят сообщить, а то, что может выжить и дойти до адресата в агрессивной, высококонкурентной и шумной среде.

Передается не сама идея, а мысль о ценности этой идеи. То есть — послание в корне меняется. Я заинтересован передавать идею, а вместо этого генерирую и посылаю сообщения о ценности моей идеи, т.е. рекламу. Меняется моя «профессия» как источника информации. И «реципиенты» читают большую часть времени не саму содержательную информацию, а многочисленные рекламы, аннотации и заголовки — то есть подвергаются уговорам прочесть нечто, но на само чтение времени уже нет.

Решить эту проблему, восстановить межчеловеческую коммуникацию и сделать человека более адекватным мощи циркулирующих в обществе информационных потоков возможно, только искусственно увеличив мощность, скорость и вместимость человеческого мозга. Резонно сказал Хуан Энрике — футуролог, директор компании «Biotechnomu» (цитирую с интернет-ресурса): «Колоссальное количество информации, которая появляется сегодня, изменит наш мозг. Ему нужно будет подстраиваться к новым условиям, чтобы обрабатывать в тысячи раз больший объем знаний, чем в прежние века — и уметь немедленно забывать все лишнее». Вопрос только в том, достаточно ли для этого использовать потенциал природного мозга — или его надо совершенствовать техническими средствами».

### **УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО?**

Отдельный круг проблем современного общества связан с гибкостью и обучаемостью людей. Примерно до второй половины XX века западная цивилизация в течение многих веков отработывала классическую формулу взаимоотношений обучения и труда в человеческой биографии: сначала человек получал образование, в детстве и юности он обучался у наставников и в школах различного уровня, а затем оставшуюся жизнь использовал полученные знания и навыки. Эта формула имела то несомненное преимущество, что она идеально соответствовала динамике физиологических способностей человека к обучению. В развитии человеческого организма с некоторыми оговорками действует известная закономерность: чем моложе особь — тем выше ее обучаемость. Поэтому получение образования именно в молодости было обосновано не только с точки зрения житейской логики, но и физиологически.

Однако теперь человечество вошло в фазу, когда обучение перестает быть делом исключительно юности. Переквалификация, повышение квалификации, обу-

чение последним достижениям в своей профессии становится обязательным компонентом существования любого специалиста. Однако хотя старость можно отодвинуть и замедлить, наступление ее неумолимо, и чем старше человек, тем ниже его обучаемость.

Таким образом, мы вступаем в мир, где физиологическая динамика способностей к обучению не соответствует реальному графику учебных нагрузок: во второй половине человеческой жизни обучаемость падает, а потребность в переобучении растет.

При этом темпы развития профессий ускоряются, а это означает, что во все большей степени необходимость учиться ложится на зрелых и немолодых людей. Если физиология не позволяет профессионалу в старости быть прилежным и быстро схватывающим новый материал учеником, он рискует потерять квалификацию, что, как мы знаем, к старости случалось с высококвалифицированными специалистами. Целые профессиональные сообщества рискуют оказаться неадекватными — особенно если принять во внимание тот факт, что именно немолодые, сделавшие карьеру профессионалы занимают высшие посты и несут наибольшую ответственность.

Значит, деградации профессий и профессионалов может помешать только нахождение способа повысить обучаемость человека в немолодом возрасте.

Проблема обучаемости — лишь частный случай более общей проблемы, которую можно было бы назвать «императив повышения гибкости мышления». Наш мир становится все более скоростным и изменчивым. То, что вчера приносило успех, сегодня морально стареет и требует замены на новое. От руководителей корпораций и государств, как, впрочем, и всех людей, все более требуется широта мышления, умение в любой момент отказаться от стереотипов — сколь бы эффективным ни было стереотипное поведение в недавнем прошлом. Однако чем больше человеческий возраст — тем более ригидным и неповоротливым становятся человеческое мышление и поведение. Между тем, руководящие позиции занимают, как правило, люди в возрасте, поскольку любому человеку требуется какое-то время, чтобы сделать карьеру, и никто, кроме рано осиротевших престолонаследников, не может получить в молодости высший пост — тем более что у слишком молодого человека преимущество гибкости искупается недостатком опыта. И тем не менее, чем сложнее цивилизация, тем больше разрыв между предьявляемым к молодым руководителям требованиям гибкости и их реальными «кондициями». У этой коллизии возможны два исхода. Либо карьерные траектории начинают вставать с ног на голову и способные люди достигают карьерного пика в молодости, а после этого — скажем, после 33 лет — переходят в разряд слишком старых, а значит, второсортных сотрудников. Либо — появляются биотехнологические возможности изменения человеческой психики. Очевидно, что мировой истеблишмент был бы заинтересован именно во втором решении.

### **СЛИШКОМ СЛОЖНЫЕ МАШИНЫ**

Существует еще один немаловажный аспект «неполноценности» человеческой природы — это несоответствие человека техносфере. Уязвимость человека перед радиационными утечками замедляет развитие ядерной энергетики, но это как раз решаемая проблема. Куда важнее другое. Современный человек фактически перестает справляться с созданной им же техносферой, что, в частности, выражается в статистике техногенных катастроф.

Вот что пишет Аркадий Либерман — один из ведущих российских специалистов по радиационной гигиене и безопасности: «Усложнение и совершенствование техники, ее количественный рост, появление еще не изученных (или мало изученных) возможных технических отказов, нарушений неизбежно создает предпосылки к увеличению вероятности (риска) возникновения аварий. Возможности же человека в предотвращении аварий также росли за счет улучшения образования, повышения квалификации, улучшения качества отбора,

использования компьютерной техники, автоматизированного управления производством, совершенствования всей системы и средств обеспечения безопасности и т.п., но тем не менее эти возможности со временем стали все более заметно отставать от ускоренного развития и расширяющихся возможностей современной техники. В результате возникла «зона отставания» роста возможностей человека-оператора от быстрых темпов развития (усложнения) техники»<sup>7</sup>.

Отставание человека от возможностей техники началось где-то после 1970-х годов — именно в это время начался резкий рост количества жертв техногенных катастроф, который продолжается по сей день. Причем, как отмечает Либерман: «Если ранее (до 70-х годов XX века) более 75% всех происшествий в техногенной сфере было вызвано техническими причинами, то сегодня прослеживается тенденция резкого смещения причин этих происшествий в сторону человеческого фактора».

Таким образом, современный человек, неадекватный требованиям техносферы, становится опасным для самого себя, что проявляется в возросшем числе аварий и их жертв. Разумеется, есть еще резервы и в рамках существующей человеческой природы: ведь в развивающихся странах жертв техногенных катастроф больше, чем в развитых, а значит, многое можно сделать за счет улучшения образования и инвестиций в системы безопасности. Однако проблема существует и для развитых стран: техника становится все сложнее, и, что самое ужасное, техносфера приобретает черты неуправляемости, поскольку подавляющее большинство даже квалифицированных технических специалистов владеют лишь «пользовательскими» интерфейсами соответствующих устройств, но не понимают принципов их работы: телеоператоры не понимают устройства камер, водители уже не могут разобраться в насыщенном электроникой устройстве автомобилей и т.д.

Наконец уязвимость человеческого тела, его жесткая привязанность к земным условиям существования являются главными препятствиями для освоения космического пространства. Человечество располагает достаточно мощными летательными аппаратами, чтобы достигать и Марса, и Юпитера, и Меркурия, однако пока доставлять на эти планеты предпочитают почти исключительно роботов, поскольку никто не хочет нести бессмысленные и поистине фантастические расходы на обеспечение жизнедеятельности человека в полете и его возвращения. Полет на Марс — недешевое удовольствие, но все расходы возрастают неимоверно, если вместо автоматических устройств отправлять туда людей.

Итак: существует множество причин, чтобы усовершенствовать человеческий мозг техническими средствами, — причем настоятельная потребность в таком совершенствовании ощущается не потому, что люди хотят стать более совершенными, а потому, что «немоощь» тела и мозга задерживает социальное развитие и ощутимо снижает эффективность общечеловеческого «хозяйства». Именно поэтому, если биотехнологии дадут возможность изменять наш мозг, общество обязательно схватится за эти возможности, а пока оно, несомненно, будет развивать подобные проекты.

Мы не знаем, каких именно успехов смогут добиться биотехнологии и что действительно произойдет с человеческим телом в ближайшем будущем. Единственное, в чем можно быть уверенным, — так это в том, что будущее станет неудобной чужбиной, куда нам всем предстоит эмигрировать, простившись с, может быть, не самым комфортным, но привычным нынешним миром. Будущее окажется не темным и не светлым — а непривычным, и потому оно будет казаться чужим.

<sup>7</sup> Либерман А.Н. *Техногенная безопасность: человеческий фактор*. СПб., 2006. С. 7—8.



Семен Файбисович

## Пейзаж после постмодерна

*Конец эпохи революций*

Чтобы лучше понимать, что происходит сегодня в арте, стоит вернуться к «истокам». Современное искусство началось с того, что стала ослабевать многовековая зависимость художника от конкретного заказчика: вследствие бурного численного роста класса буржуазии и обслуживающих ее профессиональных групп начал активно оформляться «средний класс» и с тем формироваться «массовый» зритель. Импрессионисты во Франции первыми — в 60-х годах XIX века — организованным порядком пошли в отрыв от штучного потребителя, переориентировавшись на обобщенного посетителя выставок — тогда носителя идеи прогресса. Согласно этой идее, художники начали концентрировать усилия на поисках новаторских форм, открывавших все новые возможности отображения внешнего мира и выражения внутреннего мира творца: на смену импрессионизму пришли постимпрессионизм и пуантилизм, потом расцвели абстракционизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, экспрессионизм, со временем осмысленные как разные течения модернизма. Но чем дальше, тем больше искусство в своих исканиях отдалялось от «обывателя» — теперь уже массового — не способного быть на высоте художника: с этой высоты начало бросать вызовы самодовольной буржуазности и всему для нее «святому», так что эпатажные левацкие месседжи стали «хорошим тоном» модернизма. При этом и само движение вперед шло революционным путем: каждое следующее направление отвергало все предшествовавшие и параллельные.

Черту под так устроенным движением вперед подвел постмодернизм, окончательно воцарившийся примерно с середины 80-х века двадцатого. С одной стороны, он радикально расширил ареал обитания современного искусства, выведя

**От автора** | Побудительным мотивом и движущей силой предлагаемой статьи стало устойчивое несоответствие между той картиной современного искусства, что рисуют адепты постмодерна, занимающие командные высоты, и той картинкой — посмею назвать ее «реальной», — что представляется мне. Это несоответствие бросается в глаза и когда бродишь по «репрезентативным», как правило международным, экспозициям современного искусства, что претендуют развернуто демонстрировать актуальные тенденции; и когда сравниваешь то, на чем настаивают критики и кураторы в своих артикуляциях, — с тем, что ощущается в воздухе, что просматривается в конкретных экспозиционных проектах, просто менее афишированных, и художественных практиках, в том числе моей собственной. Да, каюсь, буду время от времени ссылаться на содержание и специфику собственных высказываний разного времени — как художественных, так и литературных — или иметь их в виду. А вот попытка оправдаться: право на «яканье» мне, по собственному ощущению, дает то, что во времена расцвета и полновластия постмодерна я числился маргиналом и слыл «художником-неудачником», а в последние годы и нешуточный успех пришел, догнав автора спустя четверть века, и привелось обзавестись статусом предтечи и основоположника пары направлений, входящих или уже вошедших в художественную моду. К тому же показная скромность, которая, если честно, уже давно не представляется мне безоговорочной добродетелью, в данном случае еще и помешает определить разговор.

его — через бурное развитие концептуализма, инсталлирования, акционирования, перформанса, видео — из привычных зон обитания на границы других видов творчества. Даже активно посягнул он на общественное и социальное пространства, а дух постмодерна с его прокламируемой беспринципностью — принципиальным неразличением правды и лжи, добра и зла и т.д. — пропитал буквально все поры культуры и сферы жизни вплоть до политической: взять хотя бы феномен Жириновского. С другой стороны, постмодерн отказался от ниспровержения прежних направлений и стилей; провозгласил примирение с ними, попутно приспособив их в качестве ингредиентов новых способов артикуляций — но то на словах. На деле все, что было до него, ПМ превращал в объекты насмешек и издевательства; все базовые ценности «старого» искусства скопом подверглись уничтожительному третированию и были сосланы в кич — типа на вечное поселение. Существенно, что такой ПМ доминировал в пространстве именно арта с его вековой привычкой жить по законам революции — в особенности *здесьнего*, где как раз рухнул железный занавес, и только народившаяся критика «актуального искусства» рвалась стать святой папы римского, демонстрируя при этом нравы большевистского отродья. В архитектуре, литературе, кино, театре ПМ проявлял себя мягче, игривей, плюралистичней: честнее следовал изначальной установке на «игру в бисер», а вот в нашем арте его агрессивность стала — без всяких преувеличений — мерилем «актуальности». При этом сам он был воспет — хором сонма радетелей — как высшая и последняя стадия развития: эдакий культурный коммунизм. И таки всей совокупностью реализованных стратегий «ход истории» был остановлен — недаром в 80—90-х наперебой заговорили о конце цивилизации, культуры, искусства, живописи...

Однако, доведя многое до упора, закрыв и обнулив, постмодерн многое открыл. При всех террористических замашках и потенциях застоя, он нес в себе потенцию развития и освобождения — через тот же выход в новаторские формы артикуляций, через подъем на иные философские и интеллектуальные горизонты, позволивший отринуть многое, казавшееся самоочевидным. Цитирование стало полноправным художественным приемом, ирония, прежде не ночевавшая в арте, вошла в широкое обращение; неоднозначный в целом подрыв основ иерархического сознания позволил, в частности, освободить «второстепенное» из-под власти «главного»... Но то дела минувших дней: на сегодня постмодернизм демонстрирует свою несостоятельность и исчерпанность — и как параноидная тоталитарная идея «окончательной победы», и как шизоидная артистическая стратегия «разбрасывания камней». И, сдастся, с концом постмодерна приходит конец и всему «современному искусству» — как сумме представлений о том, каким оно *должно быть*.

Скажем, негативизм — сквозной тренд современного искусства на протяжении всего XX века; единственное, что постмодернизм взял у модернизма не для того, чтобы уничтожать, а чтобы развивать. И в развитии этом довел его, как и многое другое, до упора, очистив от любой традиционной «художественности» и доведя до форм, которые, в силу своей неприкрытой агрессивности, со стороны смотрятся чистым хулиганством. Тер-Оганян, рубящий топором иконы, Бренер, гадающий в Пушкинском у картины уже не помню какого гения, он же, набрызгивающий знак доллара на квадрат Малевича и хлещущий по щекам на открытии выставки заезжего куратора букетом роз (с шипами), принесенными якобы для приподнесения; Кулик голышом на четвереньках в виде злой собаки, кусающий прохожих, группа «Война», переворачивающая милицейскую машину... Я не пытаюсь тут выставить оценку той или другой затее или всем скопом и, как наблюдатель, включенный в контексты, во всех (кроме переворачивания машин) различаю художественную задачу — пусть она не всегда кажется мне достойной. Речь о том, что эти акции — в той же традиции эпатажа, что искажения лиц кубистами, дюшановский писсуар в качестве экспоната художественной выставки или черный квадрат Малевича в качестве произведения живописи (эпатаж не исчерпывает меседжа и значения упомянутых произведений — просто о нем сейчас речь): по силе шокирующего воздействия «те» и нынешние вызовы сопоставимы. Просто, чтобы поддерживать градус шока у все более закаленного «обывателя», художнику приходилось и приходится постоянно повышать «дозу» — вот она уже временами и оказывается смертельной: не для обы-

вателя, а для искусства. Но дело не только в том, что ресурсы нигилизма на собственно художественном поле практически исчерпаны. Сама идея всячески всех задирать, «доставать» в значительной мере концептуально изжила себя, особенно у нас, где нет никакого благонаправленного буржуа, которому бы недовольный им художник сладострастно лепил пощечины. Наш мир куда скорей делится на нормальных и невменяемых, причем «креативят» нормальные, а невменяем как раз «обыватель», так что поза левого не в себе творца, ожесточенно бросающего вызовы скуке размеренного и добропорядочного «правого» бытования — нонсенс. Вокруг и так слишком много оскорблений и наездов, чтобы еще подбрасывать туда этих дровишек посредством «художественных вызовов»: смехотворно, живя в психушке, противостоять ей, строя из себя сумасшедшего.

Несколько особняком «критический» негативизм 60—80-х, будь то поп-арт, высмеивающий идеалы западного общества потребления товаров, или соц-арт и московский концептуализм, иронизирующие по поводу советского общества потребления идей. Тут нет агрессивного вторжения в чужое пространство, а конструктивное и рефлексивное главенствуют над деструктивным. Хотя однобокое, однозначно насмешливое и издевательское отношение к социально-политическим и прочим реалиям остается обязательным. В 80-е я в своей живописи предложил менее лапидарный способ неприятия реальности. Помимо критического, он включал жизнеутверждающее начало — через преодоление материала жизни, ощущаемой как «прекрасный ужас». Ответом на эти инновации был дружный свист референтной группы советского нонконформизма. Так — со свистом — я был вышвырнут из контекста актуального искусства и записан в ретрограды — и тут мы плавно переходим к взаимосвязанному с негативизмом сюжету: гонениям на позитив. Веками присущие искусству темы любви, гуманности, сострадания, веры, надежды на протяжении всего двадцатого века старательно загонялись в ту же резервацию попсы: мол, это все сопли для пошляков. Кто бы спорил, что добро пошло — но ведь никак не более, чем зло! Тем не менее постмодерн в арте дал злу (включая ползучую индифферентность — его едва ли не самое опасное проявление) добро, а добру (включая равнодушие и любого рода участие) полностью перекрыл кислород. Я не к тому, чтобы теперь перекрыть кислород негативу, а к тому, чтобы снять вековое табу на положительные высказывания; чтобы постмодерновую «диктатуру свободы» заменить *подлинной* — и тем самым создать *реальные* предпосылки для взаимодействия традиции и новаторства; чтобы дезавуировать, наконец — основываясь на том, что понимание в искусстве не противоречит чувствованию, как нас уверяли, а опирается на него — дезавуировать на самом деле отсутствующие ныне противоречия между «серьезным» разговором, что ведется пластическим языком и апеллирует к чувству формы и прочим «высоким» чувствам зрителя — и апелляциями к его интеллекту, рефлексиям, чувству юмора. Не вижу сегодня никаких конфликтов между традиционным мастерством — и поисками новых языков и технологий высказываний. Эти и многие иные культивируемые в современном искусстве противоречия и распри пора и необходимо развенчать как искусственные. Диалектическое взаимодействие высокого и низкого, прекрасного и ужасного, ироничного и эпичного, сиюминутного и непреходящего, притягательного и отталкивающего и т.п. представляется мне не менее продуктивной базой для артистических высказываний, нежели самоцельная игра на дискредитацию всяких ценностных ориентиров через издевательское, пусть даже и веселое, выстебывание всего.

### **НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ**

*Другого* искусства нет и не будет, *пока оно не названо*. Известное дело: нет названия — нет и предмета (в т.ч. предмета разговора, обсуждения, анализа). Так что, по чести, первым делом надо бы дать имя той совокупности процессов, что нынче идут в арте, — и так формализовать и актуализировать их. Но называть — дело критиков, «ведов», а они-то как раз не хотят делать свое дело — выполнять свои креативные обязанности: если то, что приходит на смену постмодернизму, получит название, значит, оно уже пришло, а он, следственно, уже ушел. Следственно, и им пора уходить, а

им на смену пора приходиться другим, а им жуть как неохота уходить, да и сменщиков нет — вот безвременье-безыменье в искусстве и длится, и может продлиться еще долго. Не правда ли напоминает текущую политическую ситуацию? Ребята, что рулят страной, явно засиделись наверху, и вроде все созрело для того, чтобы на их место пришли люди более приличные и адекватные, с незапятнанной покамест репутацией, которых волнует что-то кроме удержания власти, но политическое поле вокруг командных высот выжжено — ими как раз — либо заболочено: никого, готового взять на себя ответственность двигаться дальше и понимающего куда. Но здесь аналогии кончаются: на политическом поле движение нечаянно началось, практически на пустом месте возник мощный гражданский протест и по меньшей мере повяло ветром перемен. В артполитике — в отличие от артпрактики — тишь да гладь. Разве что, помимо тишайшего состояния, нельзя не отметить нижайший уровень профессионализма, в том числе профессиональной этики, референтов и аналитиков. Внятно мыслит и излагает чуть ли не одна Екатерина Деготь, да и та, приватизировав артсегмент Open Space, под видом орен обсуждения художественного space занимается там идейным обслуживанием и продвижением собственных проектов.

Лет пятнадцать назад я писал про Александра Бродского и Илью Уткина — их знаменитый тандем незадолго до того распался. Оба автора — мои друзья, и я практически наизусть знал их творчество. Но прежде чем писать, подробно с каждым поговорил: мне важно было, что они сами думают и чувствуют; как сами относятся к тому, что сделали вместе и собираются делать порознь — при наличии, разумеется, собственного взгляда на их творчество. Мне же — в качестве художника — не привелось столкнуться с авторитетом здешнего артмира, которого бы интересовало мое мнение. Даже интервью ими берутся не для того, чтобы дать слово художнику, а чтобы выступить самим, демонстрируя свое над ним интеллектуальное и культурное превосходство (в соответствии с тем самым постмодернистским постулатом, согласно которому критик, куратор — Главный демиург, а художник — подспорье, материал для его самовыражения) — даже если превосходство не очевидно, а интервью заказано для каталога персональной выставки. Ровно в таком ключе сработала, к примеру, та же Деготь в интервью со мной для каталога выставки Камбэк — когда я вернулся в живопись после двенадцатилетнего перерыва. После этого я зарекся привлекать «местные силы» и впредь обращался только к западным экспертам по русскому искусству — и больше не чувствовал себя обес...ным. Я к тому, что пока не видно теоретиков-реформаторов, настроенных вытащить арт из-под разлагающегося трупа постмодернистских заморочек и манер обхождения на свежий воздух новых веяний, на иной профессиональный, культурный и этический уровень, а для начала озаботившихся как-то назвать происходящее — дать ему имя.

Правда, концептуалист Илья Кабаков, гуру здешних «ведов», намереваясь упразднить зримый мир как объект, достойный визуального внимания, и заменить его своими словами о нем, утверждал нечто противоположное: что любой объект, будучи названным, теряет свою физическую состоятельность, а с тем — право на существование. Примерно так. Он, правда, имел в виду право на опять же визуальное существование и, соответственно, отображение — копал то есть под нашего брата, победоносно тесня реализм своим концептуализмом. Забавно, что, при всем нонконформизме, эта позиция ощутимо резонировала с жизнью в Стране Советов, где предлагалось верить чужим словам, а не своему зрению, где слово правило бал, подменяя (подминая) и жизнь, и взгляд на нее — так и хотелось тогда выйти на улицу и кричать в горло: разуйте глаза! Вместо этого я делал возможное: писал картины, несущие в составе меседжа и этот призыв — и он, понятное дело, решительно не устраивал Кабакова и К°, но речь не о прошлом.

Сейчас мы переживаем взрыв «новой» визуальности, когда благодаря мобильникам практически все заделались фотографами, а благодаря возможностям компьютерной обработки имиджей зримое бурно прирастает в иных качествах и версиях, смыкающихся с художественным творчеством. Так что старые песни о главном — о том, что весь мир визуально описан: все картины написаны и фотки сделаны, что копать здесь больше нечего и все потуги на этом поле суть «буржуазное искусство» — сегодня *очевидно* несостоятельны. Но у критиков-шарманщиков других песен нет:

шарманку как ни крути, новую мелодию не извлечешь. Тем более когда шарманщики, как им свойственно, слепы — именно таких рекрутировала эпоха постмодерна-концептуализма-соцарта, которая решительно осудила глаза как органы чувств — отныне их дозволялось иметь лишь в качестве инструментов считывания информации в виде слов, символов и знаков. По тем же, кстати, причинам (приверженности ПМ) у этих парней и девчат столь впечатляющий дефицит честности, добросовестности и этичности — согласно ПМ вере это все тоже «пережитки прошлого». Но теперь, когда постмодерн сам подпадет под эту категорию, жуть как недостает профессионалов с глазами и совестью. Не хочу костерить огульно — среди кураторов и экспертов, репрезентирующих и отслеживающих современное искусство, есть делающие это профессионально и с открытыми глазами, но хотелось бы, чтобы их стало много больше и чтобы они смелее брали на себя концептуальное осмысление и артикуляции того сквозного и общего «сдвига», что сегодня внятно просматривается за дискретной экспозиционной и культурной конкретикой; того, что «витает в воздухе».

### НОВАЯ ИННОВАТИВНОСТЬ

Переход с ниспровергательного, революционного типа развития на эволюционный лично мне представляется не только назревшим, но и единственно возможным — в условиях исчерпания «больших идей» и усталости от них. Сегодня у художников и кураторов — тех из них, что вменяемы — гордыня демиурга (куда от нее денешься) соседствует с пониманием, что какого бы масштаба и накала инновацию (месседж) ты ни предлагал (нес) — ты лишь звено, более или менее значимое, в цепи неостановимого движения. Это революцию устраивает только свой порядок, а эволюцию — наличный, «естественный»; она не нуждается в «новой перспективе», а видит ту, что есть. И видит тем более ясно, когда, стоя на плечах постмодерна, получает хороший обзор не только ретроспективных и перспективных, но и сегодняшних ландшафтов. Да: инновативность — константа, непрменный критерий современности, актуальности искусства, поскольку отражает постоянные изменения жизни, порождением которой искусство и является; отражает и прихотливое трепетание ее нерва, и железную поступь культурного прогресса, и более мягкую — технического. Но постмодерн жестко регламентировал инновации, признавая таковыми исключительно резкие выходы за формальные и идейные рамки «традиционных» видов художественной деятельности: никакие новации в этих занятиях — если они не в струе соцарта или концепта — не имели шанса быть признанными инновациями. Более того, запретительство процветало рука об руку с выдачей эксклюзивных прав на существование по принципу «кто не с нами, тот никто!»: что не концепт — то не (актуальное) искусство, что не соцарт —, не инсталляция —, не перформанс, не акция... Не говоря уже о жесточайших репрессиях в отношении всякого позитива и — соответственно — попыток предложить что-то «новенькое» на эту тему, типа: нууу, парень — это вообще мракобесие.

Такого рода регламентирование и цензурирование (если не табуирование), с одной стороны, привело к застою на пространствах «исторических» видов арта — живописи, графики, скульптуры; с другой — завело в тупик так понимаемую инновативность, поскольку экстенсивное развитие исчерпало себя. Экспансия ведь, как уже отмечалось, вывела арт на суверенные границы других видов творческой деятельности — и не только творческой: общественной, социально-политической и т.п. А переход этих границ суть вторжение на чужие территории, завоевать которые нереально: один вид самовыражения тогда оборачивается другим либо оказывается под непосредственным присмотром закона. Иными словами, дальнейшее продвижение невозможно. Напрашивается аналогия с монгольской экспансией XIII века, когда полчища Чингисхана и его потомков завоевали огромные сопредельные и более отдаленные территории и там изрядно поживились, но при этом, с одной стороны, исчерпали разного рода ресурсы, необходимые для дальнейших завоеваний, а с другой — брошенные ими земли собственного обитания тем временем пришли в запустение, превратились в пустыню. В результате монголы сошли на нет со сцены истории — как вершители ее судеб.

Так вот, чтобы та же участь не постигла арт (шутка — отчасти), одной из главных повесток сегодняшнего дня видится рекультивация его исконных территорий обитания. А для этого, в числе прочего, необходим переход от экстенсивного развития к интенсивному — с соответствующим переосмыслением понятия инновативности в сторону расширения и демократизации. Поиск выразительного языка, отвечающего духу времени, поиск новых углов зрения, разного рода ресурсов, техник и форм высказывания на основе современных технологий, представлений и «культурной оптики» при одновременном отказе оценивать новации, исходя из приоритетов агрессивности, негативизма — гуманизация подходов, словом — вот примерный, как представляется, эстетический и этический базис «новой инновативности», способный дать опору и импульсы дальнейшему развитию изобразительного искусства.

Кстати, еще дюжину лет назад, рассуждая о проблемах современного искусства, назвать его «изобразительным» язык не поворачивался; просто невообразимо было так его назвать — настолько далеко от всякой изобразительности обитали все его конвенциональные на тот момент «актуальные» формы. А сегодня акценты явно сместились, в том числе в сторону пристального внимания к окружающей реальности, и «реализм» — в широком его понимании — очевидно отвоевывает, казалось бы, навсегда утерянные позиции. Во-первых, сама наша реальность сильно изменилась и оформилась в нечто прежде невиданное и опять гипнотизирующее: эдакое лицо новой эпохи — и тем провоцирует свежие реплики «портретистов». Во-вторых, вышеупомянутое бурное развитие цифровых средств визуальной фиксации мира и возможностей обмена его новыми картинками в Интернете плюс необъятные возможности их интерпретации в компьютерных программах — все это вместе радикально расширяет наши представления об изобразительности как таковой и ее новых возможностях. Вообще наращивает значимость, а может, и удельное значение зрения в жизни современного человека, увеличивает его эмоциональную, культурную, социальную и прочую ценность; переводит этот грандиозный физический рост разного рода *изображений* в некое новое качество, осмысление которого на повестке дня.

В-третьих, постмодерн, пробудив интерес к «периферийному зрению», переакцентировал внимание на, прежде казалось, неинтересное, не заслуживающее внимания — никакое. Нынче такая переакцентировка, перекочевав в жизнь, стала достоянием широких масс. Она позволяет им различать прежде неразличимое, придавать значение прежде незначимому. Младший сын как-то заметил по поводу моей живописи 80-х, которая тогда интерпретировалась критиками как аутсайдерская еще и потому, что была принципиально изобразительной, сиречь не пользовалась общепринятыми подпорками в виде советской символики, иконографии, знаков и вербальных кодов, — заметил, что теперь такой взгляд — общее место молодежных фоток, кочующих в Интернете, с буквальным совпадением иных тем и сюжетов. А ведь это общее теперь место опирается на *инновативный* тогда — в 80-е — способ видеть и отражать мир. Просто эту инновацию большинство не заметило, а меньшинство проигнорировало, поскольку она была «не в струе» — шла против главного течения (мейнстрима) советского нонконформизма. Кстати, напрашивающееся нынче внимание к традиционным, прежде сердцевинным формам искусства выглядит вполне логичным и с позиций «периферийного зрения». Нынче ведь все на поле арта шиворот-навыворот: местом главной активности уже давно является периметр этого поля — периферия, если представить ситуацию графически, а его «исторический центр» на отшибе внимания и радения — вот и сам бог велел работать с этой «новой периферией».

### **ИНТЕРВЕНЦИИ И КОНВЕРГЕНЦИИ**

Совершенно очевидно, что постмодернистский отказ от различения правды и лжи знаменует полную победу лжи: возможность утопить в ее разлитом море кого и что угодно. Также введение равноправия между суррогатным, симулированным — и подлинным дает зеленый свет отнюдь не подлинному. То же и с отменой

оппозиции добра и зла — хотя бы потому, что уже само неразличение, безразличие куда больше чревато злом, чем добром. Но не менее очевидно, что сами противоборствующие категории сегодня не столь категоричны, как прежде: мерцают эдак они, а их контуры размыты и не вполне определены что с культурной, что с нравственной стороны. Более того, под разными углами зрения они могут по-разному соотноситься, в том числе отражать друг друга и просвечивать, накладываясь друг на друга. Такой узор тоже в известном смысле наследие постмодерна, про которое и не скажешь, «хорошее» оно или «плохое». Во всяком случае, это данность, которая представляется продуктивной с точки зрения появившейся возможности работать на образовавшихся «переливах»: разного рода взаимоотражениях и взаимопроникновениях. Сходные расклады и эволюции взаимодействия затрагивают не только «большие оппозиции» во всех видах искусства, но и те, что характерны для каждого из этих видов.

Причем на художественном поле они в равной степени касаются и традиционных, и «продвинутых» областей — ведь инсталляция, перформанс, акционерство, видео по сути уже стали классикой арта — хотя бы в том смысле, что и в них прошло время экстенсивного развития и настало — интенсивного. А оно немислимо без работы на стыках и границах, которые образовались между ними, между ними и «старыми» занятиями, между ними и более молодым интерактивом. Ну и, разумеется, — без работы на границах со всеми смежными полями творчества, на которые их вывела художественная экспансия последней четверти XX века. Более того, поставлены под вопрос и подвергаются серьезной ревизии прежде конвенционально признанные нерушимые границы и, соответственно, антагонизмы абстрактного и реального, концептуального и пластического etc.: сегодня фронты противоборства подвергаются сильной эрозии, границы стремительно размываются, а на смену разбеганию указанных пар в разные стороны с криками «чур меня» пришло время получения новых продуктов из их разного рода сплавов. То, что раньше не смачивалось — а попытки смачивания пресекались или игнорировались, — теперь сливается в новое синтетическое качество, провоцируя и обозначая смену направления художественного мейнстрима.

Так, взаимодействие концептуального и пластического в наиболее ярких и интригующих формах предлагают инсталляторы Александр Бродский и Николай Полисский. Первый, пользуясь в основном «отходными» материалами и языком урбанистической цивилизации, в своих пространственных композициях претворяет в эдакий философско-медитативный эпос мусорное убожество городской среды обитания, а второй, соединив к тому же инсталлирование с акционерством — по большей части с огнем в главной роли, — скоморошно-эпически воспекает нутряную, языческую природу пейзажной идиллии и пейзажного бунтарства. В недрах еще московского андеграунда в «объемно-пластическом» концептуализме активно работал Борис Орлов. С барочной пышностью и юмором интерпретируя советскую военную, спортивную и прочую наградную символику, он доводил ее до состояния величественного и одновременно комичного абсурда; в концептуально-социалистической живописи Эрик Булатов и Иван Чуйков, а в попартистской — Михаил Рогинский также активно использовали пластические ресурсы данного языка — просто тогда обсуждение этой составляющей их работ выносилось за скобки актуального анализа и сущностных оценок, поскольку, напомним, использовать глаза как органы чувства было моветоном.

А в Пермском художественном музее на выставке с громковатым названием «Новый канон» года полтора назад была представлена большая группа молодых художников, работающих на стыке реальности и абстракции: там, где «жизненные» фактуры и предметы, являясь реальными, выглядят или интерпретируются как абстрактные — эдакий «реалистический абстракционизм». И на данной границе взаимодействия, коррелированной с «периферийным зрением» — только на разных участках этой границы — еще в 80—90-х в живописи поработали тот же Иван Чуйков и ваш покорный слуга. Чуйков демонстрировал, как случайные фрагменты банальной печатной продукции — по большей части открыток — при гипер-

увеличении начинают выглядеть и восприниматься то лихой, то минималистической абстрактной живописью, а я в первой половине 90-х исследовал оптику зрения, в том числе остаточного — с закрытыми, то есть, глазами: показывал, как картинка предметного мира сначала оборачивается эдакой вывороткой на экранах закрытых век, а после трансформируется в по виду чистую абстракцию — оставаясь при этом добросовестным отражением реальности. И эти инновации по вышеуказанным причинам тогда никто не заметил и не оценил — во всяком случае, мои. Ну а сегодня чувственность берет все более осязаемый реванш, опираясь на возвращение интереса к художественной форме — а конвергенции становятся явно актуальнее интервенций. Причем они берут в оборот и традиционные, и самые новаторские технологии, сплавливая интерактив с видео и перформансом, фотографию — посредством компьютерной обработки — с «цифровой» живописью и графикой, а полученный продукт — с «настоящими» и т.д. Словом, новых ресурсов и возможностей — пруд пруди.

Даже выходы искусства в социально-политическую сферу нынче перестали быть эксклюзивом леваков — вовсе не обязательно опираются на революционный натиск и агрессивные вызовы социуму. Более того, разве что группе «Война» удалось предложить нечто убедительное в этой струе — а именно фаллос, восставший на разведенном питерском мосту. Остальные попытки, в том числе этой группы, представляются по большей части не столько даже неудачными, сколько выискивающими за рамки брутального художественного выражения в разные просто брутальные выражения. Речь тут не об оценке социально-политической позиции и не о выходах за рамки приличия, закона и т.п. — о выходе за рамки искусства речь. А вот творчество в русле «позитивного протеста» — против агрессивной аморальности власти с ее разного рода разрушительными для общества и каждого человека посылами и реакциями — выглядит более перспективно; творчество «правых» масс, а не «левых» художников: креативные реакции и акции, настаивающие на разных «плюсовых» ценностях типа честности, свободы, уважения и самоуважения, на своих гражданских и человеческих правах. В этом русле, как сегодня можно наблюдать, открываются принципиально новые возможности взаимодействия искусства с общественной и политической жизнью.

### **НЕМНОЖКО ПРО НАРОД**

«Движения навстречу» как тренд сегодняшнего развития искусства затрагивают — во всяком случае, должны затронуть (по логике наблюдаемых и ощущаемых изменений) — взаимодействия основных интересантов артмира — художника и зрителя, критика и художника, критика и зрителя. И чудится, самое время эти движения делать, поскольку пропасть непонимания между искусством и «народом» продолжает расти. Подвижкам в искусстве — необходимым, назревшим и уже начавшимся — посвящено все вышеизложенное, так что теперь немножко про «народ». Начнем с того, что к нему в данном контексте относятся и вполне образованные его слои, в том числе функционеры других родов творчества: творческая интеллигенция, проще говоря. Вообще ситуация двусмысленная: с одной стороны, подавляющая часть этой интеллигенции — не говоря уже о нетворческой — не понимает и не принимает современное искусство, имея при этом представление о нем, почерпнутое в основном из всяких нашумевших скандальных историй. С другой — только главную экспозицию Московской биеннале современного искусства осенью прошлого года посмотрело семьдесят тысяч человек — а это, согласитесь, много. Правда, подавляющее большинство зрителей — молодежь, чему видятся два основных объяснения. Первое — смотреть современное искусство стало модой, а молодым свойственно за ней гоняться. Многие посетители, это было заметно, реагировали на произведения как на разного рода «приколы» — и тем удовлетворялись. Второе — молодежь не заиклена на идеях типа «красота спасет мир»: окружающая реальность во всей ее неоднозначности и противоречивости влечет и возбуждает ее куда силь-



ней, чем далекие от «нерва жизни» месседжи (салонного пошиба) на тему пресловутого спасения. Улавливая из воздуха, которым дышит, флюиды и эманации «современности», она нутром чует их отзвук в сегодняшнем искусстве.

Ну а тот народ, что точно знает: искусство принадлежит ему — лучше вообще оставить в покое. Большинство населения даже самых что ни на есть западных стран не интересуется современным искусством — и прекрасно без него обходится. Но при этом не интересуется искусством вообще — никаким, поскольку там культурное воспитание не создавало и не пытается создавать иллюзию, что любовь к «доброму старому» искусству в версиях, эстетически и этически адаптированных массовой культурой — в том числе опошленных художественным салоном и кичем, — означает понимание этого искусства. Не то резервационное советское культурное воспитание: базируясь на искусстве прошлого и его соцреалистических инкарнациях — вне связей с современным искусством в цивилизованном понимании (напомним, что здешнее таковое искусство обитало в подполье, а все прочее — за железным занавесом) — оно старательно создавало иллюзию, что все и каждый интересуется искусством, сиречь разбирается в нем. И посейчас эта иллюзия поддерживается — тем хотя бы, что государственное образование и культурное воспитание не изменили направленности и продолжают, за редкими исключениями, игнорировать сегодняшние реалии — если только это не шиловско-глазуновский, ника-сафроновский и прочий отстой. Еще разница в том, что западный «обыватель», если даже не больно жалуется артмиру, согласен его терпеть и даже финансово поддерживать (через налоги), поскольку твердо выучил, что в обществе, которое позиционирует себя как свободное, должно быть свободное искусство. А наше общество в целом позиционирует себя иначе — в том числе судя по череде судов даже над тем искусством, что никуда не «выпрыгивает» и не провоцирует специально такие реакции.

В том и состоит одна из главных причин здешней относительной изоляции арта и его маргинальности в глазах даже культурных в иных отношениях индивидов: на Западе всякое нормальное образование и воспитание уже давно базируется на ценностях свободы и образцах современного искусства (сравнить хотя бы современную городскую скульптуру Москвы и любого западноевропейского — и не только — города), так что интересанты там в подавляющем большинстве интересуются именно им и неплохо разбираются в нем, а у нас даже тот, кто расположен к восприятию современных форм искусства, тянется к нему и хочет его понять, не имеет базовой ориентации и подготовки — той, что дает воспитание дома, в школе, визуальное воспитание городской средой и т.д.. К тому же не получает необходимой помощи от критики — опять же в отличие от западной практики, где просветительская работа с потенциальным зрителем с целью сделать его реальным — одна из главных задач прессы и прочих СМИ, освещающих художественные процессы. Единственное, что остается нашему любопытствующему: озаботиться самообразованием, дабы самостоятельно войти в эту воду. Кстати, этот путь прошли довольно многие, в том числе все без исключения здешние коллекционеры современного искусства — он не так сложен, как кажется. Тем более — о чем здесь и речь — текущие эволюции в арте впервые склонны перенаправлять вектор его социальной обращенности к зрителю, а не прочь от него. Просто надо иметь глаза, ходить по выставкам, читать «вводные» к ним (современное искусство нуждается в пояснениях, позволяющих полнее воспринять авторский месседж, а иной раз — в случае чисто концептуальных вещей — без «наводок» вообще ничего не понять), смотреть и думать. Ну, а если еще критика, воспользовавшись шансом реабилитироваться, начнет наконец как следует выполнять свою культурную миссию — она же прямая обязанность, — совсем красота будет.

**р е ц е н з и и****Новый Гранин**

**Даниил Гранин.** *Мой лейтенант.* — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012.

**Д**аниил Гранин, начиная, кажется, уже с «Искателей», завоевал прочную славу своими романами, каждый из которых неизменно попадал в какую-то социальную десятку и не только вызывал длительные дискуссии, но, не побоюсь сказать, оказывал существенное влияние на реальные человеческие поступки: мой брат, вступая в комсомол, назвал своим любимым героем не канонического Павку Корчагина, но гранинского Лобанова, а пишущий эти строки окончательно утвердился в намерении идти в физики, прочитав «Иду на грозу», — я даже цитировал этот роман в своем вступительном сочинении. Да, время от времени Гранин публиковал и отличные путевые очерки, но все же лирический его дар по-настоящему раскрыла лишь недавняя книга «Причуды моей памяти».

А «Мой лейтенант» открыл еще и его умение писать пронзительнейшую исповедальную прозу. Что пробудило в читателях и новое — может быть, слишком человеческое, но зато и глубоко человеческое, можно сказать, нежное отношение если уж не к автору (это было бы слишком нескромно), то, во всяком случае, к Повествователю.

Ведь к эпическому повествователю, которому сверху видно все, ты так и знай, можно испытывать уважение, граничащее с благоговением, как, скажем, к небожителю Толстому, но любить его трудно, поскольку он лишен наших слабостей, без которых мы не можем воспринимать кого-либо подобным нам самим существом из плоти и крови. А лирического героя «Моего лейтенанта» мы видим то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то насмерть перепуганным ребенком, способным разрыдаться от ласкового слова, а после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война воняет мочой». Зато именно поэтому мы и проникаемся к нему трепетным сочувствием и абсолютным доверием — и понимаем, что именно так и происходит преобразование перепуганного мальчишки в солдата.

Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепенно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.

Василий Гроссман в своем хотя и очень сильном романе «Жизнь и судьба» все же довольно-таки ученически воспроизводит схему «Войны и мира» вплоть до того, что, наткнувшись на неодолимое сопротивление русских при Бородине, Наполеон утрачивает свое сверхчеловечество и понимает, что беззащитен перед случайным ядром или отрядом противника — и впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает понимать, что ему может выстрелить в спину каждый часовой — и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые еще недавно обсуждал с олимпийским спокойствием. Подобно Толстому, Гроссман тоже усматривает источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»: когда «мы» начинает распадаться на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и физического распада армии на группы измотанных одиночек, не только не имеющих никакой материальной связи с армейским целым, но допускающих даже, что и не только Ленинград, который они обороняли, но и — почему бы и нет? — может быть, и Москва сдана немцам. И, скитаясь по лесам, одна из таких группок встречает на пути обгорелого майора — «лиловые щеки в пузырях», — который не собирается заканчивать войну, как бы далеко ни

забрались немцы: абсолютно без всякого приказа сверху он собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там будем поглядеть. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение типа «разумное предложение», и майор в ответ гаркает: «Это не предложение, это приказ!».

Эту сценку можно рассматривать как комментарий к той свободомыслящей доктрине, что война была выиграна благодаря заградотрядам. В «Моем лейтенанте» есть и еще одна сильная сцена, иллюстрирующая, насколько немисливо запугать вооруженную массу, неделями ведущую безнадежную борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых выбрался из окружения, лишь благодаря персональной удаче, и даже грозит: а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его убитым вместе с напарником.

И все-таки главный вектор остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.

Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок-смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете, а младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: вот чего все это стоит, когда речь идет о жизни и смерти государства. И это делает не товарищ Сталин или товарищ Жданов, не дикарь и не варвар — еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.

Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими потерями для культурных ценностей. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!». Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее пассионарной части народа — той части, на которую она и опиралась.

Книга Гранина настолько насыщена сильным и значительным материалом, что в ней почти невозможно выделить главное — пересказать пришлось бы все. И действующие лица в ней абсолютно живые и при этом настолько мощные, что хочется поспорить со словами Даниила Александровича, которые он произнес на презентации своей книги в Петербургском университете профсоюзов: в тех частях, в которых ему пришлось воевать, героев не было, войну выиграла солдаты, а не герои, — на мой штатский взгляд, героями были почти все, о ком он пишет. Да, они не совершали «штучных» подвигов, не бросались в одиночку под танк или на амбразуру, но они в совершенно нечеловеческих условиях, месяцами, а то и годами сохраняли решимость — мы, нынешние, можем взирать на них лишь с трепетным изумлением: богатыри, не мы...

Однако чуть ли не впервые в нашей военной прозе в «Моем лейтенанте» звучит и мотив «потерянного поколения». Звучит, если так можно выразиться, наизнанку по отношению к классическому певцу потерянного поколения Ремарку. Как жить дальше, если война оказалась кровавой бессмыслицей, спрашивают себя герои Ремарка. Как жить дальше, если главное дело жизни уже исполнено, спрашивает себя герой Гранина. И начинает работать спустя рукава, пускается в загулы, не проявляя особой щепетильности в выборе собутыльников и партнерш, так что даже верно ждавшая его жена уже упрекает его, что он и с ней обращается как с армейской блядью. И все-таки ее терпение и преданность берут верх — недаром она так верила в любовь, как другие верят в Бога.

Образ жены, как и большинство других образов в книге, создан высокоточными и при этом довольно аскетичными средствами, однако и она в результате предстает не только совершенно живой, но и бесконечно обаятельной.

Книга написана с небывалой личной откровенностью, но Гранин не был бы Граниним, если бы его голос в чем-то очень важном не был эхом русского народа. Его простодушный доверчивый герой произносит пророческие слова, чья справедливость сокрыта от мудрых и циничных и открыта младенцам: «Мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было красивым и героическим».

И это после изображенных без всяких прикрас ужасов и безобразий...

Для истории грандиозность — грандиозность подвигов и грандиозность ужасов привлекательнее, чем умеренное и аккуратное процветание. Разумеется, я имею в виду не

историю научную, озабоченную тем, как было «на самом деле» (кавычки намекают на то, что если бы даже нам каким-то чудом сделались в точности известны поступки исторических личностей, для толкования их мотивов все равно сохранился бы полный произвол), — я имею в виду историю воодушевляющую, которая только и может сохраниться в общественном сознании. Поскольку главная функция человеческой психики — самооборона, выстраивание такой картины мира, в которой и человек, и народ предстают себе красивыми и значительными.

И сталинская эпоха дает великолепный материал для сверхшекспировской трагедии, а нынешняя не дает ничего или очень мало. А потому сегодняшняя ностальгия по прошлому, разумеется же, вовсе не тоска по тирании (такое просто невозможно), но лишь тоска по величию, тоска по участию в истории. Гранин и это показал так же точно и аскетично, не впадая в пафос и не форсируя голос.

В итоге писатель совершил почти невозможное — без малого через семьдесят лет после войны расширил канон военной прозы.

*Александр Мелихов*

### **Эхо нездешнего света**

**Сергей Королев.** *Повторите небо.* — М.: Воймега, 2011.

Когда двадцатипятилетний автор выпускает книгу, ход мыслей потенциального рецензента довольно легко предугадать: почти с необходимостью надо похвалить заметный талант, отметить работу редактора, найти явные недочеты и выразить надежду на дальнейший рост. Ситуация меняется, если эта книга уже третья: здесь и спрос строже, и предустановленный уровень благожелательности ниже. Вероятно, еще менее позитивной будет рецензия в том случае, когда адресат ее — выпускник Литинститута.

Книга Сергея Королева действительно третья, на момент ее написания поэту было как раз 25 лет и он оканчивал Литературный институт. Меняет дело лишь одна существенная поправка: 14 января 2006 года Сергей Королев добровольно ушел из жизни. История его гибели, как это обычно бывает в схожих случаях, обросла легендами и слухами. Дабы не множить сущностей, доверимся официальной версии. Она все же не слишком противоречива.

Обсуждать причины финального поступка Сергея было бы глупо и бестактно. Заметим лишь: столь типичным, очевидным и внушающим наименьшее сочувствие поводом, как «трагедия непризнанности», здесь можно пренебречь. Первая книга, совсем, правда, крохотным тиражом, у Королева, уроженца города Бабаево, вышла авансом, когда ему было 17 лет. Ее он и предъявил на творческий конкурс в Литературный институт. Потом было разное, иногда грустное: отчисление, армия, восстановление, новое отчисление, переход на заочное отделение, работа по малоосмысленным специальностям... Печально, но, кажется, не трагичнее, чем у многих других.

Тем более что в Вологде напечатали еще одну книгу, вышли подборки в «Алконосте», «Детях Ра», «Литературной учебе». Неугомимая Галина Щекина публиковала его в вологодской «Свече». И среди сверстников, коим небезразлична поэзия, он имел определенную популярность. Свидетельством тому обилие посмертных публикаций в Интернете. Правда, чаще всего перепечатывают одни и те же «хиты»: «Побежала метла по плевкам...», «Рай Чингисхана», «Рыба-Нюхтя», «В провинциальных страшных городах...». Последние два текста стали своего рода визитной карточкой Сергея Королева. Заслуженно ли?

За три недели до гибели Сергея Королева в Литературном институте состоялось обсуждение проекта его дипломной работы. Обсуждение было бурным, и, слава Интернету, не сгнуло: доступно на институтском сайте. Кто-то ругал автора за увлеченность некорректной лексикой, кто-то вообще отказывал в таланте, ернича на тему: «Два раза в Лит поступил, поступишь и в третий, молод еще; не поэт». Аргументированнее других в защиту поэта выступали Марина Мурсалова, Александр Переверзин и руководитель его семинара Галина Седых, которая, помимо прочего, сказала: «Меня не покидает чувство досады при чтении стихов Сергея. Кому многое дано, с того много и спросится. Я

реально вижу, что за последние два года все пошло вниз. Здесь много прекрасных стихотворений, которые нужно толково представить. У меня запрашиваются три раздела. Условно я их обозначаю так: 1) «Я стал прозрачней и грустней», где идет откровенное лирическое «я»; 2) «Рыба-Нюхтя» — странные шукшинские чудики; 3) «Медленно перетекает в память» — тяжелые, философские, замогильные стихи. Правда, третий раздел перевешивает».

Не открою великой тайны, сказав, что именно стихи из этого диплома и образовали основной корпус книги «Повторите небо»: поэт, конечно же, предъявлял наставникам и товарищам лучшее из написанного. Издателем, редактором и автором предисловия стал Александр Переверзин, а послесловие написала Галина Седых. Книга и вправду состоит из трех разделов, и первый из них, «Маятник», действительно сугубо лирический, второй, «Бытописание» — вроде бы, «про чудиков», а третий, — тот самый, тяжелый, философский. Только вот акценты сместились и воспринимаются по-другому. Как по-другому воспринимаются и слова Галины Седых о том, что все пошло вниз. Тогда, пять лет назад, она, скорее всего, говорила о качестве стихов, но оказалось все гораздо сложнее.

Вот и Рыба-Нюхтя теперь совсем не выглядит «легким» стихотворением про дурачка, укрытого внутри:

Рыба-Нюхтя плыла по озерной реке,  
 Рыба-Нюхтя плыла по реке;  
 И несла Рыба-Нюхтя в прозрачной руке  
 Мышь в пустом узелке...  
 И запутались мысли в моем дураке,  
 Пали силы в силке, —  
 И не держит дурак ни перста на курке,  
 Ни червя на крючке:  
 Рыба-Нюхтя резвится в башке — в дураке  
 И совсем вдальке.

Холодом веет. Вообще, в системе образов Королева холоду отведена очень важная роль. Холод, он ведь трагичней боли. Боль — это всегда у живого, а холод часто оказывается нездешним. С другой стороны, холод — это граница. Недаром говорят о прохладных, например, отношениях. Вообще, двойственность смыслов чрезвычайно характерна для поэтики Сергея Королева. Причем характерна на самых разных уровнях — от строк до глав. Хотя, конечно, применительно к разделам книги за понимание надо благодарить составителя. И мы непременно его поблагодарим.

В первой, «лирической» части книги много говорится о смерти, расставании, о том, что *неприлично считаться в живых*, но ощущение от стихов светлое. Напротив, во всей финальной трети *смерти вечная тюрьма* упомянута лишь однажды, да и то сказать: что за смерть-то? Птичья... Но стихи этого раздела действительно трагичны. Дыхание смерти (оксюморон, кстати: откуда дыхание у бездыханности?) там действительно ощутимо.

Иногда двойственность раскрывается на протяжении целого стихотворения:

Свободу некуда девать:  
 она «не влазает» в ворота;  
 она желает убивать —  
 и не приучена работать.

У ней особенная статья,  
 не поминай Свободу всуе,  
 ей лучше не существовать —  
 и вот она не существует.

Что здесь свобода? Бог? По характеру написания с прописной, запрету упоминать и очевидной неявленности, кажется, да. Но отчего ж «желает убивать — и не приучена работать»?

Чаще мерцание делается заметнее на каком-то из фрагментов текста:

Но ларьки пивные  
И церквей шатры —  
Светят, как иные,  
Высшие миры.

Мне туда не надо:  
Я не дожил дня.  
Время листопада,  
Мрака и огня!

Куда не надо? В церковь? В пивнушку? В потусторонний мир?

Совсем часто мерцают отдельные словосочетания: уже упомянутое *неприлично считаться в живых* допускает, например, такую трактовку: будучи живым, нехорошо претендовать на особую роль среди прочих равных, рассчитывать на первого и остальных. Только выражено все четырьмя словами. Или *несмолкаемый скрип Земли* из стихотворения про рай Чингисхана — это скрип земной оси или скрип земли на зубах? Опять обе трактовки почти равноправны.

Иногда двойственность становится ясна со временем. На том, давнем уже теперь обсуждении стихов Сергея Александр Переверзин заметил — может быть, сгоряча, может быть, обдуманно: «Если меня спросят, что написал С. Королев, я вспомню: “Путин вел в долину избытия Свой немногочисленный народ”. Теперь, когда народ Путина сделан действительно совсем многочисленным и весьма избыточным материально, такое было бы написать легко и неинтересно. А тогда — о чем это было?

Иногда образы оказываются парадоксальными на ином уровне: они легко предствимы, но при этом невероятны с точки зрения обыденной логики: «Как скинхэд на дизельной пироге / Он плывет в окутавшем дыму». Это про дворника. Про того же персонажа — и одно из самых знаменитых стихотворений:

Побежала метла по плевкам,  
По окуркам да по листьям.  
Вася — гений. Значит, пока  
Вася дворничает в Москве.  
В чем он гений? — Не знаю, в чем.  
Верю: гений — и хорошо.  
Тускло временем освещен,  
Сам не знает, зачем пришел.  
Хоть Тверская и не Бродвей,  
Даже вовсе в другой степи, —  
Вася пьет на Тверской портвейн,  
На Бродвее бы — виски пил.

Тут не человек красит место, а место человека: дворник-то литинститутский, стало быть, в литинститутской мифологии — дальний наследник Андрея Платонова. Тонкая надежда на гениальность. И другие чаяния высказываются не напрямую. Вот «под сакральной цифрой тридцать семь» при жизни Сергея, вероятно, смотрелось рисовкой: зачем отмерил себе столь малый срок? А получилось много короче...

При очень значительном, едва ли не абсолютном, совпадении по текстам, между дипломом и книгой Сергея Королева есть существенная разница. Диплом назывался «В провинциальных страшных городах». Между тем на все том же достопамятном обсуждении о стихах Королева высказалась Марина Мурсалова. Высказалась, быть может, раньше и точнее прочих: «Большая тема у Сергея действительно есть, но это не тема существования в нищей и пьяной провинции. Это тема существования в пустом и холодном мире, где ни один зов не встречает ответа, где все теряется, чтобы не найтись никогда, где самая большая ценность на свете — человеческая душа, «искра в черной бездне» Паскаля — оказывается брошенной или, хуже того, гибнет, гибнет в живом еще теле, где только смерть — спасение от «потной сбури бытия», где даже тот, кто наделен умом и властью, наг и беззащитен перед невидимым лицом истины».

Книга составлена именно так, чтобы подчеркнуть эту главную тему. Тут с радостью, как и было обещано, отмечаю заслугу редактора. Увы, с такой любовью сборники ушедших составляют не всегда. Достаточно вспомнить книгу однокашника Королева по Литинституту, тоже рано ушедшего Сергея Казнова. В его книге — три десятка поздних и действительно очень хороших стихотворений потерялись между ранней невнятицей и воспоминаниями более успешных приятелей — Дмитрия Быкова, например.

Удалось составителю книги и другое, может быть, куда более важное: каждый из трех разделов трагически незавершен. Оборван на взлете. И теперь уже не завершится. Но зато

отражение пребудет навсегда  
замерзать-мерцать-оттаивать  
в стекле

Тоже, между прочим, немало.

Хотя общее ощущение — трагическое, конечно. Особенно, как это ни парадоксально, от первого раздела. Чистая, ясная лирика. Недавно обретенный, но свой голос. Несомненные надежды. И такой финал. Будто шли рядом поэтическая биография и собственно жизнь, иногда ссорились, но друг другу не мешали. А потом раз — и разошлись навсегда, разорвались. Бывает. И каждый раз жаль. Особенно когда талант был вот так явлен и предъявлен.

*Андрей Пермяков*

## **Байки и фантасмагории**

**Александр Котюсов.** *Дегустация любви.* — Нижний Новгород: Деком, 2011.

Первая книга прозы Александра Котюсова вышла почти «синхронно» с первыми значимыми публикациями в журналах. Но не все «журнальные» публикации вошли в книгу «Дегустация любви».

Знакомство с любой книгой обычно начинается с издательской аннотации на второй странице. Как правило, ее просматриваешь бегло, торопясь к основному тексту. Но здесь аннотация невольно обращает на себя внимание своей добросовестностью. Она не столько интригует читателя, сколько вводит его в курс дела, знакомя с «писателем начинающим, но имеющим огромный жизненный опыт», который «не останавливается на каком-то одном жанре, давая читателю «попробовать» свое творчество со всех сторон». Далее — почти интимное признание: «Первая часть книги в той или иной степени связана с личной жизнью автора. В ней практически все сюжеты вытащены из его собственной памяти». Но зато «во второй части сборника автор дает собственной фантазии полный простор».

Но с позиций читателя это вступление не столько полезно, сколько вредно. Не стоило бы прежде времени обращать внимание на то, какие рассказы «сконструированы», какие — записаны с природы. Об этом должны говорить тексты.

Не стоило делить книгу на части «невывдуманное» и «вывдуманное». Для читателя разницы нет, пережил ли автор то, что описано захватывающе; но разделение текстов по качеству очевидно. Александр Котюсов практически разделил свою книгу на «сильные вещи» и «вещи условно годные».

Истории в первой части подчеркнута «жизненны», и то, что они во многом автобиографичны, без труда «вычитывается» из деталей повестей и рассказов, связывающих их между собой и с персоной автора, который чаще всего называется без изысков — «я». Автор обращается к читателю в постскрипуме рассказа «Дедушкино пианино», который в книге исполняет роль предисловия: «Хочется, чтобы рассказы мои понравились... Хочется... чуть было не сказал «славы», — хочется, чтобы еще кто-нибудь прочитал. И сказал бы что-нибудь. Хорошее, желательное». М-да, в каждой шутке есть только доля шутки; мне кокетливо-панибратское обращение автора к читателю представляется лишним. Мало того, оно «закольцовано» в послесловии! В «Притче о писателях» (которые

гордятся собой, а их, тем не менее, никто не читает). Александр Котюсов здесь отвешивает нам «прощальный поклон»: «...если у вас хватило сил и интереса прочитать до этой страницы, значит, я не зря трудился. Спасибо». Хочется ответить: «Пожалуйста!» — и, боюсь, вежливый ответ будет дышать иронией.

Это не возбраняется, конечно — ни усиленное присутствие автора на страницах книги, ни повествование, основанное на реальных событиях. Однако имеет существенное значение для критика. Ибо наиболее удачные рассказы и повести в сборнике «Дегустация любви» — те самые, автобиографические, взволновавшие некогда не «сочинителя», а человека.

Из них выделяется дебют в «Знамени» — повесть «Молдавская история про войну и мир», простая и страшная в сопоставлении страниц «мира» и «войны» на одной и той же земле, прежде цветущей и благодатной, теперь — полной опасности, таящей нелепую смерть... Дядька героя-рассказчика погиб в первый же день, как записался в Приднестровскую армию. Уходил на войну он как на работу, велел жене пожарить ему на ужин баклажаны с чесноком... Баклажаны остыли на столе. Человека убили под вечер, хотя «договаривались вроде по ночам не стрелять». Тарас Прокофьев стал одним из шестисот двадцати погибших в ходе «приднестровского конфликта».

Контраст «войны» и «мира» беспроявлен в художественном смысле по сути своей (как это ни цинично звучит) — недаром на нем «построено» столько великих произведений искусства!.. Конструкция прозаического повествования по типу «байка о войне» (хотя «байка» может быть и трагической, и полной черного юмора, и нравоучительной, etc.) чаще всего легко читается и вызывает интерес. Возможно, потому, что состязание, а с ним и война — один из древнейших и «основных» инстинктов человечества, к которому почти никто не равнодушен. Возможно, наоборот, «притягательно» работает естественное отвращение высокоорганизованного человека к уничтожению себе подобных. Так или иначе, но «книги о войне» — одни из самых читаемых.

«Молдавская история про войну и мир» богата подробностями и деталями, которых не придумать. Сюрреалистичное (но не чуднее, чем сама жизнь) сочетание бесхитростных будней студотряда, брошенного на молдавские «консервы», и — десять лет спустя — войны на тех же территориях «наших» и «чужих», которые различаются только по форме, впечатляет. При всем том в этой истории нет «деланности». Она легка и естественна, точно выдох. Не думаю, что автор, берясь за нее, ориентировался на «популярность» воинских сюжетов, ставил себе цель «завоевать аудиторию» — несмотря на значительность оговорки, что хочется славы. Скорее всего, острота социального конфликта и серьезность его философски-идеологического подтекста в «Молдавской истории...» сделали свое дело. На сегодня она — лучшее произведение Александра Котюсова.

Для сравнения, фантазмагория «Последний полет белки» (из второй, фантазийной части сборника), в которой описывается некая абстрактная война с «манчжурцами», умозрительные солдаты — дозорные, называемые также «белками» за боевые посты на вершинах сосен, и тщательно «срежиссированная» автором нелепая смерть главного героя Евграфа из-за того, что пожалел замерзающего котеночка, проигрывает рядом с «непридуманной» историей. В ней писатель не фиксирует действительность, а создает ее силой воображения. Но его два рассказа о войне и гибели — просто небо и земля!.. Из фантазмагорий Александра Котюсова, по моему мнению, не удалась вполне ни одна. Скажем, «Молоко вепря» не выстроено по логике сюжета. «Член» пародиен по сути — великая повесть Гоголя «Нос» столь многим не дает покоя, что ее не раз «переписывали», называя вещи своими именами. Свежий пример — комедия 2010 года режиссера Ярослава Чеважевского «Счастливый конец», где от молодого стриптизера Павла сбегает этот орган, а его безутешный владелец находит настоящую любовь. Сказка для взрослых «Вольный олень» — несколько «лобовая». Наверное, Александру Котюсову не стоит уходить в чистые фантазии. Реалистические сюжеты у него состоятельнее.

Но и с ними не все просто!.. Рассказы в первой части книги буквально «идут по нисходящей». Байка — жанр коварный, она не всегда получается так же прекрасно и непринужденно, как «Молдавская история про войну и мир» — поставленная первой в сборнике и потому ставшая его нравственным и художественным камертоном. В байке ничто так не важно, как содержание. После патетического чередования мира и войны «байки командировочного» из Африки, да и из Америки, обе пронизанные темой секса, «не



читаются». Да и армейская пространный байка «Олл инклюзив!» воспринимается как еще одно «разочарование» в родимой армии: вот, мол, как наши люди любят вооруженные силы своей родины! Их на сборы приходится «заманивать» обещанием поездки на море, где «все включено» — и ведь не обманули, по гамбургскому счету!..

По трагическому накалу и затронутой нравственной коллизии только «Соболев и Голубка» (еще одна байка из студенческого отряда, весьма драматичная) может стоять рядом с «Молдавской историей...». Что важнее для человека — накормить своих товарищей, тех, кто на тебя лишь надеется, или сохранить жизнь ни в чем не повинному живому существу? Но, на мой взгляд, автор «упростил» эту нравственную задачку для читателя, когда придал повести финал, «зеркально отражающий» начало — что парней из стройотряда убивают деревенские так же, как те убивали голубей.

В повести о наркоманке, написанной от ее лица, «Доза», писатель убедительно показывает человеческую деградацию молодой наркоманки, у которой весь мир виноват в том, что она села на иглу. Но неубедителен финал повести, где излечившаяся героиня мстит человеку, еще более, на ее взгляд, опустившемуся, за то, что он бросил мать в психушке. Тут проявляется характерный для Александра Котюсова метод: создавать образ, так густо замешанный на пороках и отвращении, что хоть святых выноси! Дальше этот же прием встретится в «милицейской» фантазии с названием, как у народного сериала — «Менть». Они настолько мерзкие — аж зло берет!.. Назойливое присутствие воли автора, делающей одних героев черными, других белыми, а третьих — с крыльшками (например, голуби, гипертрофированно слащаво показанные), конструирующей кульминацию и катарсис, выдает неопытность прозаика. Парадокс, но, как только у Котюсова появляется «деланность», пропадает художественность.

В том, что Александр Котюсов по специфике творчества — не фантаст, а реалист, обладающий зорким взглядом и уверенным пером, убеждает его очерк о Борисе Корнилове — о том, как не находится следов действенной «памяти» о поэте в районе, где он родился и где установлен его монумент. Очерк хорош, особенно в формате «байки» — на сей раз о забвении. К сожалению, этот очерк в книгу «Дегустация любви» не вошел.

*Елена Сафронова*

## **Филология в лицах**

**Валентин Хализев.** *В кругу филологов. Воспоминания и портреты.* — М.: Прогресс-Плеяда, 2011.

В.Е. Хализев, заслуженный профессор МГУ, чья «Теория литературы» за десять лет выдержала пять изданий (уникальный случай для вузовского учебника), фундаментально перерабатывавшихся автором, на сей раз выпустил не очередную теоретическую или историко-литературную монографию, а книгу воспоминаний и портретов литературоведов, в основном знакомых и, к сожалению, уже покойных. Причем первый раздел книги — «коллективно портретный», он называется «Пора студенчества и аспирантуры», а повествует о временах позднего сталинизма и «оттепели» на филологическом факультете Московского университета, студентом которого Валентин Хализев стал в 1948 году. Далее еще два раздела о факультете, но теперь персонализированных — «Однокурсники: портреты, штрихи к портретам» и «У кого я учился в университете». К последнему примыкает раздел о «заочных учителях», и включает книгу рубрика «Филологи моего поколения» об ученых не только из МГУ, близких автору по возрасту (плюс-минус десять лет и меньше), но не однокурсниках.

Книга складывалась около десяти лет, отдельные очерки публиковались. В.Е. Хализев сразу предупреждает о ненадежности человеческой памяти. Так, его тетя, возвратившись из лагеря, сказала, что при известии о смерти Сталина ссыльные плакали. А 10—12 лет спустя, напротив, рассказывала нам <...>, как все этому событию радовалась. Мы «уличили» ее в прямой неувязке. Посмеялись. А тетя Оля серьезно, спокойно и, не сомневаюсь, совершенно искренне (как и в 1954 году) заявила, что о проливавшихся

слезах не говорила никогда: не было этого!» Сам Хализев, когда можно, подтверждает воспоминания своими дневниковыми записями.

«Самостоятельно мыслить и независимо действовать, — пишет он о студенческих годах, — было, говоря мягко, весьма нелегко, да и не очень-то мы понимали, что это такое. Замедленное развитие (умственное, нравственное, духовное) — такой оказалась участь подавляющего большинства из нас». Полезно было бы почитать об этом многочисленным современным поклонникам Сталина, превозносящим его эпоху. Их развитие на протяжении шести десятилетий остается замедленным. «Тем, кто помоложе на несколько лет, замечу, было уже значительно легче», — констатирует Хализев. В.А. Недзвецкий, другой заслуженный профессор МГУ, как раз моложе на шесть лет, в воспоминаниях, вошедших в его книгу «Статьи о русской литературе XIX—XX веков. Научная публицистика. Воспоминания» (2011)<sup>1</sup>, весьма строго судит о своих профессорах и преподавателях, боявшихся искреннего слова. Его поколение это понимало. А В.Е. Хализев, человек принципиально неконфликтный, своих учителей, даже не лучших, судит мягче. В начале раздела «У кого я учился в университете» он говорит о них, тогда еще более робких и неискренних, но нередко и агрессивных: «...“темные силы” на нашем факультете середины истекшего столетия все-таки погоды не делали. Давние традиции первого вуза России оказались неистребимыми». Материал раздела о студенчестве позволяет, однако, сделать вывод, что во всяком случае до середины 50-х годов темные силы (без кавычек) погоду делали. «У одной из наших преподавательниц в 1949 году был арестован муж. На следующее утро она прибежала в партбюро факультета и устроила скандал: «Какое вы имели право не сообщить мне, что он — враг народа?» Так она защищала свою репутацию и обеспечивала себе безопасность». Среди наиболее порядочных людей был очень тогда популярный среди студентов профессор Г.Н. Пospelов. «После того как на одной из лекций он сказал о мотиве таинственных и чарующих звуков в лермонтовских стихах, пришла записка одного из слушающих: «Какова социальная функция этого мотива?» Геннадий Николаевич, естественно, ничего не знал о социальной функции волшебных звуков у Лермонтова. Смущился и сказал о том, что этому мотиву не следует придавать большого значения». Не удержался в МГУ самый конъюнктурный из советских критиков — Ермилов. «В 1949 году или около того был объявлен спецкурс В.В. Ермилова «Социалистический реализм». Народу набежало на первую лекцию — видимо-невидимо. <...> Кто-то, кажется, даже не смог туда попасть. А через несколько дней нам объявили, что спецкурс не состоится». Ермилов мог просто заняться чем-то другим или запьянствовать, но объяснение Хализева другое. Его рассказ об этом «много лет спустя неоднократно вызывал удивление младших коллег: как? Официозному Ермилову не дали прочитать лекционный курс на «нужную» тему? А мне это понятно. Во-первых, Ермилов в те времена для нас, мало осведомленных, не был «тождествен» его нынешней репутации. Книжки его о Чехове читались школьниками-старшеклассниками (мною — в том числе<sup>2</sup>) и студентами одобрительно и с интересом: на том фоне они выглядели неплохо. И партийно-административным верхам «лекторский успех» Ермилова был совершенно ни к чему. К тому же (и это, наверное, являлось главным) само по себе добровольное, официально не считавшееся обязательным присутствие в аудитории большого количества студентов не могло не смутить наше начальство: имело место некое отклонение от “нормы” тех лет!»

В таких условиях молодым гуманитариям очень трудно давалось «медленное “вылезание” из глубокой ямы предельно узкого кругозора и догматического мышления». Впрочем, лучшие из них принципиальный перелом прошли отнюдь не медленно, хотя за ним должна была последовать еще долгая история развития и углубления мировоззрения. В 50-е годы «стремительная эволюция многих из нас <...> имела место на протяжении всего лишь двух-трех лет, если не меньшего времени», как потом было с большей частью общества в краткие годы перестройки. Но «до критического отношения к Ленину и его сподвижникам, к событиям октября 1917 года и к реальности конца 10—20-х годов мы в ту пору еще не поднялись. <...> Знаменательный факт: прочитав на рубеже 50—60-х годов роман “Доктор Живаго” (в заграничном издании он попал в мой дом благодаря

1 См. рецензию в «Знамени», 2011, № 10.

2 В.Е. Хализев — автор блестящих работ о Чехове.

Диме Муравьеву на два-три дня), я говорил жене (и она соглашалась), что Пастернак неоправданно переносит атмосферу 30-х годов (сталинскую) на рубеж 10—20-х. Вспоминать об этом сейчас — смешно и грустно».

Рассказывать об университетских учителях В.Е. Хализев начинает с редкого эрудита и гения устного слова, не имевшего никаких ученых степеней и званий, но исключительно популярного среди студентов с 1940-х годов по начало XXI века, Н.И. Либана, своего первого научного руководителя. Другой популярнейший лектор, пушкинист и стиховед профессор С.М. Бонди, которому тоже посвящен очерк Хализева, говорил в ответ на вопрос о публикациях Либана: «Да какие там публикации! Николай Иванович — акын еще больше, чем я». Вероятно, тогдашний официоз придирался бы к статьям и книгам Бонди за эстетический подход к литературе больше, чем к его лекциям. Либан же, не очень признававший в духе 20-х годов, времени своей юности, литературоведение (да и литературу) XX века, но ценивший дореволюционное, говорил: «До тех пор, пока вы не изучили *все* написанное по данной теме, вы не имеете права начинать писать собственную работу». Широкий человек, В.Е. Хализев в очерке об А.П. Скафтымове без осуждения приводит и его противоположное наставление: «Сначала надо научиться самостоятельно осмысливать текст, а уже после этого можно привлекать критическую литературу для подтверждения или опровержения собственного мнения».

О живости ума Н.И. Либана за три года до смерти свидетельствует его ответ на просьбу Валентина Евгеньевича сказать хоть две фразы о себе: «Две фразы? Пожалуйста. Первая: “Мне девятно четыре”. Вторая: “Вам того же желаю”». А юному студенту Вале, год прозанимавшемуся у него, Либан сказал: «Идите в семинар Геннадия Николаевича (Поспелова). Он сможет дать вам больше, чем я».

Про своего уже постоянного научного руководителя Хализев справедливо пишет, что к нему «студенты относились очень по-разному. Диапазон мнений о нем был весьма широк: от глубоко заинтересованного, благодарного, порой восторженного приятия до иронически-холодной отчужденности (последнее в 60-е годы и позже, к сожалению, возобладало)». Отношение студентов к Поспелову изменилось по объективной причине: его строгая формальная логика обернулась схоластикой и схематизмом, если в надуманные теоретические схемы реальный литературный материал не влезал — тем хуже было для литературы. С течением времени принципиально не менялся ни Поспелов, ни Бонди, ни Либан (в отличие от Хализева), однако последние до конца сохранили свой авторитет у студентов, а авторитет Поспелова («крокодила Гены») полностью испарился. К тому же он в 1960 году создал первую в нашей стране, но не лучшую кафедру теории литературы, на которой Хализев проработал всю жизнь, неизменно оставаясь там исключением из печального правила. В мемуарах его настроения в связи с этим дважды прорвались. В очерке о Поспелове: «С одной стороны, ценил меня как серьезно работающего человека, иногда противопоставляя некоторым другим членам кафедры (это, естественно, не тема разговора). С другой же стороны, сетовал на мою “методологическую неустойчивость”, говоря, что остальные его сотрудники “надежнее”. «Надежнее» для Поспелова, неустанно критиковавшего «идеализм», были его неумные эпигоны. В очерке об А.В. Михайлове, который был аспирантом кафедры, сказано о разговоре с ним в середине или конце 60-х годов: «Его резкие слова об атмосфере на нашей кафедре, с которой он расстался, не став защищать диссертацию: “Такого, как у вас, нет вообще нигде”». Но Г.Н. Поспелов был достойным человеком. В год его 90-летия Хализев на конференции подверг сомнению одну из формул Поспелова. Ему это передали. При встрече, пишет мемуарист, «он спросил, действительно ли я его критиковал. Я ответил: “Да. Почему бы и нет? Вы ведь своего учителя Переверзева критиковали!” Встречная реплика прозвучала сразу же, твердо и решительно, без тени огорчения и досады: “Верно. Так и надо”».

Еще среди преподавателей МГУ в книге выделены фольклорист Э.В. Померанцева, ушедшая из университета после того, как ее, известную своей принципиальностью, декан Р.М. Самарин отстранил от участия в работе специализированного совета «в преддверье докторской защиты В.И. Кулешова, удобного сильному факультетского мира», и специалист по советской литературе В.Д. Дувакин, заступившийся в суде за своего ученика А.Д. Синявского и изгнанный после этого с факультета (Хализев рассказывает о своих хлопотах с целью добиться предоставления ему работы хотя бы в другом подразделении МГУ, что и произошло). Раздел о «заочных учителях» посвящен М.М. Бахтину, саратов-

скому историку русской литературы А.П. Скафтымову и малоизвестному неофициальному философу А.А. Золотареву. Первый и последний побудили автора заняться общегуманитарной проблематикой. Его восприятие работ Бахтина, по-видимому, соответствовало господствовавшему отношению к ним: произошла эволюция от безоговорочного, даже восторженного приятия до аналитического подхода, допускающего «не только рго, но и сонга. Говоря иначе, мы (точнее — многие из нас) подошли к наследию Бахтина с позиции «внеаходимости», по его убеждению, единственно плодотворной».

В отдельных очерках рассказывается об однокурсниках: Марке Щеглове, который умер 30-летним, но успел за три с половиной года печатания стать лучшим критиком 50-х годов (в пору его первых публикаций автор, «как, наверное, и большинство из нас, не представлял себе, сколь серьезны и масштабны» его работы), и о менее известных широкой публике редакторе Николае Розине (ему во многом обязаны своим высоким качеством энциклопедические издания нескольких десятилетий), переводчике и публицисте Шимоне Маркише, литературоведах Всеволоде Ревиче, Светлане Лиманцевой, Ирине Созоновой, Татьяне Серковой, Ирине Михайловой; неоднократно упоминаются здравствующие Сергей Бочаров, Игорь Виноградов и «Стасик Лесневский» (издавший рецензируемую книгу). Владимир Лакшин был немного моложе и попал под рубрику «Филологи моего поколения». Фигурирует он также в очерке о Елизавете Михайловне Пульхритудовой, которая, будучи увлечена им, но «хорошо понимая как его незаурядные достоинства, так и каверзы характера (незащищенность от соблазнов блистательного успеха), была исполнена тревоги за него: что возобладает и возьмет верх в его душе и поведении?» Сама она, равнодушная к успеху, как и медиевист В.В. Кусков, карьеры не сделала (тот под давлением кафедры истории русской литературы МГУ все же написал докторскую диссертацию), хотя, по словам Хализева, «была гуманитарно самым образованным человеком, все мы ей намного уступали (включая оказавшихся позже более “заметными” Игоря Виноградова, Лакшина и Турбина)», а Поспелов «считал ее самой способной из своих учеников» и, будь его воля, создал бы лучшую кафедру, чем та, которая получилась: в 1957 году он несмотря на ее строптивый нрав «сделал попытку взять Пульхритудову на кафедру русской литературы, возглавлявшуюся А.Н. Соколовым. Но парторг факультета (другой Соколов, А.Г.) и В.И. Кулешов, как рассказывала Лиза, заявили, что они решительно против».

Остальные очерки посвящены ярко талантливому фантасту от литературоведения Владимиру Турбину, «зарубежнику» Самарию Великовскому, теоретику литературы и германисту Александру Михайлову (глубину работ которого Хализев оценил лишь после безвременной смерти ученого) и нижегородскому историку русской литературы Всеволоду Грехневу — жертве столкновений с тупым начальством: «...“крупно” поговорил с Г.В. Москвичевой (повод — заниженная отметка его аспирантке), резко повысил голос и тут же, в помещении кафедры, умер».

Очерк о В.А. Грехневе, не дожившем, как и А.В. Михайлов, до шестидесяти лет, называется «Свет сильный и яркий...» Сильный и яркий свет ждет всех читателей этой книги, а не только одного из входящих в нее очерков. На фотографиях перед ними предстают лица тех людей, так или иначе замечательных, о которых в ней рассказывается.

*Сергей Кормилов*

## **С Бабелем и без Бабеля**

**Антонина Пирожкова.** Воспоминания, публикация Андрея Малаева-Бабеля. — Октябрь, 2011, № 9, 12.

*«Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева  
и Козлова приезжают с Павелецкого вокзала».*

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев

А поскольку я приезжаю в столицу именно с этого вокзала, то и станция московского метро, на которой я впервые очутился в 1953 году и до сих пор бываю чаще, чем на других, естественно, была «Павелецкая». Но лишь сравнительно недавно я узнал, что ведущим конструктором станции, да и московского метро, была жена, потом вдова Исаака

Бабеля, «...инженерному перу» Пирожковой принадлежат такие шедевры московского метро, как станции «Площадь Революции», две «Киевские» — кольцевая и радиальная, «Павелецкая». Как часто на станции метро «Маяковская» можно увидеть людей, запрокинувших головы, чтобы полюбоваться куполами с мозаикой художника Дейнеки. И только немногие знают, что именно Антонина Николаевна Пирожкова чудом сумела преобразить уже возведенную конструкцию станции «Маяковская», первоначальный проект которой не предусматривал высокого потолка с куполами!» — пишет в предисловии Андрей Малаев, внук Бабеля и Пирожковой.

С легкой руки Эренбурга повелось считать, что в утвержденных деспотом расстрелах присутствовала некая безумная лотерея, кавказская рулетка: дескать, почему был уничтожен кремлевский журналист Кольцов и пощажен независимый Пастернак, и т.д.

Я, как и большинство людей моего времени (хочется верить, что и молодых людей нового времени), никогда не переставал размышлять о причинах неслыханного в XX веке мирового феномена под названием «борьба с врагами народа». Да, дармовая рабочая сила в ГУЛАГе, да, расправы с политическими врагами и соперниками, да, запугивание населения одной шестой части земной суши, да, маниакальная подозрительность злодея, да, палаческая привычка у исполнителей его воли, и все же — не лотерея, не лотерея.

Что касается Эренбурга, причина его сохранности очевидна: он-то был для Сталина ценнее очень многих, потому что был один такой Эренбург и более никто.

О Бабеле встречается объяснение, что Исаак Эммануилович чересчур много и близко общался с чекистами и партийными руководителями. Тут есть правда, но не вся. Тогда вообще приняты были такие отношения у власти и писателей, начинавшихся еще в 20-е годы, затем лично стимулируемые и провоцируемые самим Сталиным под «крышей» дома Горького, продолжавшиеся более приватно, скажем, в доме Бриков, и т.д. И Бабель здесь не исключение, а правило. К тому же в отличие от таких деятелей, как Кольцов или Киришон, он не был ни членом партии, ни, главное, политиканом.

И не в «Конармии» дело. Чем возмутила книга Буденного и других? Пресловутым «натурализмом». Но опять-таки «Конармия» хоть и была ярче и круче, а главное — непривычнее, но далеко не исключение из правила в изображении красноармейцев: достаточно назвать Всеволода Иванова, чей восхитивший Хозяина рассказ «Дите» с 20-х годов был под запретом в СССР вплоть до перестройки.

Мое субъективное мнение, что в расправах играли немалую роль симпатии и антипатии Сталина. Ну, нравился ему сибиряк Иванов и не нравился одессит Бабель, всем не нравился — долгими поездками за границу, любовью к Парижу и французскому языку, особой «раввинской» мудростью. Подобную же неприязнь, думаю, вызывал у него и Пильняк, правда, уже российским нахальством.

Почему он пять лет дал погулять, во всяком случае, не уничтожил, да еще с такой стремительностью, — Мандельштаму? Интересно было палачу понаблюдать за мучениями гонимой жертвы? Или ему было интересно, что еще выкинет этот сумасшедший, опять что-нибудь про него сочинит?

А быть может, бывший стихотворец Джугашвили и впрямь полагал, что поэзия должна быть грустновата, ведь был же он, как ни странно, большим поклонником Вертинского, чему немало свидетельств?

Пирожкову оставили не только на воле, но и на ответственной — ключевая роль в строительстве московского метро — работе. Объяснение этому может быть лишь одно: ей — позволю некорректное, просто по тексту возникшее сравнение, — как и Эренбургу, просто замены не было.

Но напряжение моей нехитрой мысли вызывает не это, а *вдохновение*, с которым Антонина Пирожкова создавала большой сталинский стиль. (При этом боролась за мужа, став, если не путаю, первой вдовой известного человека, добившейся его реабилитации вскоре после смерти диктатора).

И здесь я естественно прихожу к точке размышлений вообще: что же рождало шедевры архитектуры, других художеств, но прежде всего архитектуры, во время большого террора? Большой стиль во время большого террора.

Моя мысль бьется в узком направлении и, хочешь не хочешь, приходит к выводу, — нет, конечно, не о благотворности репрессий в деле расцвета искусств, а к невозможности творца отказаться от предоставленного шанса сделать шедевр. Разве великое творение

Душкина и Пирожковой — станция «Маяковская» — результат приспособленчества и страха?

Воспоминания А.Н. Пирожковой в части, касающейся жизни с Бабелем, в значительной мере уже знакомы читателю. Не стану пересказывать многие эпизоды любви двух замечательных людей, которые сохранила живая и независимая память Антонины Николаевны. Сейчас, при чтении, мне особенно бросились в глаза строгие, не подберу другого слова, отношения супругов. Дело даже не в обращении на «вы» (не такая уж редкость), не в духе того времени нередкое раздельное проживание. Высота их отношений напомнила мне, как ни покажется странным, нравы в самых высоких, самых лучших дворянских семействах России.

Особое мое восхищение вызывает неприязнь супругов к т.н. писательской жизни, которую уже позже стали именовать «Аэропортом»: «Мальро сказал, что “писатель — это не профессия”». Его удивляло, что в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются, живут в обособленных домах, имеют дачи, дома отдыха, свои санатории. Об этом образе жизни писателей Бабель как-то раз сказал:

— Раньше писатель жил на кривой улочке, рядом с холодным сапожником. Напротив обитала толстуха-прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных детей. А у нас что?»

И многое, и многое другое, чем обогащают наше представление не только о Бабеле, не только об эпохе 30-х годов, но, в сущности, просто о *настоящей жизни настоящих людей*.

В 1972 году, в июле, я жил в Коктебеле. Комната была в пристроенном к Дому Волошина корпусе, прохладном, из ракушечника. Соседями были Антонина Николаевна Пирожкова, ее дочь Лидия и внук Андрей, которого братья-писатели прозвали *бабеленок*. Сын мой был ему сверстником. Естественно, я — в меру деликатности — заговаривал о Бабеле с Антониной Николаевной, к которой в полнейшей мере подходило старинное книжное определение «женщина со следами былой красоты». Теперь я могу точно сказать, что ей было 63 года — на два года меньше, чем мне сейчас. Лидия Исаковна запомнилась, кроме легкой веселости нрава, удивительным сочетанием красоты и сходства с отцом, которого, как известно, красавцем нельзя было назвать.

Так вот, в одной из первых бесед Антонина Николаевна проявила — это я теперь понимаю — редкую перед незнакомым человеком открытость. Она рассказала, что в КГБ ей не дали справку, аналогичную той, что выдали родственникам Михаила Кольцова: акт об уничтожении всех бумаг, изъятых при аресте; и она надеется, что рукописи Бабеля еще находятся где-то в недрах Лубянки. Тогда же я услышал от нее о незавершенной повести «Еврейка». Еще — что она не собирается эмигрировать, в отличие от Надежды Яковлевны Мандельштам, которая решила уехать, как только выйдет том Осипа Эмильевича в «Библиотеке поэта». Я все это помню хотя бы потому, что тогда записал. И сейчас знаю, что Надежда Яковлевна никуда не уехала, и помню, как из года в год переносившийся том Мандельштама в «Библиотеке поэта», вконец исхудавший, вышел минимальным тиражом с подлым предисловием А. Дымшица (1973).

Более встречаться с Антониной Николаевной мне не довелось, но однажды в редакцию «Волги» пришел исследователь творчества Бабеля Стив Левин, знакомый мне еще по спецсеминару замечательной, затравленной затем коллегами с саратовского филфака Геры Владимировны Макаровской. Он принес текст, связанный с пребыванием Бабеля в Саратове и Заволжье (см. «В ослепительном свете вымысла... И.Э. Бабель на Саратовской земле». Волга» 1994, № 9—10). И позвонил от меня Пирожковой. Тут я проявил тщеславный интерес к тому, помнит ли она меня, ведь больше двадцати лет прошло. Он дал мне трубку, и оказалось, что Антонина Николаевна меня помнила.

Я спросил ее — в надежде на публикацию в «Волге» — о повести «Еврейка» и услышал в ответ твердое: повести-то, в сущности, нет.

И вот от всего у меня осталось то же впечатление, что и от чтения ее воспоминаний: ее не то чтобы отдельности от Бабеля, но той самостоятельности натуры, которую невозможно отделить от служения памяти и творчеству великого мужа.

## Проза художника

«То было давно... там... в России...»: Воспоминания, рассказы, письма: В двух кн. / **К.А. Коровин**. Сост., вступ. ст. Т.С. Ермолаевой; прим. Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной. — М: Русский путь, 2011.

Двухтомник «То было давно... Там... В России...» — сборник сочинений Константина Коровина под синей обложкой, кирпично-тяжелый — вместивший в этой картонно-бумажной тяжести целую жизнь.

Целую человеческую жизнь, просмотренную человеческими же глазами: детство — родители и школа; юность — художественное училище, институт, новые знакомства; зрелые годы — вынужденная эмиграция, болезнь жены; и старость — нищета, покинутость, смерть лучшего друга.

Этот двухтомник, опубликованный в издательстве «Русский путь», открывает нам совершенно нового Константина Алексеевича Коровина — не художника-импрессиониста, любимца публики, работника Большого театра, а писателя, без прикрас, но все же в удивительно светлых тонах рассказывающего о своей жизни, такой разной и наполненной трудностями.

Коровин-писатель на протяжении всей жизни будто следовал за Коровиным-художником по пятам, слово в слово записывая все, что тот видел и чувствовал. Проходя по улице, схватывал голоса, так по-разному звучащие в разные годы, делал пометы в дневнике и шел дальше, сохраняя в бумажной памяти то завтрак в большой семье, то встречу с нищим или солдатом, то вечер в компании коллег-художников. И с каждым написанным словом произошедшее, спасенное от забвения, ширилось, и тем Коровин спас для нас былое — старую Россию, ее быт, сохраненный в мемуарах художника до мелочей, ее потрясения — Коровин пережил революцию и эмиграцию, — ее победы.

В истории жизни одного человека — представителя интеллигенции, художника и дворянина — отразилась судьба целой страны. Страны, ушедшей навсегда, вместе с царской семьей, вместе с «философским пароходом», одновременно с которым и Коровин покинул Россию. Ушедшей, но оставившей свой след.

И именно этим отголоском прежних времен стали мемуары, рассказы, очерки К.А. Коровина, опубликованные в большинстве своем впервые в данном издании. Измученный тоской по Родине в вынужденной эмиграции, Коровин создал, возможно, не уникальный, но очень точный образ России — светлой, любимой и такой разной. Все произведения в двухтомнике написаны в теплых тонах — и это несмотря на то, что жизнь художника-мемуариста была очень непростой — болезнь и ранняя смерть жены, изгнание, трудности за границей, инвалидность и попытка самоубийства сына. Но обо всем этом мы узнаем лишь из писем, также частично опубликованных в двухтомнике «Это было давно... Там... В России...». Художественные же произведения Коровина преисполнены радостных, теплых воспоминаний и, хотя, согласно многим свидетельствам современников, характер Константин Алексеевич имел непростой и часто вступал в конфликты с ближними, в его рассказах мы не найдем, пожалуй, ни одного дурного слова о его друзьях и знакомых.

Самым близким другом художника был Федор Шаляпин. Именно ему посвящена множество рассказов Коровина и даже целая книга: «Шаляпин: встречи и совместная жизнь», опубликованная во втором томе данного издания. Между Шаляпиным и Коровиным была по-настоящему крепкая дружба. Вместе они пережили самые сложные времена, времена страха за свою семью и жизнь — революцию. И во многом именно смерть самого близкого друга в 1938 году была причиной смерти Коровина: гибель Шаляпина стала для него сильным ударом.

Немалый интерес представляют также впервые опубликованные письма Коровина. Именно в письмах раскрывается коровинская тоска по Родине, становится очевидным бедственное положение эмигрировавшего художника: несколько раз, связавшись с недобросовестными дельцами, он лишился картин, не получив за них ни копейки, тратил большие деньги на лечение жены и сына, жил в самых дешевых квартирах на окраинах Парижа.

Во многом именно нищета и болезнь подтолкнули Коровина к обращению к писательскому ремеслу: серьезные проблемы со здоровьем не позволяли ему подолгу стоять у мольберта, и он заменил изобразительное искусство искусством слова, чтобы хоть чем-то обеспечивать себя и свою семью.

Занятия литературой стали для Коровина единственной отдушиной в то тяжелое время. Он начал писать и работать в редакции уже пожилым человеком, не жалея сил для того, чтобы овладеть этим новым для себя ремеслом. Количество написанных Коровиным рассказов поражает: оба тома насчитывают в сумме около 2500 страниц.

В первом томе данного издания опубликованы мемуары художника, в основном сосредоточенные на воспоминаниях Коровина о детстве и годах, проведенных в России. Озаглавлены мемуары просто: «Моя жизнь». В них ярко проявляется не только писательский талант Коровина, но и его натура художника: он создает прекрасные словесные пейзажи, очень внимателен к деталям, ко всему видимому.

Также первый том включает воспоминания 1917 года. В этом произведении Коровин, схватывая разные голоса, фиксируя случаи, создает объемный образ революции — он смотрит на нее изнутри, освещая не положительную и не отрицательную ее сторону, а сторону жизненную, реальную. И в этой теме художник воздерживался от резких суждений, несмотря на то что очень тосковал по прежней, дореволюционной России и жалел о ее утрате.

Оставшуюся часть первого тома занимают «ранние» рассказы художника и писателя, датируемые 1929—1935 годами. В большинстве своем они, так же, как и мемуары, посвящены жизни Коровина в России: тут и воспоминания о детстве, и шуточные очерки из жизни студентов художественного училища, и описание охоты. Рассказы Коровина — как правило, небольшого объема и написаны простым языком. Но именно эта простота, ненавязчивость делают его произведения очень притягательными.

Во втором томе опубликованы рассказы 1936—1939 годов (они, как и в первом, занимают основную часть), книга «Шаляпин: встречи и совместная жизнь», а также — в разделе «Из неопубликованного» — прозаическое произведение, озаглавленное «Охота... Рыбная ловля... Коля Куров», и письма. «Охоту...» художник писал в сложный для него и его семьи период — после предпринятой сыном попытки самоубийства, для поддержания в нем жизненных сил.

В разделе «Письма» представлены не изданные ранее материалы из отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи: отрывки из переписки Коровина с И.К. Крайтором и С.Ф. Дорожинским. В этих письмах Коровин делится с адресатами своими планами и замыслами, рассказывает о продаже картин, ходе работы над ними и о своих впечатлениях.

Во вступительной статье авторства Т.С. Ермолаевой даны достаточно подробная биография К.К. Коровина (но не как художника, а именно как писателя) и краткий обзор его творчества. Также в данном издании доступны примечания (Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной), а конце второго тома — алфавитный перечень рассказов и указатель имен. При подготовке данного издания проделана большая работа по сбору и кодификации материала, многие вещи публикуются впервые, и данный двухтомник, по сути, — первый крупный свод литературных произведений Коровина.

Настроение, суть всех опубликованных в данном издании рассказов, писем, очерков как нельзя лучше отражены в названии — последней строчке коровинского рассказа «В сочельник»: «То было давно... Там... В России...». Ведь в этой фразе есть все: и нежные, ностальгические настроения писателя, и его осознание безвозвратности былого, и грусть от изгнания из родной страны — не с ее территории даже, но из прошлого, разрушенного революцией. Безусловно, и этот двухтомник, и все творчество Константина Алексеевича Коровина стали памятником той, ушедшей России.

*Лидия Ким*

## **Панорамное зрение**

**Татьяна Смолярова.** *Державин. Зримая лирика.* — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Пирамида из линз на обложке книги, к тому же подпертая лорнетом, возможно, и собирается с названием серии — «Очерки визуальности», но читателя сбивает с толку. Исследо-



вание Татьяны Смоляровой вовсе не внедряется в поэтику Державина сверхооруженным глазом, не бурит ее, не делает узкий вертикальный срез, но, напротив, раскидывается вширь. Французская революция и английский парк, мелодрама и силуэты, воздушный шар и «волшебный фонарь», радуга, прялка «Дженни», виллы — Палладио, в изобразительном сопровождении — картины Лоррена, иконопись, дидактическая иллюстрация... И Державин здесь главная, но не единственная «опорная» фигура. На избранный исторический промежуток как бы накидывается сетка имен и текстов: Поуп, Локк, Ньютон, Эдвард Юнг, епископ (затем митрополит) Евгений Болховитинов, Делиль с его «Садами», Эдмунд Берк с его «Размышлениями о революции во Франции», Джозеф Аддисон с его «Удовольствиями от воображения» и менее известный Марк Экенсайд с «Удовольствием от способности воображения» (у первого — серия статей, у второго — поэма)...

«Рубеж XVIII—XIX столетий в российской истории был первым *рубежом веков* в прямом смысле слова, точнее — в новоевропейском его понимании. <...> 1801 год стал первым поворотным моментом в истории России, осознанным современниками как таковой». Заметим также, что перевал от XVIII века к XIX был первым, который Россия — скорее культурно, чем цивилизационно, но все же — преодолела *вместе* с западным миром, рука об руку со временем. Книга Татьяны Смоляровой показывает, что это было за время, с разных точек обзора, а все траектории взгляда сходятся в центре, на личности Державина.

Именно центростремительным движением, синтетическим подходом, когда ни одна нить не упускается, и привлекательны монографии, подобные этой, книги-универсумы, в которых автор творит в пространстве фактов упорядоченное, непротиворечивое единство; создает из исторической и интеллектуальной реальности волшебную страну (субъективный домысел держится в допустимых пределах), где все до неправдоподобия и обезоруживающе убедительно со всем сходится.

В отшлифованном до состояния гладко-безличностной поверхности тексте, где авторская речь лишь сшивает цитаты и скупо обобщает, вдруг попадаются формулы образные, прожектором высвечивающие суть: «Поэзия Державина — прежде всего памятник воздуху. Воздуху обоих веков, на которые пришлось его время». Татьяна Смолярова предоставляет нам пробу этого воздуха. Как труд, рассчитанный на аудиторию не только академическую, книга эта — средство от многочисленных клише, заслонивших подлинный XVIII век, неохватный во всей его противоречивости. Да, «век разума», но и нечто более сложное, нежели наши постиндустриальные, постсциентистские вчитывания. Это XIX век приучил нас понимать «разум» как скучную ранжированность. Ученых же, мыслителей и поэтов века разума объединяет «глубокая убежденность в прямой, а не обратной зависимости “чуждести” мира от его доступности пониманию».

Английские поэты-сентименталисты (ровесники века, как Джеймс Томсон, или заставшие его расцвет) «черпали в теориях Ньютона новый материал для вдохновения» и полагали, что именно благодаря сэру Исааку «в поэзию вернулись *Цвет* и *Свет* — темы, “отобранные” у нее рационалистом Декартом». Век XVIII стал веком научного эксперимента, классической физики и химии, и его поэты воспевали мир, не столько преобразенный наукой, сколько открытый ею. «“Новая наука” (New Science) восемнадцатого века, противопоставившая себя аксиоматике предшествующего столетия, была наукой экспериментальной, эмпирической», и результат в ней не мог быть достигнут иначе, как «на основе длительных *наблюдений* (курсив мой. — М.И.) за процессами...». *Видимое* действительно, и видимое же — чудесно. В XVIII веке взгляд с позиций Разума не обкрадывал, не умалял свой объект и смотрящего субъекта, а помогал изумляться, возвышая и то, и другое. Обновленная наукой реальность обновляет поэзию, но между ними посредствует новое зрение, которого требует эта обновленная реальность. Зрение, способное впустить в себя изменчивость и иллюзию, зрение рефлектирующее. Его и прослеживает Смолярова в нескольких поздних державинских сочинениях.

Державин в XIX веке (1801—1808 годы) — выбор, интересный уже тем, что «певец Фелицы» зачастую представляется не извлекаемым из русского XVIII века, точно статуя из ниши, а, если подобрать более точную архитектурную аналогию, неотрываемым, точно атлант, от поддерживаемого им карниза. «Представление о державинской поэзии — в том числе и о поздних его произведениях — как о памятнике XVIII веку, — пишет Смолярова, — было перенесено и на самого Державина, которого многие почитали человеком восемнадцатого века — в девятнадцатом». Три главы книги розданы

трем относящимся к началу 1800-х годов произведениям Державина: «Фонарь», «Радуга» и «Жизнь Званская»<sup>3</sup>. Внимание автора движется от одного к другому не только очевидно хронологически; полнота присутствия Державина с его опытом человека в истории, человека частного и поэта, нарастает, чтобы суммироваться в «Жизни Званской» как в апофеозе и книги, и творческой биографии.

Каждое из четырех сочинений связывается с каким-либо *взглядом*, за каждым — некое событие, осмысленный научный или исторический факт. Французская революция позволила воочию *увидеть* историю. Историю как зрелище, развертывающееся на глазах, сегодня, сейчас, и историю в целом как смену живых картин. Для освоения исторического зрелища как нельзя лучше подходит поэзия зрения. «Рубеж веков ослабляет “понятийное мышление”». В позднем творчестве Державина «мы имеем дело с образами, а не с понятиями, с картинами, сменяющимися друг друга, а не с логически выстроенным рассказом. Ощущение разрывности времени, “разреженности” жизненной ткани и ненадежности мира требует соответствующей фрагментарности выражения». Позиция наблюдателя, пред коим действительность проходит чередой картин и картинок, крепко завязана на фаталистическую философию. В XVIII веке с метафорой «жизнь как путь» сосуществует метафора «жизнь как театр». «Представление о человеческой жизни как о поступательном движении по сути своей *телеологично* (курсив автора. — М.И.) ... в то время как метафора “жизнь как театр” гораздо лучше подходит тому, кто готов “философски”, иными словами — с известной долей безразличия взирать на происходящее и мириться с ролью, отведенной в этом спектакле ему самому». Знаковой для эпохи фигурой оказывается легендарный «фонарщик», авантюрист Этьен-Гаспар Робер, более известный как Робертсон, и даже «гражданин Робертсон», пленявший и ужасавший Европу своей «фантазмагорией» — призраками, ткавшимися прямо из воздуха в луче проекционного аппарата. «Великая Цепь Бытия», лишней раз обоснованная открытым законом всемирного тяготения, к концу века оказывается им же поставленной под удар. «Постепенное ослабление этой всеохватной гравитации (проявлениями которой были не только устойчивые связи внутри социума, но и важнейшее для традиционных, консервативных обществ представление об исторической преемственности), доведенное до своего логического конца социальными потрясениями во Франции 1790-х годов, стало провозвестником новой эпохи» с ее «эстетической доминантой» — чувством «разрыва, промежутка, фрагмента ... На рубеже XVIII—XIX веков волшебный фонарь с его произвольным и быстро сменяющимися слайдами потому явился столь востребованной и емкой метафорой, что исторические реалии встретились в нем с философскими архетипами...»

Новое мироощущение прокладывало путь к умам разной степени искушенности, не минуя ни тех, для кого авангард научной мысли воплощался в чудесах «фантаскопа», ни известных нам ныне со школьной физики и химии подвижников науки. Потому, например, такой толчок получила в XVIII веке метеорология — как «область знания, восходящая к античности и имеющая объектом своего изучения *изменчивость и обратимость*». А мы помним, как чутка была английская поэзия века к расширению научной картины мира, до того, что «в Англии середины восемнадцатого века именно гибридный язык версифицированной науки мог претендовать на статус особого поэтического наречия». И Англия же задавала интеллектуальную моду для континента. Поэты не медлят откликнуться на изыскания в области погоды аллегорической метеорологией («Висящая в небе «полоска из лент», описанная в научных терминах и в то же время являющаяся отражением божественной сущности (т.е. *видимостью, отсылающей к идее*).) Никогда, похоже, в истории европейской культуры словесное пересоздание мира не ощущалось столь зависимым от его почти интимного опытного постижения, от необходимости видеть его *как он есть*. Сливаясь, научная премудрость и зрительное восприятие приводят к концепции «умудренного» зрения. В той же Англии — не без помощи Джозефа Аддисона, понимавшего воображение «сугубо зрительно», — становится популярна античная еще «идея превосходства зрения над остальными человеческими чувствами». Державин не столь включен в, как мы бы сейчас выразились, современный ему научный дискурс, и веянье новой европейской — ан-

<sup>3</sup> Рядом с «Фонарем» довольно подробно рассматривается созданная в тот же год и также восходящая к «Размышлениям о революции во Франции» Берка «Колесница».

лийской и французской по преимуществу — поэзии, осваивающей не терминологию, не реалии, но саму оптику эмпирического знания, до него лишь долетает. Тем не менее, Державин в ее орбите. Не напрямую, но через Экенсайда он соприкасается с Ньютоном, чьему учению о спектре оказывается «совершенно созвучно» своей «центральной мыслью» стихотворение «Радуга»... Именно в том, кто являлся едва ли не синонимом современной русской литературы, воплотился ее допушкинский европеизм. «Подобно Гете, Державин интересуется оптикой и метеорологией, подобно Кольриджу, хочет обновить и пополнить имеющийся “запас метафор”, подобно Вордсворту, стремится максимально расширить рамки того, что принято называть “предметами поэтическими”». Воплощение происходит помимо воли русофильски настроенного поэта. Воздух перенасыщен жаждой нового, и таковым ему суждено оставаться последующие двести лет, и Державин, мня себя «архаистом», неизбежно, в силу масштаба личности, становится «новатором», о модернизации ли поэтического или иного хозяйства идет речь. «Учиться пользоваться новыми метафорами и сравнениями в поэтическом обиходе приходится точно так же, как и новыми устройствами — в быту непозетическом. Навык приходит не сразу. <...> И мы приходим к неожиданному выводу о том, что многочисленные славянизмы и другие знаки архаической стилистики в поэзии позднего Державина не только не противоречат интересу поэта к современности, но становятся ее причудливыми означающими».

Тема, развиваясь, выбрасывает все новые и новые ветви, за которыми временами теряется «ствол», и тогда научное изыскание воспринимается как альманах фактов, энциклопедия вроде некогда популярных детских «Что такое? Кто такой?». Сознывая степень риска, автор защищает свое право на частые и обширные интермедии, служащие «восстановлению контекстов», а потому утверждает, что «синхронность трех событий, относящихся к 1799 году, — регистрации патента на фантаскоп, полета Робертсона на воздушном шаре и открытия парижской *Панорамы* Роберта Фултона ... — не кажется случайной». Не кажутся случайными слова «синхронность» и «Панорама». Размах и тут шире. Складывая факт к факту, Татьяна Смолярова выводит «визуальный ряд» в трехмерность.

Название «Зримая лирика» слишком вместительно, слишком богато «потайными кармашками», чтобы заполнить их все. Так, обойдена благодатная своей недостаточной разработанностью тема деления поэтов на видящих и слышащих, поэтов зрения и поэтов слуха. Не затронута и близкая ей, еще больше сулящая тема *зрения поэта* как такового; впрочем, и без того ветвление едва не вырывается за разумный предел.

Книга Татьяны Смоляровой — вовсе не о преломлении каких-либо стратегий в отдаленно взятой поэтике и даже не совсем об отражении поэтом брошенного извне луча. Она, местами грозящая перерастить самое себя, — о XVIII веке, самом себя перерастающем, перерабатывающем от начала к закату; и о Державине, перерастающем XVIII век.

Марианна Ионова

## **Императорская академия наук — детям школьного возраста**

**В.И. Шубинский.** *Ученые собратья: рассказы из жизни профессора и советника Михаила Васильевича Ломоносова и его по Российской Императорской Академии Наук товарищей.* — СПб.: Детгиз, 2011.

Валерий Шубинский, автор биографии М.В. Ломоносова, недавно вышедшей в серии «ЖЗЛ», некогда погрузившийся ради этого проекта в штудии российской академической жизни XVIII века, выпустил еще одну книжку на смежную тему — адресованную на этот раз старшим школьникам, сиречь — юношеству и озаглавленную с намеком на тогдашнюю многословную моду: «Ученые собратья: рассказы из жизни профессора и советника Михаила Васильевича Ломоносова и его по Российской Императорской Академии Наук товарищей». У всякого знакомого с жизнью добывающих свой хлеб пером с ходу напрашивается соображение, что автор просто утилизировал великого — обретенные в ходе предыдущей работы, однако не вжившиеся в жизнеописание великого холмогорца сведения, касающиеся его соратников и коллег. Возможно, все именно так и есть — что ничуть не зазорно, ибо кому какое дело до внутренней кухни, — важно же здесь иное.

Важно то, что получившийся литературно-интеллектуальный продукт, пожалуй, оказался более значительным, нежели собственно биография Ломоносова.

Почему так? В первую очередь, благодаря избранному жанру. ЖЗЛовских биографий много было и много будет — и Ломоносов уже бывал в этой серии. А вот книги для старших школьников про русскую науку того времени так с ходу и не припомнишь. И то, что она появилась, — крайне важно как минимум по двум причинам. И если первая причина — это ответ на вопрос «о чем?», то вторая соответственно — на вопрос «как?»

В самом деле, едва ли надо объяснять, что нынешнее время ставит на повестку дня создание нового популярного исторического нарратива — и даже не только для школьников, хотя для них, людей будущего, наверное, в первую голову. Попросту говоря, предстоит создать новый формат исторических представлений обычного русского человека XXI века — ибо полуразрушенные и перепутанные старые категорически не годятся для развития конструктивного мировоззрения. Не станем здесь углубляться в данную проблему — сведем ее к одной достаточно примитивной формуле: людям на самом деле надо знать, чем гордиться в истории своей родины, кому и чему из былых времен подражать в настоящем. Ибо не гордиться ничем — значит, считать родину техническим обстоятельством, недостойным серьезного отношения.

В общем, есть основания полагать, что на смену многим непригодным для исторической гордости эпизодам придет набор новых, значительная часть которых разместится хронологически в XVIII веке, в начале которого русский царь еще не вполне уверенно пользовался вилкой, а к концу Россия имела одну из лучших в Европе коллекций живописи, одну из сильнейших в Европе армий и вполне дееспособное по европейским меркам научное сообщество. Причем этот культурный рост произошел как бы вопреки объективным обстоятельствам — отсутствию кадров, денег, опыта; в условиях грубости традиционных нравов, недалекости властителей и, казалось бы, предельно низком спросе на культурный продукт со стороны сколько-нибудь широких слоев населения! При этом багаж знаний об эпохе у обычного русского культурного человека сильно уступает его же осведомленности о следующем столетии, добрую половину которого поглотил блистательный для одной только нашей литературы николаевский застой. Более того, и те сведения, что сидят у него в голове, весьма однообразны: это либо всяческая авантюрная чешуя, сдобренная посильными ужасами вроде Ледяного дома, княжны Таракановой и пр., — либо героические саги о деяниях русской армии, почему-то всегда на территории иностранных государств и зачастую без легко вычленяемого политического смысла. О том, что в XVIII веке, к примеру, огромная территория империи впервые была научно описана, и о том, каких трудов это стоило, — большинство у нас просто не догадывается, да и не задумывается об этом никогда. А ведь именно эта решенная тогда в целом задача фактически и позволила Екатерине Великой заявить, что «Россия — держава европейская». А не какая-нибудь дикая страна, лишь на краю которой приспособились жить отдельные посланцы европейской культуры...

Иначе говоря, был совершен *подвиг*, и Валерий Шубинский рассказывает об этом. Для этого рассказа он выбрал форму прерывистого, фрагментарного повествования: не «история русской науки XVIII века для школьников», а очерки этой истории — отдельные эпизоды, расположенные в хронологическом порядке. Мне кажется, что подобный выбор для нынешнего времени весьма характерен. Хорошо это или плохо, но это веяние момента — людям предпочтительно составлять общее представление по подробным, но отрывочным, фрагментарным иллюстрациям. И с этим приходится считаться.

Что касается фактологии, то она у Шубинского на весьма высоком уровне точности, хотя, конечно, не обходится без осечек — не влияющих, впрочем, на правдивость содержательных моментов. Так, в эпизоде на странице 9, относящемся к 1724 году («Остерман... — припомнил Татищев. — Это тот, что теперь на месте Шафирово»), Василий Никитич все-таки вряд ли так подумал бы, поскольку А.И. Остерман занял пост вице-канцлера лишь 25 ноября 1725 года, уже при другом царствовании. А начальник Адмиралтейств-коллегии барон Черкасов со страницы 202 на самом деле был графом Иваном Григорьевичем Чернышевым. Меннониты едва ли могли встретиться профессору Ловицу среди немецких колонистов Поволжья — их селили в Таврической губернии и на Северном Кавказе. Среди скрипок Петра III вряд ли были работы Страдивари, зато точно были инструменты Р. Штайнера, котировавшегося тогда существенно выше, а обо-

звать, да еще вслух, этого императора за глаза «уродом» — словом, употребляемым с этой целью лишь в узком кружке соратников будущей Екатерины Второй — едва ли пришло бы в голову случайному посетителю кабака (стр. 172).

Важный вопрос всякой беллетризованной биографии — степень вымышленности повествования. Здесь работает не только бинарная оппозиция документальный/художественный, а нечто более сложное — почти непрерывный спектр, лишь на концах которого — противостоящие формы научного исследования и романа. В действительности автор научно-популярного сочинения принужден находить какой-то свой баланс, с неизбежностью вкладывая в уста своих персонажей выдуманные слова, в головы — выдуманные мысли, а то и описывая события, про которые с достоверностью неизвестно, имели ли они место. Точнее — известно, что, скорее всего, не имели, хотя вполне могли бы иметь. И здесь я с удовлетворением констатирую, что Валерием Шубинским эта точка баланса нащупана весьма удачно — даже не точка, а область, поскольку в каждом очерке местоположение точки иное: от полностью документальной зарисовки «Академия Наук Российская. Читателю здравие» до не лишённого мистики «Описания ужасной кончины господина профессора Георга Морица Ловица и имевших при сем чудесных явлений, оставшихся неведомыми миру». Ширина этой области не слишком велика и вполне гармонирует с манерой самого текста — отчасти стилизованного под повествование конца XVIII века, отчасти заставляющей вспомнить рассказы Тьнянова и всю русскую прозу Серебряного Века. Важно, что выбранная стилистика Шубинским выдержана, а местами сделала бы честь художественному тексту, не несущему научно-популярной нагрузки. Рискну предположить, что автору удалось создать модельный или, если угодно, один из модельных научно-популярных нарративов для нынешних школьников.

И еще один интересный момент. Книге Шубинского удалось передать научную атмосферу того времени. Она помогает почувствовать, какой была общая тональность русской академической жизни между 1724 и 1774 годами. Как ни странно, этой генеральной тональностью оказывается одиночество. Вернее — совокупность многих человеческих одиночеств: не слишком радостных судеб людей, живших в неудобных обстоятельствах становления государства. Людей вспыльчивых, нервных, порой не слишком правдивых и чистых на руку, знакомых с нуждой и унижениями. В отличие от нас, вовсе не полагавших, что человек создан для счастья. Связывало этих людей лишь одно — совместное участие в большом деле, в Великом Проекте, величие которого, по всей видимости, извиняло для них многое, если не все.

*Лев Усыскин*

## СПЕКТАКЛЬ

### Суд во спасение

**Брат Иван Федорович.** Режиссер Сергей Женовач. Студия театрального искусства

**К**аким будет мир без идеи Бога? Что станет с человеческой душой, если лишить ее вечности? Сегодня эти вопросы трудно отнести к разряду абстрактных и теоретических. Мы давно живем в мире без веры — а иногда и без надежды, без норм и запретов, руля и ветрил... Размышлять об этом бытии, больше напоминающем существование, неприятно — и потому не принято. Впрочем, как всегда бывает с «вечными» вопросами, главное уже сказано. И нам остается лишь трактовать его.

Именно неожиданной интерпретации ждешь от «Брата Ивана Федоровича» Сергея Женовача — особенно после блестящих «Мальчиков», логическим продолжением которых стала новая постановка. Спектакли роднит многое: молодые актеры (возраст исполнителей максимально приближен к возрасту героев), минимум реквизита, темные, почти траурные костюмы. Как и в «Мальчиках», в первой части «Ивана Федоровича» незапятнанные в эпизоде персонажи не уходят за кулисы, а пристально наблюдают за происходящим на сцене. Наконец, постановка объединяет перенасыщенный смыслами и голоса-

ми, затягивающий, как воронка, роман Достоевского. И все же между двумя спектаклями Женовача больше различий, чем сходств.

Спектакль 2005 года, превратившийся в визитную карточку Студии театрального искусства и до сих пор остающийся одним из самых популярных в репертуаре театра, основан на девяти главах «Братьев Карамазовых». Пожалуй, самых трогательных и сентиментальных... Гимназисты вступают в жизнь и прокладывают собственные — порой очень извилистые — тропки к вере, состраданию и дружбе. Они нередко ошибаются, но эти заблуждения оправданы чувством, порывом и если не исправлены, то сглажены чистой детской душой.

В «Брате Иване Федоровиче» все иначе. Здесь иррациональная тяга к злу, к преступлению не скрывается и не подавляется, а двойственность человеческой природы предстает в самом пугающем виде. Здесь мы вступаем в мир идей, в царство концепций, оправдывающих прихоть, узаконивающих соблазн. Неслучайно главный герой спектакля — не тихий Алеша, а мятущийся Иван. В первом действии он почти все время остается в тени, но его Легенда о Великом Инквизиторе витает в воздухе. Более того: сомнение, посеянное словом Ивана Федоровича, успело прорасти. События спектакля происходят в день перед судом над Митей. Преступление совершено, мысль материализовалась — и беспросветным, кошмарным мороком окутала героев. Если Бога нет, то все позволено. Но как в этой вседозволенности существовать человеку, который, по Достоевскому, безграничен, неопределим и постоянно рискует потерять себя, раствориться в противоречиях? Именно об этом — восемь напряженных, лихорадочных разговоров, из которых складывается спектакль Женовача. Он не зря назван «диалогами в двух действиях». Режиссера интересуют прежде всего лица и слова, раскрывающие или, напротив, прячущие душу.

В случае с Достоевским иначе и не может быть. Исповеди и проповеди его измученных, смятенных героев не заменить эффектной сценографией и яркими костюмами. Однако актеры Студии театрального искусства с поставленной перед ними задачей не справляются. Это неудивительно, учитывая, в какие бездны им предлагают погрузиться автор и режиссер. Просто сыграть, изобразить то, что происходит с Катериной Ивановной и Иваном Федоровичем, Грушенькой и Митей, Лизой и Алешей, невозможно. Это можно только пережить. Но балансировать на тонкой грани между полной свободой и тотальным небытием, к сожалению или к счастью, дано не каждому. К тому же из состояний, в которые погружены персонажи «Братьев Карамазовых» (с позиции здравого смысла и бытовой логики эти состояния, безусловно, ненормальные, даже опасны — нельзя постоянно жить с оголенными нервами, ежесекундно искать и находить себя), трудно выйти. Чтобы почувствовать это, достаточно всего на несколько часов, но непременно полностью, с головой окунуться в мир романа. Актеры не вступают на этот скользкий путь. Они произносят текст, не улавливая и половины заложенных в нем смыслов. Играют привычное и понятное каждому из нас чувство, сознательно или бессознательно закрывая глаза на ту палитру эмоций, незначительным оттенком в которой это чувство является.

Наверное, поэтому самыми убедительными, живыми в спектакле получились персонажи более-менее целостные, одномерные. Например, забавная и трогательная госпожа Хохлакова (Ольга Озоллапиня) — наименее «достоевская» из всех героинь «Брата Ивана Федоровича». Или светливый, даже жалкий черт (Сергей Качанов). Не демон, а лукавый, он становится тенью Ивана, настойчиво воплощает и развивает одну грань его личности — а следовательно, не может претендовать на свойственную остальным персонажам необъятность. Ограничен и потому органичен и Смердяков (Сергей Аброскин). Впрочем, в его ограниченности есть своя последовательность, логика и даже честность. Он один не только осмелился сделать окончательный выбор между добром и злом, но и принял его последствия. Один, отрицая бытие Божие, отказался и от собственного существования. Оглушенный своим знанием и выбором, Смердяков в спектакле Женовача, как ни странно, вызывает больше симпатии, чем Алеша (Александр Прошин), который без внутреннего света, не передаваемого самой лучшей актерской техникой, превратился в заторможенного рохлю. Или Катерина Ивановна (Катерина Васильева), Лизанька (Мария Курденевич), Грушенька (Мария Шашлова), сливающиеся в один образ капризной кокетки. А вот о главном герое постановки — брате Иване Федоровиче в исполнении Игоря Лизгеневича, как ни грустно, сказать почти нечего. Актер слишком профессионален, чтобы заслужить резкую критику. И слишком далек от Достоевского, чтобы подробный разбор его игры имел смысл.

В другой постановке это, наверное, было бы не так страшно. Но в «Брате Иване Федоровиче», повторюсь, нет ничего, кроме выхваченных из полумрака преступления и небытия лиц, кроме судорожных слов. Слова эти актеры зачастую произносят, сидя спиной к залу, что усиливает ощущение соглядатайства. Только вместо недозволенного прикосновения к тайне зрителям приходится довольствоваться самыми обыкновенными спорами и ссорами. От этого испытываешь чувство легкой досады — столь же навязчивое и неистребимое, как внутренняя отрешенность от происходящего на сцене. С романами Достоевского, кажется, несовместимо равнодушие, но именно оно окутывает на «Брате Иване Федоровиче» — вплоть до последнего эпизода, когда из темноты выступают три судейских кресла.

По смысловой и эмоциональной насыщенности эта минутная сцена намного превосходит всю постановку. Она указывает героям единственный выход из замкнутого круга, в который они сами заключили себя, — суд. Божий или человеческий, неправедный и справедливый, суд совести или общественного мнения... В любом виде и проявлении он воссоздает мир, размытый вседозволенностью. А главное, спасает от распада на атомы душу. Сомнениями Иван Федорович, как и другие герои Достоевского, открыл в себе ящик Пандоры (невольно вспоминается булгаковское: «каждому будет дано по вере его»). Вырвавшихся из него фурий невозможно остановить. Но от них можно на время укрыться — на скамье подсудимых...

Татьяна Раткина

## О Д Н А Ж Д Ы В « З Н А М Е Н И »

### Веселое фарфоровое снятие, или Мир понарошку

(О выставке Льва Симкина и Анатолия Степаненко «Дума о советском фарфоре»)

**Я** жил в СССР. Я даже при Сталине жил, представьте себе. И у нас дома, конечно же, были фарфоровые статуэтки. Большие и маленькие. Хозяйка Медной Горы, конь с золотой гривой, артисты и летчики, школьники и фигуристски. Я их прекрасно помню.

Но я совершенно не помню, каковы были значение и смысл этих фигурок. Какая там была художественная семантика и культурологические ассоциации. Даже не знаю, с чем их сравнить в нынешнем интерьере. У меня сейчас, кстати, довольно много всяких фигурок — оловянные тамплиеры, фарфоровые собачки и бронзовые домохозяйки. Но это просто украшения, или сувениры — то есть память о тех людях, кто подарил. Наверное, когда-то и советские фарфоровые статуэтки были просто украшениями и сувенирами.

А вот теперь они стали символом всего хорошего, что было в советской стране.

Да, да, да, конечно, в советской стране, при всех ее уродствах и кошмарах, было немало хорошего. Теоремы, оперетты, заводы и пароходы. Не говоря о любви, которая бывает при любых диктатурах. О, бессмысленная раздвоенность *объективного взгляда!* С одной стороны, с другой стороны. Но тут-то тебя и ловят. Вспоминаешь лихие дни юности, пишешь о студенческой любви на фоне университетской лепнины — ах, как она вблизи виднелась из окон общежития! — а тебя строго спрашивают: а почему забыл про мрак тоталитарного режима? Хорошо, извините, ладно. Вот вам посадки, психушки, парткомы и талоны на сахар. А в ответ тут же: а вы что, только самиздат читали и вычисляли стукачей? И не понятно что отвечать. Разве что затворяться на даче и писать роман, толстый и мудрый. Но уже некогда. В смысле — оставшейся жизни точно не хватит.

Поэтому лучше полюбоваться на фарфоровые статуэтки из коллекции Льва Симкина, которые так чудесно смотрятся на фотографиях Анатолия Степаненко. Вдобавок они украшены стихами Барто, Маршака и прочих мастеров советского словесного примитива (здесь нет порицания или насмешки, здесь только восторг, как перед картинами Рауля Дюфи и Рене Магритта, которые сумели переплавить мастерство в наивность).

Полюбujemy на этих прелестных уродцев, которые лучше всякого романа снимают (совсем по-гегелевски, «aufheben», то есть *диалектически отменяют, вбирая в себя*) противоречие между ужасами и чудесами недавнего советского прошлого.

Они изначально, в замысле — милые уродцы. Их кажущийся реализм — с изначальным подмигиванием, с некоторой иронией, заложенной в задачу серьезного советского мастера. Реалистическое изображение людей, пусть даже в виде маленьких фигурок? О, нет. Сделать это нетрудно, но это совсем другая скульптура. Перед нами не просто люди, а персонажи, картинки из социальной азбуки СССР. А также литературные персонажи, вылепленные в соответствии с каноном. Но при чем тут ирония? Ведь изображены такие, вроде бы, серьезные фигуры, как Ученик, Работник, Спортсмен, Солдат, Юный Патриот, Процветающий Нацмен, а также А.С. Пушкин и его герои. А ирония — притом что перед нами, повторяю, не люди, а игрушки, куколки.

Иван Дмитриевич Шадр и Ромуальд Ромуальдович Иодко лепили хотя и разных, но реальных — то есть идеальных — то есть более чем реальных — Девушек с Веслом. Каждая советская девушка хотела быть с *Веслом*, стать красавицей идеальных пропорций. Столь же идеально-реальными были Пионеры и Пионерки, Лыжники и Воины, изваянные из гипса (точнее, отлитые в гипсе) и еще до сих пор нет-нет да и белеющие в зеленых сумерках уцелевших провинциальных парков. Живые пионер и пионерка хотели стать вот такими, как эти, торчащие на клумбе среди кустов. Но никто не хотел стать — и никто не хотел, чтоб кто-то хотел стать — таким, как комичный первоклассник или жеманная фигуристка из фарфора, живущие в серванте среди бокалов. Даже Пушкин был немножечко смешной, даже дедушка Калинин и старичок Мичурин были чуточку забавные. Все было как будто понарошку, шутя. Как бы резвяся и играя.

Недаром фарфоровых статуэток Ленина и Сталина не было. Вернее, так: были бюсты Ленина и Сталина из фарфора. Была одна фарфоровая фигура Сталина и две — Ленина (взрослый и «Ленин маленький с кудрявой головой»). Но сходство размеров не должно обманывать. Все это было совсем в другом жанре. Ленин и Сталин были одноцветными (белыми), и нужных пропорций — хоть сейчас увеличь — и на постамент. Поэтому они были маленькими скульптурами из фарфора, а не расписными фарфоровыми статуэтками советского стиля — почувствуйте разницу. Ленин и Сталин — на полном серьезе. А означенные статуэтки — всегда чуточку шаржи. Хотя, конечно, очень дружеские.

Фрейд говорил, что анализировать надо посредственных авторов. Они более шаблонны, более стандартны и поэтому отчетливее отражают психологические комплексы эпохи. Наверное, тем самым они сильнее предсказывают будущее культуры. Иногда кажется, что великие тексты советской эпохи — хоть романы Шолохова, хоть повести Платонова — остались в своем времени. А рассказы Ксении Львовой и фельетоны Семена Нариньяни очертили абрис сексуальных и социальных переживаний нашего соотечественника на полвека вперед, вплоть до рубежа столетий. У одних — всечеловек, у других — совок. Кто более матери-истории ценен? Конечно, совок. Потому что всечеловек хоть лопатой гребь, от Одиссея до Леопольда Блума: инфляция всечеловечности. А совок определен во времени и месте. Тем и дорог.

Что нам сейчас советская скульптура большого и серьезного стиля, что нам Шадр, Коненков, Меркуров, Мухина и Манизер? Музей, не более того, и музей скучноватый. А маленькие статуэтки безвестных (известных только коллекционерам-знатокам) мастеров — это и есть СССР в своей желанной целокупности. О котором приятно рассказывать внукам. Чтoб без слез и причитаний, но и без лишних восторгов. Этаким славным, не совсем настоящий мир веселых человечков.

О, бывшие советские люди! Не смейтесь над фарфоровыми статуэтками, берегите их, любуйтесь ими, ибо они и суть овеществленное бессмертие вашей — нашей! — ушедшей эпохи. Другого бессмертия у Бога для нас не оказалось.

Но ничего. Во-первых, статуэтки сами по себе хороши. А во-вторых, посмотрим, какие штучки из наших дней будут коллекционировать через полвека.

Денис Драгунский



## НЕЗНАКОМЫЙ ЖУРНАЛ

**Коломна: времена года**

**Околоколомна:** журнал общества любителей вольных прогулок (Коломна)

**К**онечно, и до открытия в Коломне несколько лет тому назад Музея коломенской пастилы этот небольшой город в 110 километрах от Москвы был хорошо известен и, можно даже сказать, имел свою негромкую славу. Что, впрочем, неудивительно: Коломна на удивление хорошо сохранилась, завидно географически расположена (на пересечении Оки и Москвы-реки), литературно и исторически состоятельна. Но после того как Наталья Никитина и Елена Дмитриева придумали и создали буквально из ничего этот удивительный музей, интерес к нему и к Коломне в целом возрос необычайно. Спрос на все, что связано с Коломной, стал ажиотажным. Удивительно ли, что в этой насыщенной-напряженной атмосфере в числе прочего зародилось и печатное издание?

«Околоколомну» издатели, в числе которых и обе создательницы музея коломенской пастилы, определяют как журнал Общества любителей вольных прогулок. Найти хоть какую-то самостоятельную, не связанную с журналом, информацию об этом загадочном обществе, не удалось. Некоторый свет на эту тайну проливают слова его редактора Игоря Сорокина: «Журнал — под стать самому Обществу любителей вольных прогулок — настолько вольному, что его членом может стать всякий, как только пожелает. В отличие от путеводителей, строящих и направляющих, журнал призван стать антипутеводителем: запутать, околдовать, заворожить путешественника. Для всего этого не так важны архитектурные сооружения, памятники и точные датировки, сколько сам воздух. Те пространства, что оставлены человеку для жизни: площади, дворы, скверы, виды на открывающиеся дали». Ну что ж, приблизительно так я и думала: общество любителей вольных прогулок, хоть у него даже имеется симпатичная эмблема: пятеро стройняшек обоего пола на одном велосипеде — виртуальная реальность. В отличие от журнала «Околоколомна», который реален вполне.

Реален? Вполне? Начнем, к примеру, с первого номера. И не сможем этого сделать! Потому что первого номера в природе не существует. Во всяком случае, мне его добыть не удалось, ни за какие деньги. Даже у редактора Игоря Сорокина. Я была согласна на гранки — или как там это у них называется? На электронные макетные странички. Ничего. Хотя я видела людей, которые видели других людей, которые держали первый номер журнала «Околоколомна» в руках, а, по слухам, некоторые его даже читали...

Вообще-то «Околоколомна», по основным признакам, скорее, альманах, чем журнал. Но в городе уже имеется один «Коломенский альманах», а потому будем называть его так, как он называет себя сам. То есть журналом. Тем более что один признак журнальности, а именно какая-никакая периодичность, пусть и с некоторой натяжкой, но имеется: «Околоколомна» выходит по разу в каждое время года, на обложках указано: осень 2010, зима 2010—2011 и так далее.

Все номера «Околоколомны» тематические (еще раз: о первом номере — молчок!). Речь, понятное дело, о магистральных темах. Есть ведь еще событийно-ситуативный ряд, который тоже находит свое отражение на страницах журнала — по мере возможности, конечно.

Итак: второй номер (осень 2010) посвящен *genius loci* Коломны номер один Ивану Ивановичу Лажечникову. Кто из нас не болел в положенное время его романами «Ледяной дом», «Басурман» да и «Последний новик»! Но первый из перечисленных романов — петербургский, второй — московский, а третий и вовсе «ливонский». А ведь есть у Лажечникова пусть менее знаменитый, зато абсолютно коломенский текст — повесть «Черненькие, Беленькие и Серенькие». И, конечно, его кусочек представлен на страницах этого номера. Как и другие кусочки из других текстов Лажечникова, а также из его писем. Имеются в номере и тексты других авторов, так или иначе связанные с именем Лажечникова и с маршрутами его многочисленных перемещений. Среди них особенно запоминается рассказ Владимира Викторовича «Романтическая история» — о парижской любви 24-летнего прапорщика Московского гренадерского полка И.И. Лажечникова.

Номер третий (зима 2010—2011) темой своей избрал новогодние праздники. И снова Лажечников, эпитафия из его «Ледяного дома»: «Праздник! Народный праздник! Какое магическое слово для толпы!» Ну и так далее. Праздник — так праздник. В номере имеет-

ся и рождественский рассказ, и рецепты из журнала «Дамский мир» за 1914 год, и очерк о балах-маскарадах, и многое другое, что помогает сделать праздник праздничным, а номер журнала разнообразным.

Четвертый номер (весна 2011) посвящен второму гению места Коломны, Борису Пильняку. Принцип приблизительно тот же, что и в лажечниковском номере: куски произведений, письма... Много писем, что немудрено: все же Пильняк жил через сто лет после Лажечникова. Да каких писем! «А у меня, брат, — весна. Буйное мое сердце хочет обнять весь мир, хочется купаться в луже, влюбиться в полногрудую девушку, еще не чующую своей силы, как теперешний великопостный ветерок, — разбудить ее страсть, буйную ее силу», — пишет Пильняк П.Н. Зайцеву 13 марта 1919 года из Коломны. Есть письма и из Саратова, второго города, занимавшего особое место в судьбе Пильняка. И вообще саратовский контекст представлен в этом номере довольно обильно, «Околоколомна» — журнал нежадный. Конечно, немало текстов и о самом Борисе Пильняке.

Пятый (лето 2011) — неожиданно итальянский, да к тому же яблочный. Почему бы? А из чего делают пастилу? Нет, не ту, что в магазине — с той все понятно, она из сплошных углеводов. Другую, коломенскую, настоящую, делают из кислых яблок. Правильно, антоновки, но раньше считалось, что еще лучше пастила выходит из зеленки горькой, да вот только этот сорт был с течением времени утрачен из-за его несъедобности. И вот чудесным образом выяснилось, что в Италии живет Изабелла Дала Раджоне, которая возрождает старые сорта плодовых деревьев и кустарников. В общем, понятно: номер — про яблоки, про Италию, про пастилу, про чудеса.

Между пятым и шестым номерами случился в Коломне книжный фестиваль «Антоновские яблоки», в котором принял участие и журнал «Знамя». Небольшой репортаж можно увидеть в конце шестого номера (осень 2011) — и позавидовать тем, кому удалось на этом фестивале побывать. Но вообще-то этот номер ерофеевский. А потому богато проиллюстрирован этикетками самых различных напитков и всяким другим, сопутствующим (например, воспроизведена обложка «Сборника задач противоалкогольного содержания», изданного в Москве в 1914 году). В Коломне Венедикт Ерофеев пытался учиться в пединституте, а потом работал грузчиком в магазине «Огонек», больше известном в народе как «Три поросенка». И хотя Коломна далеко не Петушки, и даже не Москва, но Венечка и его тезка-создатель коломчанам не чужие.

Логика подсказывает: как за осенью с неизбежностью следует зима (уж какого качества — это другой вопрос), за ней, понятное дело, весна, а за весной и лето, так за шестым номером непременно случатся седьмой, восьмой и так далее. И хотя история, особенно новейшая российская, знает тьму примеров того, как за первым номером не следовало ничего, это, уверена, не наш случай.

Из верных источников удалось узнать: один из ближайших номеров предполагается с ярко выраженным французским акцентом. Ну, в смысле: пардон-бонжур-мерси — до сильвупле включительно. К тому же 2012-й в России (не знаю, как во Франции) — это год 200-летия победы над Наполеоном. Что тоже, согласитесь, должно навеять чего-нибудь соответствующего. Да и второй фестиваль «Антоновские яблоки» не за горами...

Вообще, полагаю, идей у издателей «Околоколомны» немало. Не говоря уже о том, что в Коломне жилал А.И. Куприн, бывала А.А. Ахматова... Да мало ли кто еще там жилал-бывал! К примеру, на прошлом фестивале «Антоновские яблоки» были и выступали Вероника Долгина, Марина Бородицкая, Марина Москвина, Вениамин Смехов. По-моему, что ни имя — то повод для очередного номера журнала «Околоколомна». Разве нет?

Юлия Рахаева

## Н И Д Н Я   Б Е З   К Н И Г И

**Людмила Улицкая.** *Бедные родственники.* — М.: Астрель, 2011.

«Бронька», «Счастливые», «Дочь Бухары» — двадцать лет спустя, в ряду других переизданий того же издательства: «Даниэль Штайн, переводчик» (2011), другие рассказы 90-х («Девочки», 2012), пьесы («Русское варенье», 2012).

**Марина Палей.** *Кабирия с Обводного канала: Повести и рассказы.* — М.: Эксмо, 2011.

Собранные под одну обложку повести «Кабирия с Обводного канала» (первая публикация — НМ, 1991, № 3) — и «Ангажементы для Соланж» (Урал, 2010, № 1), а с ними шесть рассказов. Писательница живет в Нидерландах, хорошо изданных книг у нее немного — я до сих пор испытываю благодарность к издательству «Время» за изящное книжное издание «Клеменса» (2007)... Теперь «Эксмо» выпускает ее собрание сочинений, и даже в матовой обложке. Вот только перед фамилией автора на обложке стоит присвоенный ей издательством странноватый титул «принцесса стиля».

**Алексей Варламов.** *Стороны света.* — М: Никея, 2011.

Сборник повестей и рассказов: «Гора» (байкальская повесть), «Балашов» (рассказ-судьба), «Звездочка» (старинное преданье), «Теплые острова в холодном море» (соловецкая повесть), «Вот придет барин» (история ненаписанного очерка). Красноречивы подзаголовки: куда ни глянь — всюду люди живут, и в Марокко, и на Валааме; но в том, куда их занесло, есть, по Варламову, мистическая закономерность. Писателя интересует судьба человека как заданность: судьба маленькой Лизы из рассказа «Звездочка» повернулась именно так, потому что были сломаны жизни ее бабушек, женщин с твердыми характерами. Исследование «гена судьбы» — пожалуй, общее в его ЖЗЛовских биографиях и рассказах, построенных на биографической фабуле.

**Олег Павлов.** *Дневник больничного охранника.* — М.: Время, 2011.

Автобиографическая проза, частью опубликованная в «Новом мире» (2011, № 8). Больница 90-х как микрокосмос, капля, отражающая океан абсурда: «По трупам имярек пишут зеленкой; надписи на х/б вытраивают хлоркой; на кастрюлях пищеблока малюют номерняки отделений масляной, всегда отчего-то кроваво-красной краской; подушки, простыни, пододеяльники, халаты, полотенца штампуют, будто бумажно-важные, той же печатью, что и больничные листы, акты о приемке вещей, свидетельства о смерти, накладные и т. д.». Люди встроены в этот перечислительный ряд с той же интонацией — на положении вещей.

**Григорий Канович.** *Облако под названием Литва. Рассказы.* — Иерусалим: Иерусалимская антология, 2011.

Сборник рассказов, в которых автор продолжает разрабатывать тему встречи Литвы и еврейства. В рассказе, давшем название всей книге, мальчик Рафаэль, которого бабушка в мечтах видит раввином, а не портным, как все ее сыновья, подружился с бежавшим из Польши Йоселе, мечтающим быть немцем, потому что немцев никто не ищет и не убивает. Псалмы Давида и мудрость Соломона меркнут на фоне непоэтичной и немудрой действительности: счастливая Литва, в которой никто никого не ловит и не убивает, оказывается облаком, плывущим перед глазами расстреливаемых мальчишек.

**Рада Полищук.** *Лапсердак из лоскутов.* — М.: Текст, 2012.

Шесть человеческих историй, вплетенных в большую историю так естественно, что одна совпадающая деталь — то, что это еврейские судьбы, — может остаться незамеченной, хотя аннотация настаивает, что речь идет «о судьбе российского еврейства, попавшего в мясорубку двадцатого века». Из текста же писательницы видно, что лапсердак был один на всех и шился из лоскутов еще более мелких и пестрых: «Что Янька — еврей, жид, а Ванька — русак, кацап, они знали с самого детства, как и все во дворе. Ну и что с того — эка невидаль: и жидов, и хохлов, и кацапов, и греков, и татар, и цыган, и всякого другого люда во дворах водилось несметно. Не разберешь, кто есть кто, да и ни к чему было до поры» («Лоскут из непригодной для шитья ветоши»).

**Мария Бушуева.** *Отчий сад. Роман.* — М.: Бослен, 2011.

Сюжет этой саги о Ярославцевых — свальный грех и дележ дачи в интеллигентном семействе. Сюжет вроде бы острый, во всяком случае, пикантный, но все его выступы утоплены в вязком тесте статичного текста, которым холодно, со стороны, как будто врачом, выписана психология героев. Герои теряют в этой системе определенность и обособленность, движутся вяло, хотя вот Наташа еще девушка, а вот у нее уже дочь растет. Движимо все исключительно авторской волей, то есть этот мир — неживой. В то же время авторской воле нужно отдать должное: есть живописные фрагменты, один из которых вынесен на обложку книги, много тонких наблюдений, а трудный в формовании текст все-таки держит романную форму. Автор этого романа — психолог и художник. Издала несколько книг, в том числе и прозы.

**Андрей Бабиков.** *Оранжерея. Роман.* — СПб.: Азбука, 2012.

Филолог, написавший этот роман, пошел тореным литературным путем: оформил его как рукопись неизвестного автора, найденную там-то и там-то, на этот раз — в нью-йоркской Публичной библиотеке. Начало закольцовано с концом: житель вымышленной островной балканской республики, ведущий родословную от ее основателя из времен захвата Зары венецианцами и задолжавшими им крестonosцами, — передает эмигрирующему с затопляемого острова другу фамильные реликвии и рукопись своего романа. Текст старомодно барочный, с озаряемой бледным пламенем тенью Набокова за каждой дверью и массой симпатичных странностей вроде любви автора к фрегатам: «Неподатливое, с переплетом, окно поднималось вверх, как на старинных фрегатах, наводя в то же время на мысли о гильотине и мышеловке». Гостиница «Угловая» в островном Запредельске — «фрегатом выходящее не перекресток здание»...

**Анна Левина.** *Улыбки и ошибки. Приходите свататься.* — М.: Эра, 2011.

Книга-перевертыш, в которой два произведения, обе страницы обложки — первые. Под одной обложкой переизданы книги, вышедшие в 90-х, одна в Америке, другая в Белоруссии. В основе обеих — смешные случаи из жизни эмигрантов, возникающие там, где романтика объединяется с прагматикой. Не без литературных находок: «...это у вас такой изворотливый склад ума — сначала подумать, а потом сказать. А я человек прямой. Говорю — и все, не думая» («Американская трагедия»).

**Марина Белкина.** *Интервью. Роман.* — СПб: Борей арт, 2011.

Французский извод психологизма, но не настолько разрушающий форму, как, например, у Натали Саррот. Журналистка берет интервью у знаменитого французского актера, приехавшего в Россию на показ своего фильма. В ходе этого взятия, растянутого на весь роман, мы догадываемся, что из киножурналистики она ушла из-за неудачного романа, но хочет вернуться, и это интервью, которое ей никто не заказывал, может ей как-то помочь. Текст по-своему красивый, стилистически отвечающий понятию «модный роман».

**Анатолий Санджаровский.** *Оренбургский платок. Повесть.* — М.: Художественная литература, 2012.

Повесть об оренбургской вязальщице, написанная в 1970-е в лучших традициях советского писательства — с выездом на места для познания жизни. В вымершем уральском селе автор нашел старушку-мастерицу, рассказавшую ему свою историю, и записал ее речь. Повесть в свое время была похвалена В. Астафьевым, но и без того ее хорошо принимали в редакциях и издательствах: тема «правильная», а читать интересно. Но самое удивительное, что и теперешнее переиздание повести 70-х годов вполне читабельно — в ней нет специфической советской литературности, она написана от первого лица живым деревенским языком. Давая в сносках перевод диалектизмов, старательный автор и жаргонизмы прибирает: «решалка — голова»; «тарахтеть попенгагеном — испытывать страх»...

**Надежда Плевицкая.** *Дежкин карагод.* — М.: Центр книги Рудомино, 2011.

Очередное переиздание мемуарной книги, впервые опубликованной в Берлине в 1925 году, заказанное Комитетом по культуре Курской области к V Всероссийскому конкурсу исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. С именем Плевицкой и ее мужа генерала Скоблина связан грандиозный скандал в парижской эмиграции, возникший, когда обнаружилось, что они завербованы советской разведкой и причастны к похищению и гибели людей. Но книга не снабжена ни предисловием, ни послесловием от современных исследователей, и об этом сюжете — ни слова: подобного рода деятельности у нас теперь, видимо, уважаема. Роль аппарата выполняют «человеческие документы»: два цельных мемуарных очерка и нарезка из воспоминаний современников. Мемуары Плевицкой — сусальные, с нарочитой фольклорностью интонации, соответствующей сценическому образу певицы.

**Анатолий Бергер. Елена Фролова.** *Состав преступления. Составление: Е.А. Фролова.* — СПб.: Юолукка, 2011.

Поэт Анатолий Бергер был осужден в 1969 году «за антисоветскую агитацию и пропаганду», прошел четыре года лагерей и два года ссылки, его талантливая проза дает прочувствовать особенности политических процессов и заключения рубежа 60—70-х годов. Его жена Елена Фролова, журналист с хорошим слогом, добавляет к его воспоминаниям свои: «Я уже интуитивно выбрала свою систему защиты. Разговоры не подтверждала. О стихах Толика говорила, что они вызваны культом личности Сталина. Когда Василий Федорович спросил, почему муж так часто пишет о 37-м годе, есть ли в этом личное, погиб ли кто-то из его родственников, не задумываясь ответила: — У него погиб Мандельштам, а у меня Мейерхольд».

**Валерий Прокошин.** *Ворованный воздух.* — М.: Арт Хаус медиа, 2012.

Так смело назвать свою книгу, присвоив слова великого поэта, мог только умирающий поэт, которому глоток воздуха дается с трудом в буквальном смысле. Сам Валерий Прокошин писал: «После посещения онкологического центра каждый глоток воздуха стал казаться ворованным». Однако литературная ипостась этого выражения живет в книге своей жизнью, и диалог у последней черты именно с Мандельштамом, с которым у автора весьма непростые отношения, нескончаем. «Ворованный воздух — / это Великая Стекланная стена / между гением и злодейством»...

**Евгений Туренко.** *Собрание сочинений. Том первый; Евгений Туренко. Собрание сочинений. Том второй. Предисловие: М. Загидуллина.* — Челябинск: Десять тысяч слов, 2011.

Евгений Туренко — поэт и прозаик, лидер «тагильской школы», о которой, как и о «парижской ноте», разное говорят: то ли есть она, то ли нет. Время покажет, потомки разберутся.

В первом томе — стихотворения 1985—2010 годов. Стихи, даже длинные, стремятся к поэтическому афоризму — предельно выразительному, максимально емкому образному словосочетанию с большим потенциалом развертывания: «свет стемнеет», «в недокуренном сне», «светокопия голоса»; только эти атомы покоятся нерасщепленными в традиционных формах — чаще всего катренах с перекрестной рифмой и элегической интонацией. Чем стихотворение короче, тем больше движение к развертыванию этих энергетически мощных крох:

Сперматозоид, как смерть, одинок,  
а, воскресая от ста миллионов,  
молча глядит, как несчастный Платонов,  
на потолок.

Ты не читай меня и не люби,  
но все равно остаются пространства

для возвращения и для постоянства —  
дни.

Стихи 2011 года удачно вынесены во второй том, основной объем которого занимает проза. Это новый этап: только короткие стихотворения, стремящиеся к исчезновению, самое последнее — три строки из трех слов:

Древняя  
Тишина  
Слышна

Проза похожа на стихи, написанные до 2011 года: мелкие абсурдистские сдвиги внутри повествовательного текста с лирическим героем. Лирический окрас делает эту форму живой, снопоподобной — герой, как правило, не властен над происходящим, но остро все переживает: «Просветление. Окно. Увидишь какое-то явное место, где хочется побить или совсем остаться, а оно уже позади. Проехали — и говоришь себе, что там, как и везде: привыкнешь, и скука станет непролазная. А тут из-за горизонта взойдет церковь — белая, высокая, тонкая, как птица. Разве может быть скучно, когда видишь и чувствуешь? Больно — да! А вот времени совсем мало. Совсем уже нет. Бежишь, бежишь за ним, а оно за тобой — оно всегда сзади тебя».

**Сергей Попов.** *Попечитель чернил. Книга стихов.* — М.: Вест-консалтинг, 2011.

В стихах воронежского поэта стоит такая стужа, что просто физически ощущаешь, какой это холодный край — или, может быть, люди там плохо одеты.

Над кварталами стоя кемарят дымы.  
В черном инее тачка до самой кормы.  
Вольно в недрах зимы

говорить точно в бочку, глядеть словно в гать,  
и в потере пути находить благодать,  
и другого не знать.

В этом программном стихотворении, открывающем книгу, холод реального пространства распространяется во все пределы бытия. Может быть, потому и поэт не просто не заботится о внятности высказывания, но даже шлифует фонетическую поверхность монолитных строф, отталкивающих чужое сознание: «На рабочем холсте, на горячей ладони, / на оконном стекле, на рунической ткани / силуэты стихи в бессонной погоне, / своевольные блики на мутном стакане / напоенной успеннием потной эпохи. //».

**Евгений Степанов.** *Спасибо. Книга стихотворений.* — М.: Вест-Консалтинг, 2011.

Мало хорошего ждешь от книги, изданной автором в собственном издательстве с демагогическим предисловием, самая комичная часть которого вынесена на обложку: «Евгений Степанов — замечательный, крупный, уникальный русский поэт и писатель. В книгах своих движется он вперед, вглубь и ввысь. Это и делает их значительным явлением литературы. В этих книгах жива сама явь, со всеми своими проявлениями. Все, написанное Степановым, существует в стихии русской речи и остается в ней навсегда» (автор В. Алейников).

Тем не менее эта маленькая книжка выбранного из отобранного с 1982 года сложилась неплохо, стихи в ней живые, то элегические, то дурашливые.

**Сергей Круглов.** *Натан. Борис Херсонский. В духе и истине. Предисловие: И. Кукулин. Послесловие: И. Роднянская.* — New York: Ailuros, 2012.

Книга-проект, в которой параллельно действуют два православных священника, еврей и русский, причем в какой-то момент авторы-кукловоды меняются героями, и за Натана

начинает писать Херсонский, а за Гурия — Круглов. Герои — очарованные странники, ходят и ездят по России, видят сны, терпят страсти, служат службы, приседают на террасах попить с поэтами чайку, за их биографиями встает история XX века... В послесловии «Попытка комментария» Ирина Роднянская пишет, что находит в этой книге ответы на свои вопросы о коллаборационизме «красной» церкви с советскими властями.

**Елена Сунцова.** *После лета.* — Нью Йорк, 2011.

Мир стихотворений этой книги — Петербург, скорее серебряновечный, чем современный; безвременная Москва, Нижний Тагил и ряд европейских топосов, связанных с писательской эмиграцией. Голос у поэта растерянный, смущенный, но собственный, иногда удается преодолеть смущение, отделаться от цитат и считалочной барабанности, высказаться спокойно и внятно.

**Мирослав Немиров.** *164 или где-то около того: стихи.* — М.: Немиров, 2011.

Собрание сочинений в одном томе. Стихи 1981—2009 годов. Лирический герой — человек простой, но тоже чувствовать умеет. Словарный запас его невелик, зато предельно выразителен — цитации не подлежат.

**Владимир Сарисвили.** *Осенняя жатва.* — Тбилиси: Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб», 2011.

Стихотворения, переводы и пьеса, в которой использованы фрагменты дневников Байрона. Автор любит твердые формы, особенно сонет, в книге есть даже венки сонетов. Но свободно написанные стихи, которые нет-нет, да и встретишь в этой книге, куда более обаятельны: «И ветер был промозгл, капризен, / Земля слюнава, листья — в клей, / На вымокшем насквозь карнизе / Скандалил толстый воробей»... От них исходит такое восхищение и наслаждение жизнью, что хочется пожелать автору совершенно свободного самовыражения.

**Вечность камня и неба ночного.** *Альманах. Составление: М. Иверов.* — М.: Воймега, 2011.

«Вы не встретите в приведенных здесь текстах неточных рифм, расшатанных ритмов, небрежности, бесконечных анджабеманов и всего прочего из арсенала современного литератора. (...) Не прятаться за импрессионистическими приемами, прозаизмами и тому подобной мишурой (...) да попросту не проявлять самоуправства оставленного Музой стихотворца — это ли не достоинство?» — говорится в предисловии от составителя. Вопрос стираемости поэтического языка, вставший ребром уже в пушкинскую эпоху, вероятно, кажется ему надуманным. Но это бы и ладно, если бы вся эта проблематика вообще что-нибудь решала, — можно сидеть на одной точной рифме, как в начале XIX века, а можно говорить и на языке XVIII века, как Амелин, — было бы это органично и стихи оставались живыми, а главное — было бы поэту что сказать...

В этом сборнике — девять поэтов. Сильное впечатление оставляет подборка Игоря Меламеда. Запомнились также Алексей Кокотов, Виталий Симанков и Александр Закурченко. У Антонины Калининой есть гораздо более удачные стихи, ее недавно вышедший сборник «Бересклет» (М.: Центр современной литературы, 2011) тому подтверждение.

**Адриан В. Рудомино.** *Почти весь XX век: Биография в фотографиях и документах.* — М.: ИД ТОНЧУ, 2012.

Книга-альбом об основательнице ВГБИЛ Маргарите Ивановне Рудомино, родившейся в 1900 году и прожившей почти весь XX век — девяносто лет. Автор, сын М.И., прослеживает движение времени по этой судьбе и выходит за ее пределы, в историю рода, берущего начало от иезуитского миссионера в Литве Андрея Рудомино. Однако XX век — основное содержание книги, в основу которой положена автобиография М.И. «Ровесница XX века».

**Ирина Серова.** *Ярославль дворянский. Мир губернаторской усадьбы и его отражение в жизни благородного общества.* — Ярославль: Академия 76, 2011.

Книга-альбом, в которой излагается история одного из древнейших городов России с 1777 года, когда в Ярославское наместничество был отряжен первый генерал-губернатор, до 1917 года, когда должность губернатора была упразднена. В центре ее — губернаторские дома Ярославля, другие дома «первенствующего сословия» и проходившая в них культурная жизнь тех времен. Автор сетует, что «архивные документы, воспоминания современников, дорожные записи путешественников, письма, дневники, а также художественная литература и произведения изобразительного искусства позволили лишь в какой-то мере прикоснуться к прошлому (...) *Ярославля дворянского*». Книга иллюстрирована репродукциями картин и фотографиями, весь иллюстративный материал оформлен в едином колорите сепии.

**Николай Беляев.** *Поэма Солнца (провинциальная трагедия в магнитофонных записях, газетно-журнальных вырезках, стихах и письмах). Памяти художника Алексея Авдеевича Аникеенка.* — Казань: Идел-Пресс, 2012.

Казанский художник А.А. Аникеенок (1925—1984) любил желтый цвет — цвет солнца — и был далек от соцреализма, на обложке этой книги — его знаменитая картина «Клоун», образец «формализма»; в свое время этот термин считался ругательным и легко преобразовывался в политические обвинения. Репродукция «Клоуна» была опубликована в журнале «Курьер ЮНЕСКО» с подачи ценившего Аникеенка и покупавшего его работы физика П.Л. Капицы.

Атмосфера жизни казанских шестидесятников, которую доносит эта книга, двадцать лет готовившаяся к публикации и наконец изданная (причем превосходно, с двумя вкладками иллюстраций, одна из которых — репродукция работ художника) — показалась ценной депутату Госсовета Татарстана, попечением которого она наконец вышла. Автор ее, казанский поэт, перебравшийся в Псковскую область, кажется, тоже дождется издания своих стихов тем же попечением. Хорошо, что во власть еще иногда попадают культурные люди.

**Наталья Гранцева.** *Ломоносов — соперник Шекспира?* — СПб.: Журнал «Нева», 2011.

В размашистом предисловии Льва Аннинского Наталья Гранцева названа «потаенно-пронзительным поэтом», а Ломоносов выступает как «химик, ставший драматургом». Оставим все это на совести автора предисловия. Что до исследования самой Н. Гранцевой, доказывающей, что драматургическое наследие Ломоносова незаслуженно поругано, — доверие к научной составляющей текста подрывает его журналистский стиль с излишне эмоциональной интонацией и избытком жаргонизмов: «В ломоносовской трагедии всего два женских персонажа — Тамира и ее мамка Клеона. Значит, именно они для Ломоносова — на первом плане? А Мамай и Донской, не говоря уж о прочих крымских и персидских мужчинах, — так, сбоку припека?»...

**Евгений Стеценко.** *Просчет барона Геккерна: Анализ известных фактов, связанных с гибелью А.С. Пушкина.* — Краснодар: Совет. Кубань, 2011.

Книга посвящена светлой памяти наставников автора, «преподавателей Краснодарского техникума сахарной промышленности, в стенах которого был мною сделан первый доклад о последней дуэли Пушкина». Автор предваряет свою монографию также и объяснением своей работы с опубликованными, а не архивными материалами: «Простите за откровенность — все уже найдено и предано общественной огласке». Монография позиционируется им как доказательство: «российская трагедия 1837 года» — это «злодейское, подлое, преднамеренное убийство» русского гения «двумя педерастами». Все-таки в домашнем литературоведении есть уникальное обаяние.



**Иван Новиков.** Яблочный барин и другие рассказы. Составление, предисловие: М.В. Михайлова. — Мценск: Мценская центральная библиотека им. И.А. Новикова, 2011.

Первое за почти сто лет переиздание малой прозы Ивана Новикова (1877—1959), ставшего известным в конце XIX века мистического почвенника, не принявшего октябрьской революции, но не эмигрировавшего. Составитель и автор предисловия к книге М.В. Михайлова считает, что «поэтическое восприятие земли как живого трепетного существа соединилось у него с твердым научным знанием о ней, а может быть, даже питалось им (...)», и выражает надежду на появление научных, откомментированных переизданий писателя, «ибо Новиков до сегодняшнего дня остается абсолютно непрочитанным и нерасшифрованным автором».

**Долг и любовь.** Сборник филологических работ. В честь 65-летия профессора М.В. Михайловой. Составление: Ю.В. Шевчук, Н.Н. Мельникова. — М.: Круг, 2011.

Юбилейный сборник, составленный и оформленный с подлинной любовью коллег и учеников к юбиляру, человеку редкого обаяния. На фронтиспис помещен портрет юбиляра работы Анатолия Зверева, так что не упущена даже та малозначительная для науки деталь, что у профессора — одно из таких лиц, которые не оставляют равнодушными художников. Из статей в основной части сборника мне показались наиболее интересными работы «К вопросу о заглавиях произведений о грешницах и “падших” в русской литературе XIX — начала XX века» (Н.Н. Мельникова, Москва) и «Шуйский “гриф”» (К биографии Ефима Янтарева) (М.Ю. Эдельштейн, Москва); из публикаций — статья С. Городецкого «Сердца Италии», опубликованная в 1912 году в журнале «Новая студия», подготовленная Т.В. Щербаковой (Москва). Последний раздел книги — воспоминания и рецензии самой М.В. Михайловой.

**Владимир Красильников.** — Football по-английски, english по-футбольному: Англо-русский и русско-английский футбольный словарь. — М.: Текст, 2012.

Книга издана в ознаменование «той важной роли, которую российский футбол приобретает на международной арене» и призвана «стать полезным подспорьем в развитии и укреплении международных контактов широких кругов российской футбольной общечественности (...), в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира в России в 2018 году». Около 5000 слов и словосочетаний.

*Дни и книги Анны Кузнецовой*

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694-01-98; [vp@ropnet.ru](mailto:vp@ropnet.ru)); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; [inikitina@ropnet.ru](mailto:inikitina@ropnet.ru))

**Сергей ЧУПРИНИН**

главный редактор  
699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

**Наталья ИВАНОВА**

первый заместитель главного редактора  
699 39 60, ivanova@znamlit.ru

**Елена ХОЛМОГОРОВА**

ответственный секретарь  
699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

**Евгения ВЕЖЛЯН**

отдел прозы  
699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

**Ольга ЕРМОЛАЕВА**

отдел поэзии  
699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

**Анна КУЗНЕЦОВА**

отдел библиографии  
отдел публицистики  
699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

**Карен СТЕПАНЯН**

отдел критики  
699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

**Ольга ТРУНОВА**

отдел прозы  
699 47 84, trunova@znamlit.ru

**Елизавета ПОЛУКЕЕВА**

корректор

**Евгения БИРЮКОВА**

допечатная подготовка, производство,  
распространение  
699 80 67 т/факс, bir@znamlit.ru

**Валерий КАЛНЫНЬШ**

художник

**Людмила БАЛОВА**

исполнительный директор  
699-48-98

**Марина ГАСЬ**

бухгалтер  
699-48-98

**Наталья РОГОЖИНА**

компьютерный набор  
699-48-71

**Марина СОТНИКОВА**

заведующая редакцией  
info@znamlit.ru  
699-52-83

**Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства по делам  
печати и массовых коммуникаций**

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

**адрес редакции:**

123001, Москва,  
ул. Большая Садовая, 2/46  
(вход с улицы Малая Бронная).  
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,  
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства  
массовой информации №20 от 28.08.1990.  
Учредитель — трудовой коллектив  
редакции журнала «Знамя»  
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.04.2012г.  
Подписано к печати 15.05.2012.  
Формат 70x108 1/16.  
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.  
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.  
Заказ № 2243

Отпечатано в типографии ОАО  
«Издательский дом «Красная звезда».  
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.  
<http://www.redstarph.ru>

**СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ»  
И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО  
ПРИБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ**

Также представлены журналы  
«Арион», «Вопросы литературы»,  
«Дружба народов», «Если», «Звезда»,  
«Иностранная литература», «Континент»,  
«Мир Паустовского», «Нева», «Новый мир»,  
«Октябрь», альманах «Достоевский  
и мировая культура».

метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,  
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

**Присланные рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. Редакция не имеет  
возможности вступать в переговоры  
и переписку по их поводу, а только  
извещает авторов о своем решении.**

**Материалы, поступившие по e-mail,  
а также рукописи объемом более  
10 авторских листов (400 000 знаков)  
не рассматриваются.**

Лиана АЛАВЕРДОВА. Русские янки  
на Миссисипи  
Георгий БАЛЛ. Никодимиада  
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Английский  
вариант  
Наталья ГРОМОВА. Ключ  
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные  
книжки  
Елена ДОЛГОПЯТ. Звонок  
Денис ДРАГУНСКИЙ. Не случилось  
Леонид ЗОРИН. Из мемуарной прозы  
Лев ЛОСЕВ. Отпечатки света  
Николай КОНОНОВ. Quinta da Rigaleira  
Анатолий КУРЧАТКИН. Поцелованные  
Богом

Майя КУЧЕРСКАЯ. Тетя Мотя  
Владимир МАКАНИН. Мойщик  
Зоя МЕЖИРОВА. Веяние идеала  
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Три эссе  
Леонид РАБИЧЕВ. Тюремный дневник  
отца  
Евгений СИДОРОВ. Аксенов в «Юности»  
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место  
Виктор СОСНОРА. Диски  
безнадежности  
Елена СТЯЖКИНА. Отверащение  
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма  
Борис ХЕРСОНСКИЙ. Предпоследняя вещь  
Владимир ШАРОВ. Возвращение в Египет

### **новая проза**

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,  
Бориса ИВАНОВА,  
Григория КАКОВКИНА,  
Александра КАБАКОВА,  
Ильи КОЧЕРГИНА,  
Эдуарда КОЧЕРГИНА,  
Анатолия КУРЧАТКИНА,  
Ильи ОГАНДЖАНОВА,  
Даниэля ОРЛОВА,

Юрия ПЕТКЕВИЧА,  
Валерия ПОПОВА,  
Евгения ПОПОВА,  
Дины РУБИНОЙ,  
Марии РЫБАКОВОЙ,  
Алексея СЛАПОВСКОГО,  
Александра ТЕРЕХОВА,  
Олега ХАФИЗОВА,  
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ

### **НОВЫЕ СТИХИ**

Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,  
Викторши ВОЛЧЕНКО,  
Константина ГАДАЕВА,  
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,  
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,  
Алексея ДЕНИСОВА,  
Аркадия ДРАГОМОЩЕНКО,  
Бахыта КЕНЖЕЕВА,

Алексея КОКОТОВА,  
Алексея КУБРИКА,  
Андрея ПОЛЯКОВА,  
Евгения РЕЙНА,  
Константина РУПАСОВА,  
Алексея Ивановича УШАКОВА,  
Алексея ЦВЕТКОВА,  
Олега ЧУХОНЦЕВА

**адрес редакции:**

**123001, Москва**

**ул. Большая Садовая, 2/46**

**телефон/факс: 699 52 83**

**e-mail: [info@znamlit.ru](mailto:info@znamlit.ru)**